

Дивеевские предания







ДИВЕЕВСКИЕ ПРЕДАНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАЛОМНИК»

МОСКВА 1996



**ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II**

Составление, подготовка текста
и примечания
Александра Стрижева

**На обложке:
Дивеевская монахиня Серафима (Булгакова).
Рисунок Марии Вишняк. 1985 год**

**На первом форзаце:
Вид Серафимо-Дивеевского монастыря
с юго-западной стороны. С литографии 1904 года**

**На втором форзаце:
Серафимо-Дивеевский монастырь
накануне возрождения. Снимок с вертолета. 1989 год**

**Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Инновационного предприятия
«ЭНИКО Менеджер»**

ISBN 5-7302-0867-7

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Серафимо-Дивеевский монастырь просиял святостью со дня своего основания, поскольку был учрежден Самой Царицей Небесной как Ее Четвертый удел на земле. С конца XIX века и до разгрома в 1927 году здесь спасалось несколько поколений монашествующих под чутким водительством мудрых игумений. Сюда притекало огромное число православных паломников, находя в обители утешение и облегчение на жизненных путях. О давнем прошлом монастыря можно многое узнать, читая замечательную «Летопись» священника Л. М. Чичагова, увидевшую свет в 1896 году и с малыми переменами переизданную к Серафимовским торжествам в 1903 году.

А XX век, есть ли подобная Летопись за все это время? Такой книги нет. Но бесследно ничто не исчезает. Предреволюционная пора, период страшных гонений после Октябрьского переворота, наконец, скитания монахинь в миру запечатлено и не забыто. Остались записки самих духовных лиц, воспоминания светских благочестивых людей, посещавших обитель в разное время, устные предания, не исчезнувшие в народе до сих пор,— все это и поведает о судьбе обители в XX веке, сходной с судьбой России, возведенной на Голгофу. По крупицам пришлось собирать бесценные свидетельства, и составилась наконец эта книга, которую так долго ждали читатели. Объединенные в один сборник, разрозненные, а то и вовсе неизвестные материалы поведают

о целой эпохе из жизни монастыря, о подвижницах, наделенных Господом даром прозрения, о скитаниях монахинь в условиях тотального угнетения, зачастую рассказанные ими же самими. Настоящий сборник для обители как бы итоговый за XX век, своеобразная Летопись, созданная многими людьми в новейшее время.

Читая эти материалы, еще раз убеждаешься, как пророчески прозорлив был батюшка Серафим, издалека провидевший труднейший путь дивеевских сестер под властью безбожников. И им же, Преподобным, была заповедана твердая надежда на прилив веры в народе, на возрождение обители, в которой, по его же глаголу, ему и пребывать до скончания века. Так оно и получилось: на Похвалу Богородицы, 31 марта 1990 года, состоялось освящение главного монастырского собора, Троицкого, что положило начало возрождению обители. А через год, 19 июля 1991 года, при стечении богомольцев со всей России, цельбоносные мощи преподобного Серафима навсегда упокоились в Дивееве, как о том и предрек святой Старец.

Сборник «Дивеевские предания» — первая книга такого рода. Надеемся, что и о других обителях — а их слава Богу как много по светлорусскому простору — также расскажут свидетели событий, будь то радостных или невыносимо тяжелых, сопряженных с историческим контекстом истекающего столетия. Вразумит Господь, да сбудется!

Александр Стрижев

РАЗДЕЛ I

ОБИТЕЛЬ



Монахиня Серафима (Булгакова)

ДИВЕЕВСКИЕ ПРЕДАНИЯ

Устройство и быт монастыря

В Дивееве хранился план, начертанный батюшкой Серафимом. По его предсказанию, в конце времен монастырь должен был распространиться до самого высокого берега речки Вичкензы (теперь там пруд), в ограду должны войти Казанская церковь и дома приходского духовенства. Поэтому каменная ограда, окружавшая монастырь, была поставлена только с севера, востока и юга, а с запада стоял лишь деревянный забор. После переворота 1917 года забор этот сломали и на территории монастыря по понедельникам устраивали базар, что мешало жизни обители. Отобраны и заняты были в эти годы и находившиеся в этой части монастыря некоторые корпуса.

Монастырь всегда разделялся на старую и новую обитель. Старая обитель начинается с корпуса матушки Александры и занимает весь северозападный клин монастыря; там располагался монастырский огород и кроме новых корпусов помещался старый корпусочек, где подвизалась блаженная Пелагея Ивановна. Келлия ее сохранилась

в том виде, какой она была и при Блаженной. В корпусе читался неусыпаемый Псалтырь: 12 старушек по очереди читали его все сутки. Назывался этот корпусочек пустынькой блаженной Пелагеи Ивановны. Над келлией матушки Александры был выстроен чехол, образовавший второй этаж. Здесь жили сестры, обслуживающие пустыньку Первоначальницы, а также Рождественские храмы, поддерживающие неугасимыми свечу в верхнем и лампаду в нижнем Рождественских храмах. В нижнем храме Рождества Богородицы до разгона читали неумолкаемый Псалтырь, который прерывался только в среду Страстной недели и начинался после малой вечери в субботу Светлой недели.

Пустынька блаженной Наталии Ивановны[1] находилась в центре монастыря, в конце Канавки. Пустынька сохранялась в том же виде, как и при Блаженной, и там также читали Псалтырь. Кроме того, Псалтырь читался еще в Ближней пустыньке преподобного Серафима, перевезенной из Саровского леса (от источника). Над ней выстроили чехол, в котором помещался сруб. Сохранялся и корпус, где жила блаженная Прасковия Ивановна, и там также читали день и ночь Псалтырь определенные на то сестры. В келлии матушки Александры Псалтырь читался 12 сестрами.

Все эти сохранявшиеся корпусочки назывались пустыньками. По ним водили приезжавших богомольцев и сами сестры часто их посещали, особенно в праздничные дни. В Прощеное воскресенье, после вечерни, а также на Пасху и на Рождество, в большие праздники обязательно обходили все пустыньки и могилки блаженных (возле

собора) и матушки Александры, схимонахини Марфы, Елены Васильевны Мантуровой и служки угодника Божия Мотовилова (возле Казанской церкви).

Из сруба Дальней пустыньки сделали алтарь в кладбищенском храме Преображения. Там в особой витрине хранились вещи Преподобного.

Храмов в монастыре было девять.

1. Теплый собор во имя Св. Троицы с приделами во имя иконы Божией Матери Умиление и в память преподобного Серафима. На хорах еще два придела во имя иконы Божией Матери Владимирская и в память обретения главы Св. Иоанна Крестителя.

2. Тихвинская деревянная церковь (построена Иваном Тихоновым) с приделами Всех святых и Архангела Михаила.

3. Под Тихвинской была церковь в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали. После разгона монастыря там устроили мельницу, и осенью 1928 года весь храм сгорел.

4. На кладбище была церковь Преображения.

5. В Богадельне (так называемой Старой больнице) был домовый храм в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. Главный вход в него был со стороны Канавки, а с севера и с юга были двери в жилые коридоры. В две келлии, примыкавшие к алтарю, выходили даже окна, так что больные старушки могли молиться прямо у себя в келлиях. В этом храме и совершалась в 1927 году, на Воздвиженье, последняя всенощная, когда произошло прощание сестер.

6. В Игуменском корпусе был домовый храм Равноапостольной Марии Магдалины. В нем

Государь Николай Александрович просил отслужить ему обедню. Причем просил дать ему такого священника, который бы совершил службу неспешно и благоговейно, но за один час. Мать игумения назначила о. Петра Соколова, бывшего в то время младшим священником. У него был хороший голос, отчетливая дикция и живой, быстрый характер. Служба о. Петра очень понравилась Государю. По окончании он призвал этого священника к себе и наградил его золотым крестом с драгоценными камнями. По рассказам, когда о. Петр вошел к Государю, то было растерялся, упал ему в ноги, но Помазанник Божий поднял его, посадил рядом с собой и, обращаясь к обер-прокурору Святейшего Синода Саблеру, сказал: «Вот прекрасный, благоговейный служитель Христовой Церкви»,— и с этими словами возложил на него крест.

7. Кроме того, в Трапезной был храм в память Великого князя Александра Невского. Там служили большей частью зимой, поскольку храм Тихвинской иконы Божией Матери был тесен и душен. Ранее на этом месте стояло сельское кладбище. Кладбище перенесли за монастырские постройки поближе к Сарову. Монастырское же кладбище занимало юго-восточный угол Канавки, располагалось вокруг храма Преображения.

Еще было два Рождественских храма во имя Спасителя и Божией Матери. Пристроены к Казанской церкви еще при отце Серафиме.

Стало быть, храмов насчитывалось девять, а престолов — пятнадцать. Под все престольные праздники за малой вечерней служился Параклис Божией Матери и утром бывало водоосвящение.

На престольные праздники образу Божией Матери Умиления, 28 июля, и в день памяти преподобного Серафима, 19 июля и 2 января, а также на день основания обители, 9 декабря, день Зачатия праведной Анны, после поздней литургии обязательно совершались крестные ходы по Канавке с пением Параклиса Божией Матери «Многими содержимь напастьми». Накануне 9 декабря бывала торжественная всенощная празднику Божией Матери Умиление и преподобному Серафиму. За всенощной читался акафист пополам: Царице Небесной Благовещению с 1 по 6 кондак и икос и с 7 по 12 — преподобному Серафиму. Иконе Божией Матери Умиление существует особая служба, составленная митрополитом Серафимом Чичаговым. Кроме того, на праздник Живоносного Источника был крестный ход внутри обители за Канавкой, а на Преполовение — вокруг обители за оградой.

Духовенство монастыря почти все было из рода отца Василия Садовского. При разгоне старшим был протоиерей о. Иоанн Смирнов, родной племянник о. Василия (скончался в глубокой старости в Дивееве). Кроме него были: о. Михаил Гусев, сын родной внучки, воспитывавшейся у о. Василия (скончался в тюрьме); о. Иоанн Полидорский, муж сестры о. Михаила (скончался на Соловках).

Ежедневно служба утром (кроме Великого поста) начиналась: ранняя обедня в 5 часов и поздняя в 6 часов (в разных храмах). По воскресным дням обязательно перед поздней бывал Параклис на распев, по очереди оба канона. Вечером в половине шестого — вечерня и заутреня. Затем малое

повечерие с каноном (дневным по уставу). Перед ранней обедней с 4 утра и перед поздней с 5 часов читались правило причастникам, утренние молитвы и сборный акафист. Полунощница читалась иногда с вечера или по келлиям. Вечером в половине пятого всегда неопустительно, кроме только Пасхальной недели, читалось данное Преподобным правило: 12 избранных псалмов, помянник и по 100 поклонов Спасителю, Божией Матери и Преподобному, затем маленькое правильце и, конечно, поминали благодетелей.

Великим постом служба начиналась в 4 часа утра: утренние молитвы, полунощница, заутреня, часы и преждеосвященная литургия. В 3 часа дня на 1-й неделе и в 4 часа в остальные читалось Великое повечерие с канонами, потом сборный акафист и обычное правило. После повечерия читалось поучение.

Вечерние молитвы всегда творили собравшись по корпусам. После обеден служили молебны и полные панихиды, и батюшки ежедневно шли служить панихиды по всем пустынькам, и в Ближней пустыньке Преподобного полагался молебен. В воскресенье вечером обязательно бывал акафист преподобному Серафиму на распев вместо 2-й кафизмы на заутрени. Некоторые видели, как во время пения акафиста Преподобный покрывал певчих своей мантией.

Певчих сестер было отдельно два хора: правый и левый. Каждый хор занимал особый корпус. Правый хор всегда пел позднюю обедню, а левый — раннюю. Вечерню и заутреню пели оба хора (также всенощную) на два клироса. На сход соединялись оба хора. В будние дни каждый хор

делился еще на две череды. Одна половина начинала неделю, другая кончала, по три дня.

Служба всегда была с канонархом. Читали и канонаршили альты. Басы читали только Апостол и шестопсалмие. Дисконта вовсе не читали.

Катавасию за всенощной сходились петь на амвоне. Читали оба хора по очереди, по неделям.

После утренних и вечерних молитв обязательно соблюдалось маленькое правильце Преподобного. По вечерам все ходили по Канавке (а кто на послушаниях — когда сможет) и читали полтораста раз «Богородице Дево, радуйся». На каждый десяток читали «Отче наш» и поминали живых и умерших.

1 октября, на Покров, вечером после заутрени всем монастырем молились полтораста раз в церкви. Так же молились постоянно и по корпусам за живых и за умерших и при всякой нужде. Это было самое обычное постоянное правило.

Под двунадесятые праздники усердствовавшие собирались молиться на всю ночь в церковь. Под Крещение ставили в церкви чашу с водой, и когда молились перед ней в 12 часов ночи, всегда видели, как вода на один момент вся как бы закипала. Также всегда собирались молиться после обедни до малой вечерни в субботу Светлой недели, перед закрытием Царских врат.

На клиросное и церковное послушание ставили только девушек.

Корпусов в монастыре было очень много, кажется, больше 66, несколько полукаменных, а большинство деревянных. До 60-х годов сохранился один корпус, поставленный еще при жизни Преподобного — первая трапезная.

Сестры жили по послушаниям. В корпусах обычно помещались мастерские и жилые келлии.

Кто где работал, там и жил. В монастыре была большая живописная мастерская. В ней сестры не только писали иконы, но и заготовляли доски, золотили и чеканили. У каждой была своя специальность.

В последнее время создали отдельную иконописную.

Больше 80 сестер жили и работали в литографии. Сами работали на камнях (накалывали), по году подготовляли каждый камень. Печатали на моторе картины. Сушили. Кроме того, переводили картины на белые грунтованные доски и затем их прописывали. Отливали из алебастра фигуры Преподобного с медведем и раскрашивали. Делали всякие корзиночки, игрушки. Все это раздавали и продавали в монастырской лавке.

Доски делали в своей мастерской чистодеревщики-столяры — помещались на конном дворе, а в красильном корпусе заготовки грунтовали, так же как и холсты.

В рукодельном послушании шили гладью на пяльцах и вообще вышивали. В портной шили одежду для сестер. Портных было несколько. В ризной — шили и чинили ризы, делали цветы, убирали иконы и плели русское кружево на коклюшках. В вязальном — вязали на машинах. В манатейном — пряли из русской овечьей шерсти и ткали манатею, из которой шили ряски и мантии. Специальные сестры шили апостольники и камилавки.

В хлебном корпусе сестры пекли хлеб. На мельнице сами мололи муку. Возле мельницы помещались две житницы. В просфорной — пекли просфоры. Трапезная помещалась в храме Святого

князя Александра Невского, под трапезной была стряпушечная, где варили пищу.

В свечном корпусе в монастыре делали свечи, а подготовляли воск, промывали, топили и отбеливали в лесу на Ломовке, где был специальный свечной корпус.

Соборницы жили в отдельном корпусе. Им приходилось по ночам караулить по очереди собор, а остальные церковницы жили тут же при своих церквах.

В погребном корпусе жили погребщицы. Под корпусом помещался большой погреб, где хранились капуста, огурцы, грибы.

Отдельно была квасная. Там готовили и в погребе под корпусом хранили монастырский квас. В конце зимы, в марте, все погреба набивались льдом и снегом.

В монастыре была своя большая больница и аптека. Врачи были свои же сестры, принимали и лечили там и приходящих крестьян. Был и свой зубной кабинет. Зубы лечили тоже сестры. Было четыре зубных врача. Зубы не только лечили, но делали и протезы.

В саду жили садовницы. Сад был расположен в северо-восточном углу монастыря, а в юго-восточном углу помещалась коровная и находились парники. Там была специальная водокачка. Главная водокачка помещалась у начала Канавки. Оттуда все брали воду, а в некоторые послушания был проведен и водопровод. На водокачке работали свои же сестры.

В молотильном корпусе сестры молотили зимой и убирали хлеб и солому. Молотили цепами. Летом работали в поле. Монастырская земля простиралась на юг к деревне Рузаново.

В огородном корпусе жили огородницы.

В этих послушаниях, в отличие от мастериц и клиросных, жили трудовые сестры.

Хозяйственными работами ведала благочинная и помощница благочинной, которая наряжала сестер на работу в монастыре, а летом из всех послушаний на покос, на поливку огородов, на уборку хлеба, на рытье картошки, на сбор грибов в лесу и вообще на все работы вне и внутри монастыря. На тяжелые работы назначались в основном молодые. До войны 14-го года косили наемные мужики, а с войны сами сестры.

На конном дворе жили наемные рабочие. Там были всякие мастерские: шорная, слесарная, столярная, жестяная. На конном дворе же стояли монастырские лошади. Жили кучера и работники. За монастырем был свой кирпичный завод.

В монастыре было две своих лавки: иконная и бакалейная и мануфактурная. Сестры все могли приобрести, не выходя за ограду. Был специальный лавочный корпус, где жили лавочницы (продавщицы).

Таким образом, монастырь целиком обслуживался сам. Все было внутри обители. Существовало большое, сложное и хорошо организованное хозяйство. Монастырь капиталов не имел, жили своим трудом. Хутора и подворья вносили свою лепту помощи, ведь кроме молодых рабочих сестер было много старых, нетрудоспособных. Кто из них мог, читал в пустыньках Псалтырь, а некоторые уже и того не могли.

У монастырских ворот жили вратницы, которые следили за входящими и выходящими и запирали на ночь обитель.

Была в монастыре и своя баня.

В игуменском корпусе жила матушка игумения. Там находилась канцелярия. Велся учет всего хозяйства монастыря. Там же помещались кладовщицы, ведавшие вещевыми и продуктовыми кладовыми, и почтарки, которые ходили на почту, приносили и разносили по корпусам письма, деньги и посылки.

Возле ворот, вне монастыря по Саровской дороге находились гостиницы для богомольцев, а далее дома священников. Гостиницы также обслуживали свои сестры.

Кроме того, в монастыре был приют для девочек. Он был под Высочайшим покровительством Императрицы и назывался Александрийским, так как на его содержание отпускал средства Императорский Двор. В приюте жило до 60 девочек. Принимали туда больше сирот, с 2–3 лет и старше, до 14 лет. Девочки жили там до 14 лет, а потом по желанию либо возвращались к родным, или выводились на послушания. В приюте создали 4-классную школу. Преподавали там сами сестры и монастырское духовенство. В этой же школе учились и дети духовенства. Все содержание, пища, одежда были от монастыря. В свободное от занятий время девочки учились всякому рукоделию: вязать, вышивать, шить. Там же их учили петь, а способных — играть на фисгармонии. Лет с семи их одевали в монастырскую одежду: ряску и повязку (бархатный колышек), а способных сразу же ставили на клирос. Зимой зачастую всенощную справляли дома. Приходил батюшка, и сами девочки пели, читали, канонаршили. А в обычное время их всех водили по

праздникам в церковь, где все они стояли рядами отдельно. Ежедневно по очереди (по 4 сразу) девочки ходили на монастырское правило, где во время поминовения благотворящих стояли на амвоне на коленях, с воздетыми ручками. Так же выходили и клали 300 поклонов на правиле. Утром и вечером у них была общая молитва, а вечером к тому же попеременно какой-нибудь акафист или 50 раз «Богородице Дево». Там же с ними в корпусе жили сестры-учительницы, няни для маленьких и старшая. В будни они питались дома, а в праздники вместе с сестрами в парадах ходили в трапезную. При приюте имелся свой сад, где дети гуляли и играли в свободное от занятий время. На Рождество устраивали елку с подарками. Старушки жили в Богадельне, так называемой Старой больнице. Там было два корпуса, соединенных переходом (на 2-м этаже), чтобы удобнее было, не выходя на волю, ходить в церковь Всех скорбящих Радость. Кроме того, многие старушки жили в хлебном корпусе и рассеянных по монастырю маленьких корпусочках. Кто был в силах, нес послушание читала — читали по 2 часа в сутки Псалтырь в определенных пустыньках.

Пустыньки и читалки были в ведении матушки казначеи. У нее велся учет, принимались записи на вечное и временное поминовение живых и умерших. Писались уставом синодики с именами. Каждая сестра имела право записать пять человек своих родных на вечное поминовение (на Псалтырь). Помимо того, у каждой была картонка с именами усопших родных, за которых еждневно за обедней вынималась отдельная просфора. Картонки сестер и вообще все помянники (синодики)

читали специальные пономарки-монахини. Они и читали и пономарили. Псалтырь в Рождественском храме и пустыньках читался неопустительно день и ночь круглый год. Закрывался лишь в Великую среду после преждеосвященной литургии и снова начинался с началом всенощной в субботу Светлой недели.

Усердствовавшие монастырю жертвовали дома в разных городах, таким образом возникли подворья. Большое подворье было в Петергофе, кроме которого было еще небольшое подворье в Петербурге и обширное в Москве, на 1-й Мещанской[2]. Там стояла часовня, в которой на праздники служили всенощные, а в будни утром и вечером служили молебен преподобному Серафиму, вечером с акафистом на распев. В остальное время читался Псалтырь. Большое подворье было и в Нижнем Новгороде на Кавалихе, где была своя церковь во имя преподобного Серафима и большая просфорная. Там жило много сестер. Небольшое подворье в том же Нижнем Новгороде располагалось еще в Канавине, возле Московского вокзала, а в самом здании вокзала была часовня во имя преподобного Серафима. Еще было подворье в Харькове. Там жило пять-шесть сестер. Было подворье и в Арзамасе.

Кроме того, монастырю принадлежали хутора:

1. Сивуха, неподалеку от Оранского мужского монастыря;

2. Сатис, на реке Сатисе, там велось молочное хозяйство, имелся покос и пчельник.

3. Полки, в лесу, за 12 верст по дороге в Ломасово.

На подворьях в церквах были свои священ-

ники и совершалась ежедневно служба своими певчими сестрами. Ходили они также читать Псалтырь по покойникам. В свободное от службы время сестры в мастерских шили одеяла, вязали платки. В Петергофе была и иконописная мастерская. Просфорные устраивались почти на всех подворьях. В определенное время на подворьях в церквах вычитывалось монастырское правило.

На хуторах имелись хозяйства, в частности молочные, содержались пчельники, неподалеку собирали грибы и ягоды для монастыря. За две версты от монастыря в лесу на Ломовке имелась свечная, там на солнце отбеливали воск. На Ломовке же была прачечная, туда выезжали из монастыря стирать белье.

С Сивухи по близости расстояния сестры ходили по праздникам к службе в Оранский мужской монастырь, а с Сатиса — в Саров.

В субботу на послушания не выходили, наступал «свой день», когда сестры могли что-то себе заработать, поскольку монастырь предоставлял только помещение и скудную трапезу. Одежда и обувь у каждой сестры были свои, и кто не получал помощи от родных, тем приходилось на это самим зарабатывать. Вязали платки или расписывали, делали четки, кто что умел. Работали и по вечерам в келлиях. После покойниц их вещи раздавались, но больше пожилым сестрам, видно, на новеньких мало надеялись, ведь не все уживались в монастыре.

В последние годы, когда в обители поместился понедельничный базар, «свой день» выпадал на понедельник. Кроме того, летом на месяц отпускали сестер жать, так как трапезы уже не было.

Примечательно, что в монастыре многие жили родами. Так, до самого разгона жили Мелюковы, Путковы и другие из родов первых дивеевских стариц.

Главным в монастыре считалось послушание, оно ставилось выше поста и молитвы. В старое время существовал определенный штат монахинь, поэтому многих желающих постригали сверх штата, тайным постригом. Также тайно постригали больных при смерти. Тайно постриженные носили новое имя втайне и не имели права на мантию, их постригали в полумантию. За несколько лет до разгона в монастыре был большой постриг в мантию; постригали много пожилых сестер (кажется, до 200 душ, если не больше).

Монахини обязаны были ежедневно посещать все монастырские службы и еще, кроме того, дома вычитывать по три кафизмы Псалтыря. Более молодые при этом от послушаний не освобождались. Постригали в мантию не раньше 40 лет.

По поступлении в монастырь все некоторое время носили свою мирскую одежду. Через несколько месяцев, обычно к какому-нибудь празднику, матушка игумения сама одевала новеньких у себя в корпусе в ряску, апостольник и бархатную, так называемую «голую» камилавку и давала в руки четки с приказанием непрестанно творить Иисусову молитву. А приходили к матушке игумении в черном монастырского покроя сарафане и монастырской рубашке.

Через некоторое время постригали в рясофор. Постригал иеромонах в церкви. К рясофорному постригу сестры шли парами в черных подрясниках и кожаных поясах с распущенными волосами.

Тут снова одевалн в рясу с широкими рукавами, апостольннк н надевали уже камилавку, покрытую черной тюлевой наметкой. В рукн давались четки и зажженная свеча. Эту свечу хранили, и она давалась в руки умирающей, а после смерти клали в гроб.

Последние годы матушка игумения одевала сразу в камилавку с наметкой. Манатейные монахини, так же как и саровские монахи, носили ряски с узкими рукавами. Обретались в монастыре и схимницы, и затворницы, но мало кто решался брать схиму, так как к постригу относились очень серьезно. К тому же мантию как должно в монастыре исполнять было трудно. Схиму явно не носили, но прятали под одеждой.

На все церковные послушания по завету Преподобного ставили только девушек (также и в просфорницы).

Церковное белье стиралось церковницами в особых корытах, и помои выливали в отдельные, нарочно для того устроенные колодцы.

Средства в монастыре, как уже сказала, имелись ограниченные, поэтому сестер приходилось посылать в мир за сбором. Это было весьма трудное послушание.

В каждом корпусе устанавливалась череда: молодые сестры по очереди оставались дома, топили печи, убирали корпус, носили воду, выносили помои и нечнстоты за монастырь, мыли посуду, ходили за хлебом н пищей в трапезную, потому что обедали в трапезной только по праздникам. Также прнносилн квас, огурцы, капусту и ели по корпусам.

В воскресенья и праздники, а также в первую и Страстную недели Великого поста молодые,

все, кто мог, ходили в церковь, а в будние дни ходили по желанию и кто имел на это время, свободное от послушания. Служба в монастыре совершалась прекрасная. Особенно хорошо было поставлено пение. Спевок и не сосчитать сколько; более способных учили еще играть на скрипке и фисгармонии. Дивеевские регентши славились. И было их много, ведь и в обители, и на подворьях требовалось много певчих. Летом при большом стечении богомольцев обедни и всенощные служились в нескольких церквах, а пели всегда на два хора. Певчие же читали по усопшим сестрам, пели молебны и панихиды по пустынькам, так что в мастерских им мало приходилось работать.

Служба справлялась полностью по уставу. Великим постом и в воскресенья выпевались все молитвословия ветхозаветные.

В день Рождества Христова весь монастырь ходил поздравлять матушку игумению, славили рождение Спасителя. Шли отдельно корпусами, было очень торжественно и празднично.

Перед праздниками по всем корпусам делали уборку. Некрашеные полы вымывались добела и все застилалось самоткаными новыми половиками, кровати украшали чистыми покрывалами. Три дня Рождества и всю Светлую неделю не работали, а только ходили в церковь, по Канавке, по пустынькам, а дома читали духовные книжки. Бедные певчие, бывало, к концу Пасхальной седмицы лишались голоса от постоянного пения. Ведь на Пасху вся служба заменялась пением, а вместо монастырского правила после вечерни пели весь Пасхальный канон. Когда я поступила

в монастырь, меня больше всего поразило, как в монастыре проводили Великий пост и как особенно радостно справляли праздники.

Трапеза в монастыре была очень скудная. В обычные дни раздавали по корпусам кислые щи, больше с черными грибами, квас, капусту, огурцы, черный хлеб. В праздничные дни ходили в трапезную и ели; если три блюда, то квас с рыбой, щи и суп; при 4-х переменах добавлялась еще каша. В тех послушаниях, где имелся свой доход, к трапезе добавляли приварок. Так было принято, например, в таком серьезном послушании, как живописная. В мастерской все силы сестер уходили в работу, и если бы не добавка, на монастырской пище сестрам не выдержать. И так-то они все выглядели бледными, истомленными, ведь сидели и зиму и лето без воздуха, да еще при таком напряжении. Трудовые сестры выглядели всегда крепче, здоровее от постоянного пребывания на открытом воздухе, от физической работы.

Работа в мастерских по послушаниям начиналась в 9 часов. В 8 утра после обедни по корпусам все завтракали и пили чай. Варилась картошка. Обедали с 11 до 12-ти. В 3 часа ходили пить чай, а в 5 работа уже кончалась, в половине пятого начинали правило в церкви. Ужинали, кто до, кто после всенощной. Вечером по корпусам была общая вечерняя молитва. Не попавшие в церковь молились дома: Псалтырь, правило, поклоны, акафисты. Ежедневно все сестры ходили по Канавке вечером. То была и молитва, и вечерняя прогулка. Спать ложились в 10, ведь утром вставали рано.

Манатейных монахинь при постриге вручали духовным матерям. Рясофорных обычно никому не вручали. Последнее время многие сестры за духовным руководством обращались к схимницам, матушке Анатолии и матушке Серафиме. Схимницы учили их смирению, терпению, послушанию и непрестанной Иисусовой молитве.

Молодые в церкви стояли в середине рядами, старые и монахини у скамеек или имели свои маленькие скамеечки. Стояли всегда чинно, благоговейно, без всяких разговоров.

Место матушки игумении было за правым клиросом, и перед началом литургии все певчие выходили парами и ей кланялись. Также и все выходившие чтицы. После обедни подходили за благословением. Матушка игумения всех крестила. Поклоны в церкви все клали одновременно, по уставу.

В монастыре велись сестринские книжки. В них записывались все сестры, умершие с основания монастыря. Каждая из сестер старалась приобрести такую книжку и поминать почивших ежедневно, особенно в поминовенные дни. Поминались усопшие сестры и за проскомидиями в церквах и на всех Псалтырях, так что в монастыре умирать было не страшно — отмолят.

Усопших сестер сразу обмывали, обряжали и клали в гроб. Запас гробов был. Покойницу сразу же выносили на ночь в церковь, где над ней читали всю ночь, а на другой день после обедни отпевали и хоронили. Всех, и монахинь и рясофорных, отпевали одинаково полным монашеским отпеванием.

Умирали больше в монастырской больнице, где перед смертью всегда постригали в мантию.

Слабых батюшки причащали ежедневно, приходили от ранней со Святыми Дарами.

Рассказывали, что особенно хорошо умирали чахоточные. Многие из них перед смертью сподоблялись видений. За благословением умереть посылали к матушке игумении, и она обреченных на смерть благословляла. Без благословения матушки игумении не начиналась ни одна служба. Церковницы брали благословение звонить.

Обмывали в больнице поставленные на то сестры в особой одежде. Такой был закон: когда умирала монахиня, то звонили 12 раз в большой колокол, если рясофорная, то в малый. И весь монастырь в это время должен положить 12 поклонов с молитвой «Богородице Дево». Затем несколько дней после вечерних молитв все молились — читали 12 «Богородиц» за новопреставленных.

Переводили в монастыре из корпуса в корпус так. Приходила благочинная или ее помощница, брала иконочку переводимой сестры, а та должна была кланяться в землю и просить у всех в корпусе прощения. Затем ее вели в другой корпус, и там она снова должна была всем кланяться со словами: «Не оставьте Господа ради». После этого переносила туда свои вещи. Выводили в другой корпус за какую-нибудь провинность. На родину ездили только с благословения матушки игумении, на точно указанный ею срок.

За просрочку на родине тоже давалось наказание. За большие вины клали земные поклоны в трапезной за общим обедом. При этом в руки давали большие четки с деревянными бусинками, так что их стук был слышен от каждого поклона на всю трапезную.

Вообще в монастыре переводили мало. Бывало, как поставят в молодости на послушание, так и жили до старости на одном месте, привыкнув и к своей работе, и к сестрам.

Тяжелей всего, когда сводили певчих с клироса или переводили с правого на левый. Это было самое большое горе, трудно им привыкать в новом положении.

Вся жизнь, все интересы, горе и радости сосредотачивались в монастыре. Жизни вне монастыря будто и не существовало. Было много монахинь, которых приводили, а иногда и приносили в монастырь младенцами, и доживали они в нем до глубокой старости. Матреша моя пришла в монастырь 4-х лет и так любила обитель, что ее насильно посылали в Вертьяново на несколько часов к родным. Она тут же стремилась обратно. Даже ходить она одна в миру боялась и всегда просила брата родного проводить ее домой.

Что я слышала от сестер
и видела и слышала сама

Пророки. Рассказывала мать Агния. В Тихвинской церкви сзади в углу против входа на хоры висела картина ветхозаветных пророков. Картина размером 2 на 3 аршина. Пророки были написаны во весь рост. От времени изображение потемнело, сделалось почти черным. Перед картиной горела лампада.

А тут перестали лампадку зажигать: «Что ее зажигать — картина черная — почти ничего не видать».

И вот раз приходят старушки, которые там всегда стояли, а пророки ушли. Никакого изо-

бражения на холсте нет. Стали старушки нарочно собираться там молиться, зажигать лампадку, и вот раз приходят утром и видят, что пророки пришли. Утро было росистое, и у пророков на ногах капельки росы.

Это было давно, еще до открытия святых мощей Преподобного.

О новом соборе. Новый собор начали строить вскоре после открытия мощей, но не достроили.

Средства на постройку пожертвовал москвич Федор Васильевич Долгинцев. Он будто бы участвовал в каком-то розыгрыше и пообещал, что если выиграет, то отдаст эти деньги на постройку собора. Так и произошло.

В Дивееве существовало предание: батюшка Серафим благословил поставить собор у Канавки на одной линии с Троицким собором. Но там впоследствии Иван Тихонов, гонитель дивеевских сестер, успел поставить деревянный храм Тихвинской иконы Божией Матери. Причем построил он его из материала, приготовленного на постройку Троицкого собора. Нижний этаж Тихвинского храма был низкий, выполнен в камне; в восточной его части был небольшой придел в память иконы Божией Матери Утоли моя печали. При храме в особых келлиях жили сестры-церковницы. На втором этаже — трехпрестольный деревянный храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери, с приделами Архангела Михаила и Всех святых. Над папертью помещались хоры.

Храм был тесен и душен, в нем обыкновенно служили в зимнее время. А когда переходили в летний собор, там бывала лишь ранняя литургия.

После разгона в Тихвинском храме устроили паровую мельницу, постройка сгорела осенью 1928 года.

Новый собор строить на месте Тихвинского храма настаивал митрополит Серафим (Чичагов). Но мать игумения Александра не пожелала ломать зимний храм. И решено было заложить собор вне Канавки. Это и явилось причиной разрыва между игуменией и преосвященным Серафимом.

Назначили торжественную закладку.

Покойная матушка игумения Мария ничего не делала, никуда не ездила без благословения блаженной Прасковьи Ивановны. Игумения же Александра не следовала ее примеру.

Уже шло торжественное молебствие на месте закладки, когда к Прасковье Ивановне приехала тетушка игумении Елизавета Ивановна. Она была старенькая и глухая. Вот и говорит послушнице Дуне:

— Я буду спрашивать Блаженную, а ты пересказывай, что она будет отвечать, а то я не слышу.

— Мамашенька, нам собор жертвуют.

Прасковья Ивановна ответила: «Собор-то собор, а я усмотрела: черемуха по углам собора-то выросла. Как бы не завалили и собор-то».

— Что она говорит?

Дуня решила так: «Собор уже закладывают, так что без толку теперь говорить». И ответила:

— Благословляет.

Собор так и остался недостроенным. За последние годы несколько раз собирались его взорвать, но не разрешили — могли повредить окружающим постройкам.

Техником-строителем собора был Александр Александрович Румянцев. В 20-х годах он переехал в Англию.

Расписывали собор сестры монастырской иконописной мастерской под руководством художника Парилова. Уже был готов, но только не поставлен иконостас. И в это время вдруг спохватились, что забыли устроить отопление. Это оттянуло на год освящение, а когда кончили, освящать было уже поздно, война началась.

Собор хотели освятить во имя иконы Божией Матери Умиление и преподобного Серафима.

Говорили, что блаженная Ксения Степановна ночью приходила на место закладки и поневежничала.

Сейчас собор стоит открытый, без дверей. В нем царит мерзость запустения.

Об изображении Преподобного на иконах. Многие спрашивают: почему в Дивееве писали преподобного Серафима не так, как оно сохранилось на старинных изображениях его времени?

Дело в том, что в Сарове в покоях отца игумена сохранялся портрет Преподобного более раннего возраста. Святой изображен на сером фоне, в овале. Снимок с него помещен в «Летописи...» Чичагова. Писал Старца художник Серебряков. Преподобный на нем изображен молодым, несогбенным. Портрет этот на другой день изъятия мощей послушник Борис принес рано утром в Дивеево и поместил сначала в нашей келлии, а потом отдал блаженной Марии Ивановне. Где он сейчас, точно не известно.

С этого портрета, видимо, и писались иконы после открытия мощей.

В последние дни перед разгоном я вдруг неожиданно увидала на своей кровати большую тетрадь. Это была сшитая рукопись Мотовилова, и далее красивым четким почерком — расшифровка.

Рукопись была написана страшно неразборчивым почерком, одни волнистые линии, наподобие стенографической записи. Из приложенной расшифровки я поняла, что уже в мотовиловское время многие стали неправильно изображать кончину Преподобного. Изображали его стоящим, а иногда даже и лежащим у аналоя в пустой келлии. Кроме того, неправильно в углу ставят икону Божией Матери Умиление. В действительности же было не так. Преподобный стоял на коленях у аналоя, а не лежал. Иконы были расположены в следующем порядке: в углу образ Нерукотворенного Спаса, направо рядом большой образ Царицы Небесной, а еще правей, с краю, образ Умиления Божией Матери [1], перед ним круглый подсвечник-поднос с множеством горящих свечей.

В тетрадке был даже рисунок Мотовилова с надписью: «Я хоть и плохой художник, а все-таки попытаюсь изобразить».

Говорилось еще, что келлия всегда была завалена мешками с сухарями, холстами, свертками свечей, так что к иконам оставался лишь узкий проход. Пожар-то и начался с того, что загорелись все эти вещи.

Я отдала тогда же тетрадь матушке игумении.

Дуня Булатова, жившая в келлии с Агашей Купцовой, мне говорила. Агаша была из рода Мелюковых, то есть родственница Елены Ивановны Мотовиловой. Раз Дуня выпросила у нее

одну тетрадь Мотовилова. Там было сшито все подряд: хозяйственные счета, деловые бумаги и т. д. Но все же она сумела там разыскать и духовное. Мотовилов пишет, что Преподобный ему много говорил о будущем России. И он было сел и хотел записать, но Ангел остановил его руку, сказав: «Не пиши, а передавай устно». Там еще было написано, что Преподобный говорил, что смерть его будет подобна смерти семи отроков Ефесских.

Эту рукопись у Агаши выпросил один человек, назвавшийся царским фотографом. Обещал напечатать. В рукописи еще было написано:

«Не то диво, что не дошли за 100 саженей до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобна смерти отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали во уверение всеобщего воскресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по всемирному Диву».

Как блаженная Наталия Ивановна провожала Правду. Я много раз слышала еще в монастыре, что блаженная Наташенька перед смертью в 1900 году проводила со звоном Правду на небо. Но как это было, точнее ничего не могла узнать.

В 50-х годах мне пришлось встретиться с одной женщиной из деревни Князь-Иваново. Она-то мне и рассказывала, что это происходило при ней в какой-то большой летний праздник, кажется, на Троицу.

В то время колокольни в монастыре еще не было, а колокола помещались в конце Канавки

на деревянном помосте. Пустынька Наталии Ивановны находилась рядом с хлебным корпусом, и она всегда звонила к полунощнице. А тут она неожиданно подняла звон во время обедни. Все выскочили из церкви узнать, что случилось. Вышла и покойная мать игумения Мария. Все направились к звоннице. Матушка игумения обратилась к Блаженной и спросила, почему она так звонит. Та ответила:

— Правду на небо провожаю. Правды на земле больше нет!

— Ну, больше так не делай,— сказала игумения.

— Больше не буду,— ответила Блаженная и развела руками. В тот же год она скончалась.

Часы. В последнюю зиму перед разгоном у нас два раза ни с того ни с сего начинали звонить часы: раз днем, а другой раз ночью. Так долго, что все мы даже выходили слушать.

В мирное время часы отбивали: «Пресвятая Богородице, спаси нас», потом были испорчены и молчали.

В ту же зиму в Сарове у иеромонаха Гедеона был случай с будильником. Показывал все нормально, и вдруг стрелка повернула обратно, отошла на час назад и опять пошла как положено.

Когда я была у Марии Ивановны под Новый, 1927 год, я спросила об этом Блаженную: «Что это значит?» Она ответила: «Часы, они вещие. Они правды ищут, а правды на земле уже нет».

О Петергофе. Вскоре после открытия мощей преподобного Серафима возникло Дивеевское подворье в Петергофе. Оно помещалось на

полпути между Петергофским дворцом и собственной дачей Императорской Фамилии.

На подворье жило 80 сестер. Старшей была сначала монахиня Агния, а затем сестра матушки игумении монахиня Феофания Траковская. На подворье стояли две церкви, иконописная мастерская, просфорня. Имелся превосходный хор.

Государыня с дочерьми часто посещала наше подворье. Рассказывала мне Матреша: ее привезли туда в 1913 году. В следующее лето Государыня приезжала на подворье 11 раз. Приезжала одна или с кем-нибудь из дочерей, но ни разу не привозила Наследника, хотя сестры ее раз об этом даже просили, но она ответила, что им распоряжаться не может. Иногда она заранее заказывала обедню без звона. Иногда привозила кого-нибудь из свиты. Сестры провожали ее всегда, окруживши гурьбой. Когда Матрешу еще с одной сестрой привезли в Петергоф, Государыня сказала: «У вас есть новенькие». На Пасху она присылала всем сестрам по прекрасному фарфоровому яйцу.

С подворья был прямой телефонный провод во Дворец, а из церкви был провод в жилой корпус. Война 1914 года началась утром 19 июля, в день памяти преподобного Серафима. Государыня с княжнами была накануне у всенощной и у обедни. Отошла обедня, только проводили гостей, вдруг звонят из церкви: «Государь в церкви». Он приехал в защитной форме простого солдата, и дежурившая в церкви сестра узнала его только потому, что он вошел вперед Государыни. Все сестры вскочили, на ходу надевая ряски и камилавки. И бегом в церковь.

Государь стоял у иконы преподобного Серафима. Прибежал и батюшка. Запели: «Спаси, Господи, люди Твоя...»

Откуда ни возьмись церковь наполнилась толпой народа. Так что когда стали выходить, получилась давка. Государыня все говорила: «Тише, тише, не раздавите детей». Дело в том, что в связи с началом войны объявили эвакуацию всего побережья, и взволнованный народ хотел видеть Государя.

Когда батюшка сводил Государя с паперти, Государь сказал:

— Простите меня, мне хотелось приехать сегодня к обедне, но вот, видите, война.

Эвакуацию побережья отменили. Сестры жили на подворье до лета 1917 года. Шили шелковые рубашки офицерам. Для образца была прислана из дворца красная шелковая рубашка Государя.

Говорили еще, что сестры видели, когда прибежали в церковь, что Государь очень плакал перед образом преподобного Серафима.

Сестры жили в Петергофе под особым покровительством Царской Семьи. С наступлением революции 1917 года на подворье начали забираться пьяные солдаты. Другие пытались там прятаться. Стало крайне неспокойно, и решено было бросить все и перебраться в монастырь.

На подворье в Петергофе впоследствии жили сестры общины архимандрита Гурия Егорова, впоследствии митрополита, возобновителя Троице-Сергиевой лавры.

Об открытии мощей. С кончины батюшки Серафима Саровского до открытия его мощей

прошло 70 лет. Память о нем никогда не забывалась, терпеливо ждали обещанного открытия святых мощей. Рассказывали мне старые монахини, что до самого открытия мощей 2 января (день кончины батюшки Серафима) всегда в Сарове пекли блины, и для этого в Саров ездили из Дивеева наши сестры. Мать Амвросия рассказывала мне, что она молодая ездила в Саров мазать блины. Блинами кормили всех паломников.

В конце XIX столетия начал ездить в Саров будущий митрополит Серафим, тогда еще блестящий гвардейский полковник Леонид Чичагов.

Рассказывала мне послушница блаженной Прасковьи Ивановны Дуня, что, когда Чичагов приехал в первый раз, Прасковья Ивановна встретила его, посмотрела из-под рукава и говорит:

— А рукава-то ведь поповские.

Тут же вскоре он принял священство. Прасковья Ивановна настойчиво говорила ему:

— Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи открывали.

Чичагов стал собирать материалы, написал «Летопись» и поднес ее Государю. Когда Государь ее прочитал, он возгорелся желанием открыть мощи[2].

Все это Чичагов описал во второй части «Летописи». Там были изложены подробности всех событий перед открытием мощей и описано само открытие. Все то, что нельзя было напечатать в старое время. Эта рукопись пропала при аресте в 1937-м.

Рассказывали мне те, кому Митрополит лично читал эту рукопись, что перед прославлением Преподобного в Синоде была большая смута.

Государь настаивал, но почти весь Синод был против. Поддерживали его только митрополит (впоследствии) Кирилл да обер-прокурор Синода Владимир Карлович Саблер. Отговорка: «Куда и зачем ехать в лес, нашлись только кости».

Евдокия Ивановна, послушница Дуня, рассказывала мне, что в это время блаженная Прасковья Ивановна 15 дней постилась, ничего не ела, так что не могла даже ходить, а ползала на четвереньках. И вот как-то вечером пришел Чичагов, тогда еще архимандрит Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале.

— Мамашенька, отказывают нам открыть мощи.

Прасковья Ивановна ответила:

— Бери меня под руку, идем на волю.

С одной стороны Блаженную подхватила ее келейница мать Серафима, с другой — архимандрит Серафим.

— Бери железку (лопату).

Спустились с крыльца.

— Копай направо, вот они и мощи.

Обследование останков преподобного Серафима было в ночь на 12 января 1903 года. В это время в селе Ламасово, в 12 верстах от Сарова, увидели зарево над Саровом. И крестьяне побежали на пожар. Приходят и спрашивают:

— Где у вас был пожар? Мы видели зарево.

— Нигде пожара не было,— им отвечают. Позже один монах тихонько сказал:

— Сегодня ночью комиссия вскрывала останки батюшки Серафима.

От батюшки Серафима уцелели лишь косточки, вот и смущался Синод:

— Ехать в лес, мощей нетленных нет, а лишь кости.

На это одна из бывших еще в живых стариц Преподобного сказала:

— Мы кланяемся не костям, а чудесам.

Говорили сестры, будто бы Преподобный и сам явился Государю, после чего тот уже своей властью настоял на открытии мощей.

Чудес, действительно, являлось много и до и после открытия мощей.

Открытие мощей преподобного батюшки Серафима состоялось 19 июля 1903 года.

Тогда Казанской железной дороги еще не было, ездили через Нижний Новгород. Царский поезд вел начальник дистанции Борис Николаевич Веденисов. Была устроена временная станция против села Выездного в лугах, на переезде возле мельницы. Надо было срочно устроить грунтовую дорогу до Сарова. Никто в такое короткое время не брался этого сделать. Вызвался Б. Н. Веденисов, и Преподобный, по словам Бориса Николаевича, сам ему помог. Сделали все очень просто. Время стояло жаркое. Дорогу вспахивали плугами, затем поливали водой из бочек и укатывали катками, которыми укатывают поле. Дорога получилась гладкая и твердая как асфальт. Замечу, кстати, что перед смертью в 1950 году Б. Н. Веденисов на моих глазах получил исцеление от кусочка мантии преподобного Серафима.

Когда Государь входил в Саровский собор, народ стоял по сторонам стеной и одну беременную женщину так сдавили, что она тут же родила мальчика прямо на ковер, почти под ноги Государя. Едва успели убрать. Государь узнал об этом

случае и велел записать себя крестным новорожденному.

На открытие мощей в Саров поехала почти вся Царская Фамилия. Крестьяне, празднично разодетые, встречали их по селам и по дорогам, стоя плотными рядами.

В селе Пузе Государь велел остановиться и подозвал к себе празднично разодетых маленьких девочек. Все они были одеты в красные сарафаны (кумачники), разноцветные фартуки и шелковые, «разливные» платки. Одна из них, Дуня, до сих пор жива. Ей тогда было шесть лет.

Приехали в Саров 17 или 18 июля (не знаю точно). Великие князья тут же поехали в Дивеево к блаженной Прасковье Ивановне. Они ей привезли шелковое платье и капор, в которые тут же и нарядили.

В то время в Царской Семье было уже четыре дочери, но мальчика-наследника не было. Ехали к Преподобному молиться о даровании Наследника. Прасковья Ивановна имела обычай все показывать на куклах, и тут она заранее приготовила куклу-мальчика, настелила ему мягко и высоко платками и уложила: «Тише, тише, он спит...» Повела им показывать: «Это ваш». Великие князья в восторге подняли Блаженную на руки и начали качать, а она только смеялась.

Все, что она говорила, передали по телефону Государю, но сам Государь приехал из Сарова только 20 июля. Евдокия Ивановна рассказывала, что келейница Прасковьи Ивановны матушка Серафима собралась в Саров на открытие, но вдруг сломала ногу. Прасковья Ивановна ее исцелила. Им было объявлено, что как встретят Государя

в игуменском корпусе, пропоют духовный концерт. Он усадит свиту завтракать, а сам приедет к ним.

Вернулись матушка Серафима с Дуней со встречи, а Прасковья Ивановна ничего не дает убрать. На столе сковорода картошки и холодный самовар. Пока с ней воевали, слышат в дверях:

— Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.— Государь, а с ним Государыня. Уже при них стелили ковер, убирали стол, сразу принесли горячий самовар. Все вышли, оставили одних, но они не могли понять, что говорит Блаженная, и вскоре Государь вышел и сказал:

— Старшая при ней, войдите.

Когда стали прощаться, вошли архимандрит Серафим (Чичагов) и келейные сестры.

Прасковья Ивановна открыла комод. Вынула новую скатерть, расстелила на столе, стала класть гостинцы: холст льняной своей работы (она сама пряла нитки), нецелую голову сахара, крашеных яиц, еще сахара кусками. Все это она завязала в узел очень крепко, несколькими узлами, и когда завязывала, от усилия даже приседала, и дала Государю в руки:

— Государь, неси сам,— и протянула руку,— а нам дай денежку, нам надо избушку строить (новый собор).

У Государя денег с собой не было, тут же послали. Принесли, и Государь дал ей кошелек золота. Этот кошелек сразу же передали матери игумении.

Прощались, целовались рука в руку. Государь и Государыня обещали опять скоро приехать открывать мощи матушки Александры, потому что она являлась во дворце и творила там чудеса.

Когда Государь уходил, то сказал, что Прасковья Ивановна единственная истинная раба Божия. Все и везде принимали его как царя, а она одна приняла его как простого человека.

От Прасковьи Ивановны поехали к Елене Ивановне Мотовиловой. Государю было известно, что она хранила переданное ей Н. А. Мотовиловым письмо, написанное преподобным Серафимом и адресованное Государю Императору Николаю II. Это письмо преподобный Серафим написал, запечатал мягким хлебом, передал Николаю Александровичу Мотовилову со словами:

— Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся Царская Фамилия, и Царь придет к ней. Пусть она ему передаст.

Мне рассказывала Наталия Леонидовна Чичагова (дочь владыки), что когда Государь принял письмо, с благоговением положил его в грудной карман, сказав, что будет читать письмо после.

А Елена Ивановна сделалась в духе и долго, полтора или два часа, им говорила, а что, сама после не помнила. Елена Ивановна скончалась 27 декабря 1910 года. Она была тайно пострижена.

Когда Государь прочитал письмо, уже вернувшись в игуменский корпус, он горько заплакал. Придворные утешали его, говоря, что хотя батюшка Серафим и святой, но может ошибаться, но Государь плакал безутешно. Содержание письма осталось никому неизвестно.

В тот же день, 20 июля, к вечеру все уехали из Дивеева. После этого со всеми серьезными вопросами Государь обращался к Прасковье Ивановне, посылал к ней Великих князей. Евдокия

Ивановна говорила, что не успевал один уехать, другой приезжал. После смерти келейницы Прасковьи Ивановны матушки Серафимы спрашивали все через Евдокию Ивановну. Она передавала, что Прасковья Ивановна сказала:

— Государь, сойди с престола сам!

Блаженная умерла 22 сентября 1915 года (старица прожила 120 лет.— *Сост.*). Перед смертью она все клала земные поклоны перед портретом Государя. Когда она уже была не в силах, то ее опускали и поднимали келейницы.

— Что ты, мамашенька, так на Государя-то молишься?

— Глупые, он выше всех царей будет.

Было два портрета царских: вдвоем с Государыней и он один. Но она кланялась тому портрету, где он был один. Еще она говорила про Государя:

— Не знай, преподобный, не знай, мученик!

В эти годы многие приезжали в Саров и в Дивеево. Приезжали Распутин со свитой — молодыми фрейлинами. Сам он не решился войти к Прасковье Ивановне и простоял на крыльце, а когда фрейлины вошли, то Прасковья Ивановна бросилась за ними с палкой, ругаясь: «Жеребца вам стоялого». Они только каблуками застучали.

Приезжала и Вырубова. Но тут, боясь, что Прасковья Ивановна опять что-нибудь выкинет, послали узнать, что она делает. Прасковья Ивановна сидела и связывала поясом три палки — у нее было три палки, одна называлась «тросточка», другая «буланка», третья не помню как,— со словами: «Ивановна, Ивановна (так она сама себя называла), а как будешь бить? — Да по рылу, по рылу! Она весь дворец перевернула!

Важную фрейлину не допустили, сказав, что Прасковья Ивановна в дурном настроении.

Незадолго до своей смерти Прасковья Ивановна сняла портрет Государя и поцеловала в ножки со словами:

— Миленький уже при конце.

Разгон обители. 31 декабря 1926 года в канун Нового года перед всенощной я была у блаженной Марии Ивановны. Она послала меня:

— Посмотри, какой новый месяц народился, крутой или пологий?

Я пошла и, вернувшись, сказала, какой месяц.

— Старушки умирать будут,— сказала Блаженная. И правда, с 1-го января две недели все время были покойницы, даже не по одной в день.

А потом Блаженная стала говорить:

— Какой год наступает, какой тяжелый год! Уже Илья и Енох по земле ходят...

Говорила об этом очень много, так что даже задержала меня до половины всенощной.

В воскресенье Недели мытаря и фарисея приехали изверги разгонять Саров. Это длилось до 4-й недели Великого поста.

У мощей гробным стоял в течение многих лет иеромонах Маркеллин. Управляющий Тамбовской епархией архиепископ Зиновий находился в это время в Дивееве. Он вызвал о. Маркеллина и приказал ему взять мощи и скрыться с ними на Кавказе. Но тот отказался, сказав, что он, стоя столько лет у святых мощей, столько видел от них чудес, что уверен, что Преподобный и сейчас сам не дастся.

За это о. Маркеллин был отставлен, и на его место поставили иеромонаха Киприана.

Выгонять монахов было трудно. У них почти у всех были отдельные келлии с отдельными выходами, имелось по нескольку ключей. Сегодня выгонят монаха, а назавтра он опять придет и запрется. Служба в церквах еще шла. Наконец в понедельник Крестопоклонной недели приехало много начальства. Сгребли все святыни: чудотворную икону Живоносного Источника; гроб-колоду, в котором лежал 70 лет в земле батюшка Серафим; кипарисовый гроб, в котором находились мощи, и другое. Все это сложили между царскими покоями и северным входом Успенского собора, устроили костер, зажгли. Послушник Борис сумел сфотографировать, он приносил нам показать снимок этого костра. Мощи же батюшки Серафима, то есть его косточки, как они были облачены в мантию и одежды, все это свернули вместе и вложили в синий просфорный ящик. Ящик запечатали, а сами разделились на четыре партии, сели на несколько саней и поехали в разные стороны, желая скрыть, куда они везут мощи. Ящик со святыми мощами повезли на Арзамас через село Онучино, где и остановились ночевать и кормить лошадей. Однако как ни хотели скрыть концы, но когда тройка со святыми мощами въехала в село Кременки, там на колокольне ударили в набат. Мощи везли прямо в Москву. Там их принимала научная комиссия. К этой комиссии сумел присоединиться священник Владимир Богданов. Когда вскрыли ящик, то, по свидетельству о. Владимира, мощей в нем не оказалось. Я слышала это от его духовных детей. Это же говорили и покойный владыка Афанасий, бывший после в ссылке вместе с о. Владимиром в Котласе.

Говорили, что, приехав на ночлег, кощунники ящик со святыми мощами заперли в амбаре, а ключи взяли себе. Но сами сильно выпили.

После этого служба в Сарове прекратилась и монахи разошлись кто куда. В те дни о. Маркеллин приходил к нам в корпус. Он не мог себе простить, что ослушался Владыки, и доходил до нервного расстройства. В 31–32 годах он был арестован и сослан в Алма-Ату. Пробыл там на пересыльном пункте Великий пост 1932 года, а в Великую субботу был отправлен этапом дальше, где вскоре и скончался.

На 4-й неделе Великого поста разогнали Саров, а после Пасхи явились к нам.

Начались обыски по всему монастырю, по всем корпусам. Описывали казенные вещи и проверяли все наши вещи. Была весна, все цвело, но мы ничего не видели. В эти тяжелые дни пошла я к блаженной Марии Ивановне. Она сидела спокойная и безмятежная:

— Мария Ивановна, поживем ли мы еще спокойно?

— Поживем.

— Сколько?

— Три месяца!

Начальство уехало. Все как будто бы пошло опять своим чередом. Прожили мы ровно три месяца и под Рождество Пресвятой Богородицы 7/20 сентября 1927 года нам предложили уйти из монастыря. Все это лето монастырская жизнь днем проходила как будто бы своим обычным порядком, но как только начиналась ночь, откуда-то прилетали совы, садились на крыши корпусов и весь монастырь наполняли своим злове-

щим криком. И так было каждую ночь. Как только объявили разгон, совы сразу куда-то делись.

В то время жили у нас в ссылке двое владык: архиепископ Зиновий Тамбовский и епископ Серафим Дмитровский. В самый праздник Рождества Богородицы владыка Зиновий служил обедню в храме Рождества Богородицы. Певчие запели стихиру «Днесь, иже на разумных престолех почиваяй Бог...» и не смогли дальше петь. Все заплакали, и вся церковь плакала.

Владыка Серафим служил обедню в соборе. После обедни он произнес проповедь, а в ней такие слова: сейчас каждому из нас поднесена чаша, но кто как ее примет. Кто только к губам поднесет, кто отопьет четверть, кто половину, а кто и всю до дна выпьет. Также он говорил, что в монастыре все мы горели одной большой свечой, а теперь разделяемся каждая своей отдельной свечечкой.

В следующую ночь оба владыки, матушка игумения, благочинные и некоторые старшие сестры были арестованы и отправлены в Нижний Новгород, а оттуда в Москву, где их освободили и предложили выбрать место жительства.

После этого до самого Воздвиженья служба в храмах еще продолжалась. Последняя служба была на Воздвиженье, всенощная и обедня, в храме Всех скорбящих Радости.

После обедни певчие запели, как обычно в Прощеное воскресенье, «Плач Адама». Все сестры прощались. Вся церковь плакала.

В Сарове монахи ушли в понедельник 4-й недели Поста, а мы на другой день Воздвиженья. Тем и другим предстояло нести тяжкий крест.

После разгона. С Воздвиженья сестры сразу не разъехались, а поселились в Дивееве, Вертьянове и окрестных селах.

В Казанской церкви, построенной матушкой Александрой, было два священника и всегда велась ежедневная служба: заутреня, а затем обедня. Одинаково и в будни и в праздники. За обедней всегда было очень длинное поминовение. Дьякон поминал целый час на амвоне покойников.

Настоятелем в то время был о. Павел Перуанский. Умер он на Пасху 1938 года в Арзамасской тюрьме митрофорным протоиереем. Говорили, что его вызвали незадолго до ареста и спросили:

— Ты пастырь или наемник?

Он ответил:

— Я пастырь.

Вторым священником был о. Симеон. Он происходил из мастеровых и в 30-х годах по слабости человеческой снял с себя сан и стал работать на военном заводе в Вятке. Во время войны умер у станка.

Рассказывали мужики, что как-то раз приезжал он в Дивеево. В Арзамасе просился сесть на попутную машину, его узнали и предложили ехать в кабине. Но он отказался, а лег в кузов и всю дорогу проплакал.

Дьяконом был о. Михаил Лилов. У него было много детей, жил в бедности. Вот и он надумал снять сан, но было ему видение — явилась первоначальница Дивеевской обители матушка Александра. Я помню, как он читал в Великую среду Евангелие на литургии и прерывался от слез. Скончался одновременно с о. Павлом в Арзамасской тюрьме.

После разгона монастыря монашенки, жившие еще в пределах обители, ежедневно ходили в Казанскую церковь. Певчие пели и читали на клиросе. В церкви был свой большой слаженный хор. По просьбе прихожан и по благословению игумении в последние годы перед разгоном и впоследствии до закрытия храма в 1937 году хором управляла наша монашенка, бывшая петергофская регентша Агафья Романовна Уварова. У нее был твердый характер, так что даже мужики ее боялись. На монастырские праздники служились всенощные. В Казанском храме и отпевали умерших сестер.

Так прожили зиму, к весне многие сестры стали разъезжаться по родным. У некоторых по дороге все отбирали, и приезжали они к родным в том, что на них было.

Чувствуя близкий разгон обители, большинство сестер заранее запаслись квартирами, а мы, несколько человек новеньких, жили одним днем и при разгоне деваться нам было некуда. Сняли мы какую-то худую избушку в Вертьянове, с провалившимся полом, полную блох. Так жить было нельзя. В селе Елизарьеве, в семи верстах по направлению к Арзамасу, поселился у своего брата о. Иакова наш монастырский священник о. Михаил. Они нашли нам квартиру в Елизарьеве, и мы туда перебрались на зиму.

Блаженная Мария Ивановна. Блаженная Мария Ивановна была родом тамбовская. При жизни старицы Прасковьи Ивановны ходила оборванная, грязная, ночевала под Осиновским мостом. Настоящее отчество ее было Захаровна, а не

Ивановна. Мы спрашивали, почему же она Ивановной называется? Ответила:

— Это мы все, блаженные, Ивановны по Иоанну Предтече.

Также и блаженная Наталия Димитриевна называлась Наталией Ивановной.

Когда перед смертью блаженной Прасковьи Ивановны Мария Ивановна пришла к ней проситься остаться в монастыре, та ей ответила:

— Только на мое кресло не садись.

Но ее все-таки сначала поместили в келлии Прасковьи Ивановны. Блаженная Мария очень много и быстро говорила, и складно так, даже стихами. Но сильно ругалась, особенно после 1917 года. Келлия эта была у самых входных ворот, и пришлось Блаженную перевести в глубь монастыря, в богадельню, где она и прожила до разгона обители.

Рассказывала жившая с нею в то время сестра бывшей келейницы Прасковьи Ивановны Дуня.

— Мария Ивановна так ругалась, так ругалась, сил нету. Уж мы даже на улицу бегали. Раз я ее спрашиваю:

— Мария Ивановна, почему ты так ругаешься? Мамашенька ведь Прасковья Ивановна так не ругалась.

— Хорошо ей было блажить при Николае, а поблажи-ка при Советской власти!

Сначала она ходила по монастырю, любила блаженного дурачка Онисима. Называла его своим женихом, ходила с ним под ручку, а потом у нее отнялись ноги, и она либо сидела, либо лежала на постели.

Это была высокой жизни прозорливица. Народ приходил и приезжал к ней отовсюду. Многим

она открывала всю жизнь. У нее бывал и очень почитал ее епископ Варнава (Беляев), викарий Нижегородской епархии. По его благословению для нее к разгону монастыря была построена келлия в селе Пузе, в 18 верстах по направлению к Арзамасу. Туда же ее сразу после разгона монастыря и отвезли и от всех закрыли.

Мне пришлось быть у нее во время разгона. Стала ее спрашивать, как и что. Она много мне говорила. Описывала крестный ход.

— Вот идут с фонарями, с иконами, по грязи (во время разгона была страшная грязь) до Ардатова и обратно вернутся, как с крестным ходом (вот сколько десятилетий с крестным ходом ходим!).

Описывала избу худую на краю Вертьянова, битком набитую. Спрашиваю:

«Хорошо там?» — «Нет, плохо» (может быть, тюрьма?). Больше ничего не помню.

В Пузе Мария Ивановна пробыла месяца 2–3. Когда игумения поселилась в Муроме, к ней с отчетами явились все старшие. Явилась и мать Дорофея, келейница блаженной Марии Ивановны:

— Зачем ты Марию Ивановну в мир отдала? Бери обратно.

Та поехала к ней в Пузу: «Мария Ивановна, поедешь со мной?» — «Поеду». Сразу ее положили на воз, закрыли ватным красным одеялом и привезли в Елизарьево. Куда там ее девать? Пошли за советом к о. Михаилу с о. Иаковом, а те говорят: «Везите ее к девчатам» (к нам с Тоней). К нам ее и привезли неожиданно.

У нас она пробыла несколько дней, пока нашли квартиру и протопили — была зима. Там

она и прожила зиму. Весной перевезли в Дивеево, сначала к немым (жили брат и сестра глухонемые), оттуда к Шатагиным. А в 30-м году, весной, перевезли Блаженную на хутор возле Починок и наконец в Череватово, где она и скончалась в 1931 году, 26 августа, в ночь на праздник Владимирской иконы Божией Матери. В ту ночь была страшная гроза. На Череватовском кладбище она и похоронена.

Мы жили с Тоней (скончалась монахиней Серафимой в Покровском монастыре в Киеве) и часто к ней ходили. Она когда ругалась, а когда вдруг ласково скажет: «Вот мои котятки пришли».

Много она при мне говорила, и мне всю жизнь сказывала, и другим при мне.

Раз как-то Тоня и говорит:

— Ты все говоришь, Мария Ивановна, монастыры!— Не будет монастыря!

— Будет! Будет! Будет!— И так застучала изо всех сил рукой по столу. Она бы разбила себе руку, не подложи мы на стол подушку, чтобы не так было больно.

Всем сестрам (теперь в живых нет ни одной) она назначала в монастыре послушания: кому сено сгребать, кому Канавку чистить, кому что, а мне никогда ничего не говорила. Я как-то расстроилась и скажи ей:

— Мария Ивановна, а я доживу до монастыря?

— Доживешь,— ответила она тихо и крепко сжала мне руку, даже больно придавила к столику.

Перед смертью Мария Ивановна всем близким к ней сестрам сказывала, сколько они по ней прочитают кафизм до 40-го дня. Все это исполнилось в точности. А мне сказала, когда я была у нее в последний раз в октябре 1930 года:

— А ты по мне ни одной кафизмы не прочитаешь.

И действительно, ничего не прочитала. Вспомнила о ее словах уже в 40-й день, когда было поздно.

Бойцовы. При Дивееве жили муж и жена Бойцовы по благословению старца Оптинской пустыни о. Иосифа (или о. Анатолия). Василий Михайлович Бойцов был старообрядцем, начетчиком, жил в Петрограде. Раз он шел по Петербургу и увидел, как по Невскому проспекту едет о. Иоанн Кронштадтский весь в сиянии. Это видение привело Василия Михайловича в лоно Православной Церкви. Он был большой молитвенник. Жена его Александра Константиновна скончалась 27 января 1929 года и похоронена на Дивеевском кладбище, а его в 1931 году взяли в Дивееве вместе с нашими сестрами. Он радовался, что попал в тюрьму вместе с дивеевскими. Год он просидел в Горьковской тюрьме, откуда его отправили в ссылку в Архангельск. Переходя по льду через Белое море, он поскользнулся и сломал ногу. Умер в больнице в Архангельске.

Говорила мне одна сестра, что Бойцов рассказывал: одному человеку было видение, может быть, ему самому. Слышит, спрашивают: «Сколько человек вернется в Дивеево? Триста?» — «Нет».— «Тридцать?» — «Нет».— «Три человека».

Крест чудотворный. После разгона монастыря многие иконы были сложены в верхнем Рождественском храме. Крест-распятие был очень большого размера и, очевидно, не проходил в дверь

небольшого храма. Вот и вздумали отпилить одну ручку Спасителя с частью Креста, чтобы легче пронести в помещение.

В трапезном храме Александра Невского в то время уже устроили клуб. Пошло оттуда несколько человек в четверг или утром в пятницу на Страстной неделе за крестом. Поднялись наверх по лестнице на паперть и видят: стоит там распятие, а из надпиленного места видны следы текшей и запекшейся крови. Следы крови были и на полу, куда она стекала.

Сразу стало всем известно. Помню, выходим мы в Великую пятницу от вечерни, а мужики становятся друг другу на плечи, чтобы заглянуть в окно верхней паперти.

Говорили, что этот крест считался чудотворным в монастыре. Он должен быть ставлен на горнем месте в соборе, но оказался мал, и долгое время стоял в живописной. А в последнее время его поставили справа в соборе.

В тюрьме. Зимой 1937 года нас очень много сидело в Арзамасской тюрьме. Дело в том, что после разгона монастыря, по словам начальника милиции Андреева, в Арзамасе жило 2000 монашек: из двух арзамасских монастырей, Николаевского и Алексеевского; почти все Понетаевские, во главе с игуменией. Много поселилось и дивеевских и из других окрестных монастырей. Некоторые устроились на работу, кто замуж вышел. Несколько сот душ попало в тюрьму. Там были и не только из городских монастырей, но и из Дивеева, со всех окрестностей. И вот одна сидевшая в тюрьме монашенка видит сон:

преподобный Серафим ведет по двору двух монашек со словами: «Я своих любимцев в тюрьму веду». Просыпается, глядит в окно, а по двору тюрьмы идут наши сестры Паша и Маша.

Точно так же Вера Леонидовна Чичагова в это же приблизительно время видела сон: за столом сидят монашенки, а Царица Небесная указывает, которых из них брать в тюрьму.

Сестра Агаша. В 1946 году 9 ноября, на праздник иконы Царицы Небесной Скоропослушницы, скончалась на своей родине в селе Хрипунове наша рясофорная сестра Агаша Купцова. Как я уже говорила, она была родом из Мелюковых (родственница Елены Ивановны Мотовиловой). Пришла Агаша в монастырь уже невестой. У нее был красивый сильный голос, но она была малограмотна и не обладала тонким слухом. Стояла на правом клиросе, пела альтом, читала и канонаршила, но все это ей доставалось с большим трудом. По разгоне монастыря она сначала жила в Дивееве, пела и читала в Казанской церкви, а как уже стало невозможно, переселилась на свою родину в село Хрипуново. Там продолжала читать и петь в своей церкви, а по закрытии церкви справляла все по домам. Жили они вдвоем со своей землячкой Ксеньюшкой.

У них стояла большая икона Царицы Небесной Скоропослушницы, перед которой читалась почти неусыпаемая Псалтырь. Они всегда молились. Осенью 1945 года сестру Агашу разбил паралич, в таком состоянии она пробыла 40 дней. Но все время молилась и пела. Ксеньюшка говорила, что у нее откуда-то явился необыкновенный

голос, и она все время пела. Вот один раз они вдвоем пели, а она и говорит:

— Ну а теперь давай еще молиться.

— Да ведь мы молились.

— Нет, это мы пели, а надо еще молиться.— Тут и говорит Ксеньюшке: Ксеньюшка, а ты видишь ангелов?

Ксеньюшка ничего не видела, но сказала:

— Немного вижу.

— А я вижу множество ангелов, а вот еще младенцы... Зачем они сюда пришли?

Незадолго до смерти, вечером, она попросила Ксеньюшку принести ей черный апостольник. Было темно, апостольник был в чулане, и та поленилась за ним идти. А наутро Агаша говорит:

— Ксеньюшка, меня постригли, я монахиня.

Нового имени своего так и не сказала.

Из Саровской жизни

После кончины батюшки Серафима все его вещи, даже пустыньки — Ближняя и Дальняя, и оба камня, на которых он молился, старанием Николая Александровича Мотовилова перенесли в Дивеево. К открытию мощей никаких вещей Преподобного в Сарове не было, пришлось просить у дивеевских, чтоб что-то поместить в его монастырской келлии, превращенной в часовню. То была часть каменного корпуса, уже сломанного, и над келлией воздвигли храм во имя преподобного Серафима. Туда-то и поместили часть камня, на котором он молился, мантию и список с иконы Божией Матери Умиление.

В Сарове ограды не ставили. Ее заменяли корпуса, расположенные четырехугольником и вы-

ходившие окнами либо вовне, либо внутрь монастыря. Окна келлии Преподобного обращены к реке Саровке.

Рассказывают, что какой-то архиерей приехал в Саров и спрашивает:

— Где пустынька Преподобного?

— В Дивееве.

— А камни?

— В Дивееве.

— Где все вещи?

— В Дивееве.

— Как же монашки у вас мощи-то не унесли?!

Я где-то читала, что Преподобный явился во сне Мотовилову и велел какую-то болящую напоить водой с камня, на котором сам молился. Но как это сделать? Из земли выступали большие каменные глыбы. Пробовали отбить кусочек — не получилось. Тогда Преподобный снова явился во сне Мотовилову и велел разжечь на камне костер. Сделали как велел, и камень сам распался на куски. Все их отвезли в Дивеево, оттуда они разошлись по всей России. К открытию мощей один кусок этого камня был привезен из Дивеева и положен в келье-часовне в Саровской обители.

Во время открытия святых мощей Преподобного Саровом правил игумен Иерофей, подвижник иноческой жизни. Небольшого роста, сухонький, согбенный, он носил обыкновенно засаленный подрясник, и не знавшие его принимали за простого послушника. И что характерно, игумен Иерофей был против открытия святых мощей, предполагая, что огромное стечение народа, последующее открытию, нарушит строгую

пустынническую жизнь саровских монахов. Говорили, что когда после разгона монастыря здесь поселили беспризорников, то они вскрывали гробы старцев — оказались нетленными. После смерти игумена Иерофея, уже в годы революционные, в Саров был поставлен игуменом Руфин, из мордвинов. Он благоволил дивеевским, но пробыл недолго: внезапно скончался, когда в Саров пришел крестный ход из Дивеева, произошло это 24 июня 1925 года. После Иерофея игуменом поставили Мефодия, но его вскоре сослали в Сибирь, так что при разгоне в Сарове игумена не было.

На Саровской колокольне были часы, они отсчитывали не только четверти, но даже и минуты. По всему лесу слышался благолепный звон. После переворота косточки батюшки Серафима лежали открытыми в раке без облачения, так к ним тогда и прикладывались.

И вот раз произошел случай. Одной монашенке в Дивееве приснился Преподобный с такими словами: не ходите в Саров, кто будет смотреть косточки, тот не увидит его в будущем веке. С полгода это продолжалось, потом мощи снова облачили.

До разгона распорядок дня в монастыре строго соблюдался. В два часа ночи в соборе, летом в Успенском, зимою — в Живоносного Источника начиналась утренняя мольба, полуночница, затем заутреня. Так служба продолжалась до 5 часов утра. По окончании все переходили в церковь Зосимы и Савватия, там всегда бывала ранняя обедня. Поздняя обедня служилась в соборах, где почивали мощи Преподобного: на зиму их переносили из Успенского собора в теплый — Живо-

носного Источника. После поздней обедни все монахи шли в трапезную. Там чередной инок, стоя у аналоя, читал «Жертвенник» — Жития святых или какое-нибудь поучение.

В три часа дня в соборе начиналась вечерня с чтением акафиста, пением канонов Иисусу Сладчайшему, Благовещению и Ангелу Хранителю. По окончании службы все шли в трапезную, а в семь вечера в церкви Зосимы и Савватия принимались за монашеское правило, с многими поясными и земными поклонами, наподобие пятисотницы. Одних земных поклонов отбивали более 100. После вечерних молитв монахи расходились по келлиям. В трапезной вся посуда была точеная из дерева — чашки, ложки, тарелки. Черный хлеб лежал перед каждым иноком на деревянной тарелке, причем краюха ставилась нерезанной. Квас варили раз в год, в марте. Заливали в бочки, закупоривали, после чего закатывали в погреб, закидывали снегом и льдом. Перед разгоном общей трапезы уже не стало, и монахи сами себе варили по келлиям. Стряпали в варежках, сшитых из холста, чтобы не обжечь рук.

Раньше на Покров в монастыре раздавали всем нуждающимся теплые вещи. И стекались к Сарову бедные люди, чтобы одеться, перебиться с нуждой.

На Гермогеновском хуторе имелась точильная мастерская. Я сама видела там два громадных маховых деревянных колеса, от них тянулся привод к точильным станкам. Раньше колеса вертели с помощью конного привода, а позже крутили руками. Кипарисовые кресты, ложки резали вручную; на станке вытачивали тарелки, блюда, чашки, солонки, кружки, ножки к стульям, веретена, а также прялки и детские игрушки.

По преданию, когда были прославлены мощи Преподобного, то он сам, бывало, нет-нет да и покажется в монастыре. Видели его не раз. А отец Маркеллин, гробный монах, говорил, что косточки батюшки Серафима, мощи его, облаченные в туфельки-сандалии, иногда были в песке, и их приходилось обтирать. Ходил, значит.

В годы после открытия мощей жил в Сарове, на одном из хуторов, затворник Анатолий, в схиме Василий. Пустынножительствовал строго, никого не принимал, и если давал ответы, то через своего келейника отца Исаакия, который скончался вскоре после разгона монастыря. Отец Анатолий был высокой духовной жизни и к тому же прозорливый. В пустыни его осаждал народ, мешал безмолвствовать. И вот поехал отец Исаакий в Дивеево, к блаженной Прасковье Ивановне, за советом. Но она от него заперлась в келлии, не пускает. Помолился пустынножитель с келейницей ее матушкой Серафимою у Распятия, с тем и ушел. Да, видно, задержался в монастыре, на обратной дороге привелось свидеться с Блаженной. Вышла Прасковья Ивановна на крыльцо и машет ему рукой: «Дедушка, дедушка!» Тот только махнул рукой, дескать, я все понял. И опять в свой затвор. Скончался пустынножитель в 1919 году. И что интересно, когда в монастыре беспризорники вскрывали его останки, а дело это было после 1927 года, то они оказались нетленными. Лежал как только что похороненный. Беспризорники сунули ему в рот папиросу, перевернули лицом долу и опять закрыли.

Тогда же беспризорники вскрыли могилу схимонаха, молчальника Марка, но оттуда вышел

огонь, и богохульники испугались. Могилы эти помещались против алтаря Успенского собора, ныне там разбит сквер.

Исстари повелось, что в первую неделю Великого поста монастырь закрывался и женщин в него не пускали с понедельника до вечера в пятницу. В это время в соборе совершалось неусыпное пение Псалтыри на два клироса попеременно. Великим постом монахи клали особые земные поклоны, трепетно повергаясь всем телом на землю, не сгибая колен; опора была лишь на руки. Пение в Сарове было совершенно особое, столбовое. Нот не признавали, пользовались крюками. Голосовщик начинал, к нему присоединялись остальные. Последнее время голосовщиком состоял иеромонах Иоасаф. Пели громко, прямо кричали. Напевы держались древние, протяжные, напоминали голос ветра, гулявшего по обширному Саровскому лесу.

Летом, перед праздниками, служили в 3 часа малую вечерню и повечерие с чтением сборного акафиста. Поющих было не менее ста. Всенощная обычно начиналась в 6 вечера, на эти дни монашеское правило — пятисотница отставлялась. Всенощная продолжалась до 11 часов вечера. После Воздвижения и в зимний период праздничная вечерня служилась рано, в 3 часа, а заутреня начиналась ночью. Молебны перед мощами Преподобного совершались после поздней обедни и после вечерни. На это назначался особый иеромонах. Почти до самого разгона таким иеромонахом был о. Маркеллин. Прикладывались к мощам во всякое время, когда открыт собор, и во время совершения служб. К раке вели широкие лестницы, подходы были с двух сторон.

Саровский монастырь расположен на горе, с запада примыкали многочисленные гостиницы, а также столовая для паломников. Невдалеке виднелось кладбище с церковью во имя Всех святых. С востока, по дороге на источник, стояли конный двор и баня. С севера, под горой,— церковь Иоанна Предтечи, а выше ее вход в пещеры с церковью Чудотворцев Печерских. Пещеры простирались по всей горе и тянулись до самого источника на две версты, как раз до Ближней пустыньки преподобного Серафима. Там был виден в песке выход, в песчаном откосе. Но в те дальние пещеры не водили, посещались лишь ближние, что под монастырем. Сопровождал монах, ходили со свечами.

Под церковью Иоанна Предтечи имелась водокачка, снабжавшая монастырь водой. Молочное хозяйство располагалось верстах в двух, на хуторе Маслиха[1], что по реке Сатису. Хутор виднелся из монастыря. А в лесу попадались другие хутора, их называли пустыньками. На каждую назначался монах — «хозяин». Обычно на такое послушание ставили вдовцов.

И как же был обширен Саровский лес, простирался на много верст кругом! Пустыньки, находившиеся в нем, обслуживали монахов и деловцов, работавших на заготовке леса, дров, на покосах, сборе грибов и ягод. Запасов хватало на весь год. Лесным «хозяином» к разгону монастыря был иеромонах Гедеон, родом с Херсонщины. Скончался он в ссылке в Алма-Ате, 26 марта 1933 года. Это было в Вербную субботу в 8 часов утра. У о. Гедеона имелся особый крест с частичкой ризы Господней, с мощами праведного

Лазаря Четверодневного и праведного Иова Многострадального. Мне привелось хороннть этого инока на алма-атинском кладбище, неподалеку от города. И происходило это в тот же день, в Вербное воскресение, в 5 часов вечера. Сообщила его сестре, дала телеграмму дивеевской монашке Анюте. И не чудесно ли? Она, оказывается, в этот день приобщалась Святых Тайн. А в ночь накануне иеромонах Гедеон ей снился дважды с настоятельной просьбой: «Не забудь помянуть меня на литургии. Это мне сегодня особенно важно». По часам получалось, что просьба его оказалась предсмертной.

Умирал инок от отека легкнх. Мне пришлось сидеть около него допоздна. Уже был плох, но я все же была уверена, что он не умрет в ту ночь. Уйти требовалось срочно, чтоб поспеть на работу (устроилась счетоводом). А в 8 часов утра он скончался. Передала его вещн в покойннцкую саннтару — пусть обрядит новопреставленного. Это уже было часов в 5 вечера. За день на умершего наклали столько покойников, что нам с санитаром пришлось доставать его снизу: трупы, уложенные поленницей, снимали за плечи и за ноги. Облачили о. Гедеона в свитку и черный подрясник, потом наделн епитрахиль и поручи, на голову надвинули скуфейку. Так и положили в гроб. Сестре умершего я написала подробное пнсьмо. И что удивительно: когда хоронили этого инока, его заочно в Ардатове отпевал архимандрит. Своей сестре умерший приснился в том облачении, в каком я его положила в гроб. А ведь письмо с описанием всего этого она получнла лишь спустя несколько дней.

Прозектором в алма-атинской больнице был в ту пору доктор Фрунзе — родной брат того самого военного. Этот доктор оказался достаточно милым человеком, мне какое-то время пришлось работать в алма-атинской больнице под его началом, и отношения у нас сложились хорошие. Он-то и разрешил мне похоронить о. Гедеона, а так бы не дали.

Врачи в больнице были либо приезжие, либо ссыльные. Работала я одно лето там делопроизводителем, но и позже, до конца срока моей ссылки, могла прийти в больницу в любое время, чтобы позвать врача осмотреть на дому больного или умирающего. Никто из персонала в такого рода просьбах не отказывал, а шел просто и охотно. Чувствовалось, так принято. Транспорта в Алма-Ате не было, грузы перевозили на лошадях. Выпросила я лошадь, чтобы отвезти гроб на кладбище. Горожане, в основном, ходили пешком, разве какой казах проедет на осле. Но ночью по городу шла машина — подбирала трупы. Верблюдов я всего однажды видела...

Саровское подворье в Арзамасе находилось внизу на набережной, где теперь строительный магазин. В 1946 году, вернувшись из второго заключения, я жила в Вертьянове в крохотной избушке матушки Амвросии. Церкви поблизости не имели, и все службы Великим постом отправляли дома. На Сорок мучеников пришла из Арзамаса сестра о. Гедеона Анюта. По окончании часов и вечерни начали петь панихиду. В келлии два окошка заплаканных, между ними стол, а по правой стенке две деревянные кровати. В углу много икон, перед ними всегда горела лампадка.

И вот Анюта видит, что в переднем углу за кроватью перед иконами о. Гедеон в облачении. Вид у него был такой, как будто стоял под стеклом. Анюта думает: «Сегодня Сорок мучеников, день его пострига». Запели: «Со святыми упокой», она сделала земной поклон. Поднимается, а о. Гедеон уже стоит в мантии. Кончилась панихида, и он сделался невидимым. Одновременно со мной в ссылке в Казахстане был саровский иеромонах Маркеллин, о котором я неоднократно упоминала ранее. Великим постом 1932 года он находился в Алма-Ате на пересыльном пункте. Последний раз его видели в этом городе в Великую субботу, а в Пасхальную ночь он был отправлен этапом дальше, где вскоре и скончался.

Саровский монастырь был полностью общежительным: все содержание братии — пищу, одежду — поставляла обитель. Одежда хранилась в рухольне, давалась по мере надобности всем инокам. После смерти инока его одежда опять поступала в рухольню. Рясы и подрясники шили из мухояра — грубой шерстяной ткани ручной выработки. Белье шили из холста, на рясах и подрясниках пришивали круглые оловянные пуговицы. Под воскрылиями наметок уголками пришивали разноцветные кусочки материи — красные, синие, зеленые — «в честь чинов архангельских». Четки большею частью носили кожаные — лестовки.

Прачечная стояла на реке Саровке, под монастырем. Там жили и стирали пожилые женщины. Никаких других жилых домов, кроме гостиниц, возле монастыря не было. Ко времени разгона возле Городища, правда, проживали две

старушки: Варвара Алексеевна Кайгородова — она лечила монахов, знала медицину, и с ней княгиня Кугушева — ее предки пожертвовали Сарову земли.

В заключение сообщу давнее предание. Я слышала, что на предварительном обследовании мощей батюшки Серафима на нем не оказалось финифтяного образа Явления Божией Матери преподобному Сергию. Образ прислан архиепископом Антонием Воронежским и был положен в гроб Старца. Это наводило смущение на некоторых: ту ли могилу вскрыли? Может быть, то была могила схимонаха Марка, она рядом?

Потом сомнения рассеялись.

Блаженный Онисим

Жил на моей памяти в монастыре дурачок Онисим. Рассказывали: в деревне Осиновка, что в двух верстах от Дивеева в сторону Сарова, была дурочка по имени Евфимия. Ее когда-то обидели, и она-то и родила мальчика, названного Онисимом. Пока рос, все ходил с матерью по деревне, в лес за грибами, а то и в монастырь на поклоненье. Жалели дурачков повсюду. А они сядут на дорогу, ноги «меряют», у кого длиннее, и ежели какой обоз едет — не сойдут; так и сворачивает в сторону в снег саней двадцать, а то и больше — не беспокоить же дурачков, объехать легче.

Когда Онисиму было лет десять, мать примерла. Перед смертью она пришла к игумении Марии и просила ее не оставлять Онисима без призору, и матушка игумения поместила его на конном дворе. Так он и прожил в монастыре до самого разорения обители. Истинно блаженным

был этот самый Онисим: в церкви бывал, но не стоял в храме, а все ходил, показывая, какие у него яркие рубашки. В старое время называл себя «становым», потом стал «строителем собора» — «я техник». А в последнее время и вовсе объявил себя диаконом. Не дай Бог батюшке замешкаться, он уже говорит ектении. И когда певчие по ошибке запевали «Господи, помилуй», в восторг приходил.

Ему всегда было 10 лет, когда ни спроси. Молодые монашки любили его дразнить: «Я замуж пойду». Тогда он приходил в страшное волнение, забирал бороду в рот, делал страшную мину: «Сгоришь, ахрист!» Антихрист, стало быть. Вообще, он многое провидел, говорил на своем особом языке, к которому мы привыкли и его понимали. Перед поступлением в обитель сестрой мне велели спросить Онисима, возьмет ли он меня в монастырь. И он сказал: «Возьму».

Его особенно трогательно любил владыка Серафим Звездинский, живший у нас недолго перед разгоном. Раз в тихую минуту, стоя перед иконами, Владыка сумел через Онисима понять видение, которого удостоился. А видение было такое: Владыка спал и вдруг проснулся; видит в углу свет, а там Господь. Около Господа стоит первоначальница обители матушка Александра, слышен голос Спасителя: «Скажи монашенкам, чтобы не ходили замуж, а то сгорят». Вот Высокопреосвященный всегда и повторял всем об этом перед началом поста, на заговенье.

Сподоблялся постоянно Онисим видениям и в церкви. В Прощеное воскресенье, бывало, во время прощанья он всегда обливался слезами

и просил у всех прощения. Также плакал и прощался в последнюю неделю Великого поста, в Великую среду. «Пост уходит, пост уходит!» — его слова. В Великую субботу во время крестного хода с плащаницей его вели под руки, так он плакал. А во время литургии при пении «Воскресни, Боже» глядел вверх, ловил руками и радовался. На Пасху одевался в красную рубаху с печатными большими розами и на возглас батюшки «Христос Воскресе!» в восторге кричал «Воистину Христос!».

Всех он звал «душенька», поэтому и его называли «Душенька». Перед большими неприятностями для обители начинал ругать мать игумению. Также и сестер, кого ласкал, а кого подходил в церкви сзади и бил. Любил будить задремавших старушек: наклонится и чихнет ей в лицо. «Ах ты такой-сякой»,— а его уже и нет. Для всех он был радость и развлечение.

Когда открыли у нас конный двор, он поселился с монашенками там. С ними и ушел на квартиру после разгона. Потом их взяли в тюрьму, а он пошел скитаться. Раз одна сестра повела его с собой в село Канерга. Там возле алтаря была похоронена матушка Милица, духовная мать манатейных монахинь. Онисим все стоял около ее могилы со словами: «Кабы к Духовной лечь». Так Онисим называл мать Милицу при жизни, он почти всем давал свои имена. Но его насильно увели в село Крамолейку. После обедни были там поминки, он взял в рот кусок мяса и как бы подавился. Вышел из-за стола, пошел в сарай, лег на солому и умер. В том селе его и похоронили.

Раньше говорили: «На дураках свет стоит». Как это понимать? Видно, неспроста молвилось людьми. Вернусь опять к Онисиму.

Каждый день он подходил к свечному ящику, там давали ему просфору. Он шел в алтарь и подавал просфору батюшке со словами: «Помяни Ахимью», мать его. А раз вздумалось Онисиму попросить дьякона помянуть ее с амвона. Дьячок помянул Евфимию и слышит голос: «Ахимью помяни!» Дьякон опять поминает Евфимию. Опять: «Ахимью помяни!» Бились, бились, Онисим не отступает. Тогда дьякон наконец громко помянул «Ахимью». Онисим пришел в восторг и прочь побежал с амвона.

За год до разгона одна монахиня наложила на себя руки: она перед тем очень тосковала. Это было под праздник Рождества Богородицы. На Александра Невского служба была в трапезной. Онисим был беспокойный, подходил ко всем окнам и неведомо кого бил кулаками. Когда эту сестру хоронили, за гробом никто не плакал. Но в монастыре четко слышали за гробом чей-то плач. Этот плач слышали и монашенки вне монастыря.

Блаженная Мария Ивановна

О блаженной Марии Ивановне мне давно надо бы еще написать. Да все никак не собралась.

Она даже меня во сне за это укоряла. Сон такой видела, когда вернулась в Дивеево из последней ссылки. В ту пору я сблизилась с келейницей великой блаженной Прасковьи Ивановны — Евдокией. Написала много с ее слов, рассказывала она в основном, когда жили в Москве. И вот как-то вижу во сне Марию Ивановну: «Ты что же все: Прасковья Ивановна, да Пра-

сковья Ивановна! А меня забываешь?» Надо упомянуть, что, когда меня в детстве привезли в монастырь, Прасковью Ивановну я не видела — была первая неделя Великого поста и ее не стали беспокоить. Так я ее никогда и не видала — умерла в 1915 году. А Марию Ивановну хорошо знала, рассказала же о ней чуть. Вот и хочется восполнить пробел.

Тем более что об Онисиме уже припомнила, а ведь эти блаженные были весьма дружны: где о нем, там и о ней должно быть.

Так вот, когда у Марии Ивановны ноги еще ходили, она все, бывало, под ручку с Онисимом по монастырю. У Блаженной было несколько любимцев. Любила, к примеру, Коленьку, сына нашего батюшки Михаила, причем любила с самого его рождения. Этот хороший мальчик умер в 10 лет, незадолго до ареста своего отца. Умер от дифтерита. Второй любимец — Михаил Петрович Арцыбушев, его она называла «Мишенька». Сразу после ее смерти Мишеньку расстреляли в Москве перед праздником Воздвижения Креста Господня.

С Арцыбушевым у Блаженной бывали всякие курьезы. Замечу, что Мария Ивановна, как человек весьма находчивый, обладала еще и острым умом, причем любила чем-нибудь удивить людей. Келейница Дорофея гневалась на Блаженную, от нее-де приходит головная боль. Вот раз приехал к Марии Ивановне какой-то военный чин, хочет войти. Время было советское, мать Дорофея предупреждает Марию Ивановну:

— Человек строгий приехал, ты чего-нибудь при нем зря не скажи! Про Царя не скажи...

— Не буду,— отвечала Блаженная.

Только «строгий» вошел, как ее прорвало, понесло:

— Когда правил Николашка, то была крупа и кашка! Николай-то был хоть и дурак, а хлеб стоил пятак! А сейчас «новый режим» — все голодные лежим.

Была самая голодовка, и вот такая речь. Как тут не заболеть голове?

Другой случай. Перед снятием сана архиепископом Евдокимом — он ударился в обновленчество — Мария Ивановна распевала про него песенку: «Как по улице по нашей Евдоким идет с парашей, ноги тонкие, кривые...» (далее неприличное). Пропоет, и опять с начала.

Михаил Петрович Арцыбушев был предан Блаженной всей душой, и будучи директором астраханских рыбных промыслов, ничего без ее благословения не делал. Так, врачи прописали ему пить йод. Он возьми да спроси Марию Ивановну, как быть? Она ответила: «Йод прожигает сердце, пей йодистый калий». Михаила Петровича поразил сам ответ Блаженной, ведь она же неграмотная, и такая ученость.

Спрашивает:

— Где ты училась?

— Я окончила уни-вер-си-тет.

Как-то после его отъезда из Дивеева сестры и мать Михаила Петровича надоели Блаженной, приступая к ней с одним и тем же вопросом: как он живет, как себя чувствует?

На что она сказала:

— Мишенька наш связался с цыганкой.

Те пришли в ужас, потому что она всегда говорила о Мишеньке правильно.

Когда он через год опять приехал в Дивеево, сестры решились спросить Михаила Петровича о «цыганке». В ответ Мишенька залился смехом. Потом рассказал:

— Ну и Блаженная! Я много лет не курил, а тут соблазнился и купил в ларьке папиросы «Цыганка».

Разве не смешно?

Помню, Блаженная пела: «Завтра будет праздник, Миша Арцыбушев — проказник». Такими вот шуточками прикрывала она свою святую жизнь.

Но самым большим любимцем все же оставался для нее Онисим. Он назывался «Жених». Помню, сижу у нее — ничего не видно и не слышно, Мария Ивановна говорит:

— Вот Жених идет.

И правда, входит Онисим. Она ему:

— Жених, пой!

Тот поднимает над ней руку и начинает что-то мычать. А она радуется.

Мария Ивановна и меня раз за него сватала:

— Скажи: возьми меня замуж.

Сказала, а он в ответ:

— Грех, грех.

— Разве ты монах?

— Грех, грех.

Вот такой разговор.

Помню, раз я задала Марии Ивановне прямой вопрос, и касался он предузнания чего-то. Она ответила: «Я не гадалка».

После разгона монастыря мы страшно нуждались, а жили от нее близко. Раз собрались в Саров, по дороге подошли к ее дому. Поднялись на

завалинку, заглянули в окно. Блаженная сидит на кровати, крестится, а сама приговаривает: «Пошли, Господи, благодетеля; пошли, Господи, благодетеля». И что ж, в Сарове я встретилась с людьми, которые стали нам помогать. Присылали большими ящиками белые сухари и сахар. Такая большая поддержка нам оказалась, постепенно все у нас и наладилось.

Один раз очень картинно, на своем особом, блаженном, языке она изображала предсмертную мою болезнь и смерть. Даже мать Дорофея ужаснулась таким страстям. Я спросила:

— Мария Ивановна, страшно умирать?

— Нет, не страшно...

В 1945 году я работала в Вологодской области, в колхозе.

Тосковала всем существом, доходила почти до отчаяния. Да и как не отчаяться? Освободилась я из лагеря 1 октября 1942 года. Прошло пять лет в заключении, да еще два с половиной года я никак не могла добраться до своих мест. И вот на масленицу вижу Блаженную во сне. Она крестит меня кругом:

— Это на дорогу.

И в левую сторону:

— А это от всех бед.

Оказывается, в те дни мне выслали вызов. Через неделю я его получила, но мое возвращение связалось с такими необычайно трудными обстоятельствами, что если бы не ее благословение и молитвы, то не знаю, как бы я добралась.

Старого стиля 23 марта 1945 года я выехала из села. Дорога рухнула, а снега толщиной в полтора аршина! Бригадирша отвезла меня за шесть

верст, сбросила мои вещи и уехала обратно. Мне пришлось кое-как вернуться.

Окончательно я выехала на Благовещение, 25 марта. Хряснул мороз аж под 30 градусов. С радости я забыла взять тулуп и мерзла смертельно и, конечно, простудилась. Я везла свинину, и ее и вещи хотела сдать в багаж. Вещи не приняли, а билет дали с четырьмя пересадками. Чудом везде находились люди, которые мне помогали переносить мою поклажу. Только села в поезд, у нас убили машиниста. Всего натерпелась в дороге, не описать.

Еще в монастыре я слышала от Блаженной:

— А ты и по Москве поскитаешься. А тебя, мать, вышлют.

И когда я после разгона монастыря скиталась по Москве, то хорошо знала: скоро вышлют. Так и получилось...

Владыка Серафим Звездинский Блаженную почитал как великую рабу Божию. Умерла она ночью, в грозу. Онисим радовался.

Как-то еще в монастыре приехали ко мне трое бывших подруг. Повела их к Блаженной. Ввожу первую.

— Не та, не та,— и говорить не хочет.

Ввожу вторую:

— Опять не та.

Ввожу третью:

— Ах, вот она! У тебя мать-старушка слепая, поезжай к матери, а то умрет, не застанешь.

Та не обратила на эти слова внимания, и когда мать вскоре стала умирать, ей дали телеграмму. И она мать не застала в живых.

Одному молодому человеку, хотевшему принять сан, она открыла всю его прошлую жизнь,

после чего уже не могло быть речи о принятии им священства.

В монастыре у нас жил священник, который доставлял большие неприятности матушке игумении. У него была своя большая партия сестер в монастыре.

Вот меня и послали спросить Марию Ивановну, что она думает об этом священнике? Заказывали только не говорить Блаженной, что прислана от матушки игумении.

Блаженная встретила меня словами:

— Пойди скажи игумении, что отец (и она назвала имя того священника) скоро уедет отсюда в Архангельск со всей своей семьей.

Сбылось все в точности, но уже через год после разгона монастыря.

Одна знакомая просила меня узнать через Марию Ивановну о сыне: у него не ладилось дело с женитьбой и он очень волновался. Блаженная ответила:

— Он подвижник, он вериги носит.

Та возмутилась ее ответом, но через некоторое время его арестовали, он тяжело болел и умер в лагере.

Раз я пришла к ней, а у нее сидит порченая молодая женщина. Она пела, потом рассказала, что ей под венцом посадила беса золовка, порчу навела зеленым пояском.

Мария Ивановна приказала настойчиво:

— Выходи!

Не выходит.

Тогда велела надеть на нее четки. Враг ходил по болящей явно: то рука раздуется, то нога, то живот. Когда надели четки (очень большие), раздулась шея и стала душить.

— Выходи, выходи!

— На источнике выйду.

Увели женщину в Саров. Наутро Мария Ивановна сидела и хлопала в ладоши:

— Вот он, побежал, побежал.

К вечеру вернулись из Сарова и рассказали, что больная исцелилась, когда шли с источника. Мария Ивановна из Дивеева как бы все это видела и хлопала в ладоши.

Когда я поступила в монастырь в 1924 году, у меня от худосочия появились нарывы на руках. Пробовала их мазать лампадным маслом от мощей, а исцеленья все не получала. Пошла к Марии Ивановне рассказать об этом. Она в ответ:

— А как ты мажешь? Просто так? Мажь крестиком и окружай.

Намазала так и все прошло. Бородавки на руках так же велела мазать желтотелом (травой чистотелом), и все прошло бесследно.

Такова была наша блаженная Мария Ивановна.

В скорбях и печалях

Мне предсказали о всех тюрьмах. Когда еще в монастыре была, блаженная Мария Ивановна сказала мне: «Ты и по Москве скитаться будешь... А ведь тебя, мать, вышлют». Что потом и получилось в точности. Из ссылки вернулась в 36-м году. Монастырь — в миру. Матушка (Анатолия, которая руководила моей духовной жизнью) тогда жила в Муроме. Примерно в это же время вижу сон: я нахожусь в соборе, стою на правом клиросе. Идет служба, я слышу отчетливое пение, возгласы священника и т. д. Вдруг

служба останавливается, образуется пауза. Я схожу с клироса и вижу, что священники о чем-то спорят между собой, оттого и служба остановилась. Я направляюсь к выходу из собора и вижу, как в него входят два архиерея. Смотрю — один из них мой владыка Петр. Я кланяюсь ему в ноги, он меня поднимает и держит за голову и говорит: «А, раба Божия заключенная...» Отвечаю: «Нет, Владыко, я не заключенная, я освободилась».— «Тебе надо еще сидеть».— «Но я не хочу, я уже сидела...» — «Тебе это необходимо». Выхожу из собора, на паперти замечаю дверь в боковую комнату, а в ней сидит моя матушка. Я подхожу к ней и говорю: «Матушка, мне Владыка сейчас сказал, что еще нужно сидеть»,— и просыпаюсь с ощущением, что все видела наяву. Шел 36-й год — пора затишья. Люди возвращались из ссылок. Но вот подкатил 37-й год. Тогда стряслась такая вещь: начальник Казанской железной дороги получил приказ, разумеется, тайный, спустить под откос два военных эшелона. Он долго колебался, как ему быть,— и так посадят, и эдак не поздоровится, в конце концов все-таки спустил. Пошел слух, что эшелоны спускают под откос бродяги, кликуши, цыгане и т. д. И монашки тоже подходили под этот разряд. Всех стали хватать и сажать. Того начальника, кажется, расстреляли. Милиционерам платили по 5 рублей за каждого пойманного.

А я работала как раз на железной дороге. Когда все это стряслось, я не могла там оставаться. Монахиню, с которой я жила, взяли на «зимнего» Серафима, после этого я уехала в Муром.

В тот день я пришла к матушке, и мне было так тяжело, что даже взмолилась: «Господи, уж

скорей бы взяли». Преподобный Серафим говорил, что монахам такие слова даром не проходят. Хотела уйти от матушки, но она меня оставила клеить обои и ночевать. Вдруг стучат в 12, в самую полночь. «Кто к вам приехал?» Видно, за мной следили. Еще по дороге заметила, что за мной шел какой-то неприятный тип.

Матушка тогда жила у своей духовной дочери, врача-психиатра, впоследствии эта женщина постриглась и умерла в схиме.

Чекисты хотели пройти к матушке, но врач им запретила. Она сказала: «Это моя больная, я запрещаю вам входить к ней!» Но они взяли меня и ухаживающую за матушкой монахиню Рафаилу. Мне говорят: «Собирайтесь, арестованная. Пойдем». Я думаю: «Как же мне с матушкой проститься?» И вслух: «Знаете что? Никуда я сейчас одна ночью с тремя мужчинами через весь город не пойду. Если хотите меня забирать, приходите утром». Они согласились и лишь взяли мой паспорт, а хозяйку обязали, что утром она меня к ним сама приведет. Вот я и получила возможность проститься с матушкой. На прощанье услышала: «Тебе дадут пять лет лагерей. Будешь работать счетоводом. Молись, чтобы Матерь Божия простила грехи. Когда простит — отпустят».

Утром нас, арестованных — цыган, бродяг, шпану и т. п. затолкали в машину, да так плотно, что не повернуться,— стояли, прижавшись друг к другу, и повезли. Судила «тройка» — за три часа осудила триста человек. В дела никто не вникал, зачастую судили и заочно. Меня осудили по статье как «социально вредный элемент», приговор — 5 лет лагерей.

Первая моя ссылка была по статье 58-й — «контрреволюционная организация» (служила в храме). Теперь попала в общий лагерь с уголовниками, рецидивистами и шпаной. Сначала отправили на юг. Там условия были сносные — работала в бухгалтерии. Потом нашло на меня искушение, и чтобы избежать соблазна, я сама попросилась на этап. Другого выхода не было. Этап оказался страшно тяжелый — на Дальний Восток, строить порт Находку. Ударное строительство начали с постройки бараков на пустом берегу. Вдобавок ко всему я попала в мужской лагерь. В скорбях написала матушке письмо, всего две строчки: «Матушка, помолитесь, я попала в мужской лагерь». Не знаю, дошло письмо или нет, но Господь меня подкрепил — пропало всякое чувство, хотя мне было всего 35 лет. Когда приставали мужчины, я совершенно не понимала, чего они от меня хотят.

Работала счетоводом, хотя считать не любила. Потом определили в аптеку. Заведующей там была жена одного из начальников лагеря. Она нуждалась в честном человеке, на кого могла бы положиться: в аптеке — спирт и проч. Ей порекомендовали взять меня. Оказалась она вполне доброй женщиной, и я с ней подружилась. По очереди сидели в аптеке, дежурили. Рабочий день длился с 9 до 17 часов, потом я сидела у нее дома часов до 10 вечера. Как расконвоированной, мне это разрешалось. Одно тяготило — «благодаря» тому, что у меня была такая статья, приходилось сидеть со шпаной. В доме заведующей я чем-нибудь помогала, ведь у нее было двое детей, а не то просто вязала. Потом шла в барак.

Там ютилось 30 женщин, а кругом в таких же бараках тысячи мужчин. Все женщины, кроме меня, были повязаны с мужчинами. И все-таки почему-то страшно боялись ходить ночью, даже в туалет отправлялись по нескольку человек. А я везде ходила одна, и было совсем не страшно. Однажды я даже спросила у знакомого рецидивиста, нужно ли мне, по его мнению, чего-либо бояться. Он сказал: «Это на воле вам надо бояться, где вас не знают. А здесь все вас знают, и никто не тронет». Боялась только собак, которых спускали на ночь.

Всем было на диво: как это женщина в 35 лет ни с кем не имеет связи. Будто бы раз и лагерное начальство обсуждало это, причем также недоумевало. Впрочем, один, с погонами, сказал: «Она слишком хитра, хорошо заметает следы». Может быть, на том и порешили.

Из страшных событий, которые пришлось пережить в лагере, самое ужасное – подавление «бунта поляков». Было так.

С нашим лагерем соседствовала Колымская пересылка — оттуда людей отправляли на Колыму. И вот в одном из этапов оказались офицеры-поляки. Событие происходило примерно в 40–41-м году. Колымская пересылка — место гибельное. Шансов вернуться оттуда почти не было. И вот однажды разгневанный пленный офицер подошел к начальнику лагеря что-то выяснять. Получился конфликт. Поляк замахнулся на начальника лагеря, а тот дал знак стрелять по людям. Сразу из четырех углов застрочили пулеметы. Поляки выбегали из палаток, в которых жили, чтобы выяснить, в чем дело, и попадали под пули... За

несколько минут было убито свыше 70 человек. Таков итог «бунта пленных поляков».

В эту пору я возвращалась ночью из сангородка в лагерь. Вижу — Колымская пересылка освещена прожекторами ярко-ярко, как днем. Вдруг над головой просвистели пули. Я присела на камень — пули продолжают свистеть. Поначалу не сообразила, в чем дело, а на другой день узнала — стреляли по лагерю. Один человек замахнулся, а расправились с 70-ю!..

Дружба с заведующей аптекой, к сожалению, продолжалась недолго, месяца два. Потом ее мужа сняли, хотели даже дать срок, а меня подготавливали быть свидетельницей. Чекисты подговаривали, я отказывалась. Грозил второй срок. Но по милости Божией все обошлось. Может быть, помог другой начальник лагеря, старый чекист, которому я сказала: «Кому я делаю плохое? Что они от меня хотят?» Он ответил: «Ничего, не бойтесь». С тех пор меня уже не трогали. Опять поставили бухгалтером в сангородке, а моего предшественника перевели на общие работы, говорят, очень пил. В моем ведении оказалась и кухня больницы. Выяснилось, что тот бухгалтер все недовыписывал. Скорее всего недопонимал, зачем он это делал. Я же стала выписывать все как полагается. В результате придет повар и скажет: «Зачем столько выписала, всегда было меньше. Я столько получать не буду».— «Я выписала сколько полагается, за подпись — отвечаю. Получайте». Только уйдет, на пороге кладовщик: «Мы не будем столько выдавать». И ему говорю: «Я выписала, я и отвечаю — выдавайте». Поверили в добросовестность. Потом взаимно изобретали

с поваром, как получше накормить заключенных. На ударном строительстве в общем-то кормили неплохо. В хранилищах стояло много бочек, где солили кету и горбушу. Ведь когда рыба шла на нерест, ее много выбрасывало на берег. Собирали про запас. Эту рыбу можно было только солить или варить. Если пожаришь, она становилась жесткая, как из дерева.

И вот мы с поваром Яшкой изобретали, как поизысканней накормить заключенных. Яшка оказался замечательным поваром. Этот совершенно рыжий еврей сначала за спекуляцию отсидел 4 года. А когда вышел, убил доносчика и получил еще 10 лет. Теперь, как он говорил, знает, за что сидит. Когда меня перевели в другое место, кормить заключенных стали по-прежнему.

Тем временем сменили заведующую аптекой. На ее место поставили вольнонаемного провизора. Старый бухгалтер сразу же стал предлагать ему свою помощь. А я попала в опалу, из-за того, что называла его, вольнонаемного, по имени и на «ты». Это его коробило. В результате на мое место поставили прежнего бухгалтера. Правда, потом провизор понял, что значит лишиться честного человека. Передавал поклоны и приветы, а дело сделано.

Предстоял этап. Отправили меня на пароме вместе с «мамками» во Владивосток. В пути один охранник был ко мне расположен и помог избежать перевозки в трюме. Накрыли нас, заключенных, брезентом (от дождя), и все мы так лежали на палубе. Проплывая остров Лисий, похожий на скалу в море, судно остановилось и простояло у берега целую ночь. Вокруг было очень красиво:

дикие камни, увитые лианами. Остров, океан, волны, бьющиеся о скалу, чайки — чем не первозданная красота? Я все время читала на память псалом «Господи, искусил мя еси...» Всю дорогу его читала. Ведь мы могли и не доплыть до Владивостока. Тогда в море было много минных полей; в шторм мины срывало с креплений и они могли оказаться в каком угодно месте. В океане был такой случай. На одном островке поселили несколько заключенных монахинь, чтобы шпана не обижала. Они там жили одни. И вот как-то ночью разыгрался шторм, и на их острове взорвалась мина — налетела на скалу. Никто не пострадал, только все монахини со страху не могли оторваться от пола.

Наконец, наша баржа-пароход остановилась на подходе к Владивостокской бухте. Все подходы там были заминированы, и пришлось ждать лоцмана, который и провел судно между минными полями. До нас тут был такой случай: пароход с освобожденными заключенными стоял-стоял, гудел-гудел, а лоцман все не появлялся. И пароход пошел без лоцмана, пошел и подорвался на мине. Погибли сотни людей. Может быть, кто-то и получил нагоняй, но люди-то погибли...

Самым страшным испытанием в тюремные годы для меня была Владивостокская пересылка. Я сидела со шпаной четыре зимних месяца. Пересылка набита до отказа, условия ужасные. Воды давали по кружке на человека в день — и пей, и умывайся. В коридоре стояла большая бочка, куда выливали помои, но и мочились иногда ночью туда же; и вот этой водой дежурные мыли полы, другой не было. Вонь стояла страшная.

Мужскую и женскую половины тюрьмы отделяла легкая стенка. В ней была проделана дырка, которую на день закрывали. Ночью на женскую половину приходили «женихи» с огромными ножами.

Я всегда старалась сохранить чистоту души, а пришлось познать всю глубину человеческого падения. Там ведь были такие бандиты... Соседка по нарам рассказывала, правда не без содрогания, как она участвовала в «мокром деле»: бандит зарезал ребенка в люльке и с наслаждением облизывал кровь с ножа. Такие там были люди. Бывало, проснешься от криков — бьют кого-нибудь, или грабят, или режут, повернешься на другой бок, уши заткнешь и снова спишь. Как только выдержала, не знаю. Какие уж после этого могут быть нервы?

А было в лагере еще и вот что — барак для сифилитиков. Как-то пришел новый этап, места ему не приготовили, и лагерное начальство решило поместить прибывавших в венбарак, а сифилитиков — запустить в наши бараки. А те закрылись изнутри, не пускают, говорят: в зоне все хорошие места заняты, куда вы нас гоните, где нам, под нарами, что ли, спать? Не пойдем! Тогда начальство велело им занимать любые места, которые они облюбуют. И вот ночью мы спим, вдруг страшные крики, врывается толпа сифилитичек, сами в язвах, грязные, и начинают всех сбрасывать с нар или прыгать и втискиваться между людьми. Оказывается — шпана. Так и сидели потом вместе. Пили из одной посуды, мылись в одной бане — как только Господь сохранил, не знаю. Правда, чесоткой я заболела — вся

струпьями покрылась. И до сих пор, чуть что — сразу зуд начинается. А что вытворяла шпана в бане! Ведут всех мыться, в бане на каждого по одной шайке. Шпана бежит вперед, чтобы захватить две шайки. В одну сифилитичка садится, а из другой моется. Приходилось бежать сломя голову, чтобы захватить себе шайку. А люди пожилые отставали, и им шаек не хватало. Пока шпана намоется и они добудут шайку, потом воды,— уже уводят всех. Шпана всю одежду с себя проигрывала постоянно, так что тюремное начальство не знало, во что их одевать. Когда их стали развозить (на Колыму), они не хотели идти в машину, визжали, царапались, кусались, ругались. Охрана брала каждую за ноги и за руки, раскачивала и кидала в машину, иначе не совладать. Одна, по кличке Одноглазая, убежала и спряталась. Всех из-за нее задержали, пока искали. Долго продолжался поиск. Случайно обнаружили — между двумя палатками залезла и сидела там. Едва запихнули в машину — она царапалась, кусалась, визжала. Повезли. Мы вздохнули с облегчением — схлынули! Вдруг ночью привозят обратно. Оказалось, пароход их не дождался и ушел. Но вообще-то с уголовницами мы потом подружились. Позже они при мне даже матом перестали ругаться.

Последний год заключения я была прикреплена на общие работы. Сначала вроде бы ничего, а потом меня послали в совхоз. Там я никак не справлялась, не поспевала за всеми. И вот был день маминой памяти. Думаю: «Мамочка, если ты имеешь хоть маленькое дерзновение, помолись за меня, не могу здесь выдержать». Через

некоторое время меня перевели на более легкую работу. Еще был момент, когда я заболела цингой, и уже совсем как-то стало мне тяжело. Настал день папиной памяти. В тот день меня перевели на ферму принимать молоко. Конечно, вскоре оттуда убрали, но я за месяц успела поправить здоровье.

Кончался срок, а в последние два года я не получила ни одного письма из дому. Последнее письмо пришло еще до войны от сестры. Она сообщала, что куда-то едет, обрисовала дорогу. Дальше — молчание. Подошел срок освобождаться, а я не знаю, куда ехать, и вообще жив ли кто. Был день памяти преподобного Серафима. Выбрала момент, зашла в пустое овощехранилище, чтобы помолиться наедине, и говорю: «Батюшка Серафим! Ты меня совсем забыл. Так давно нет ни одного известия из дому. Помоги мне!» Прихожу в барак, а мне подают письмо от сестры. Весь лагерь сбежался смотреть. У нас никто уже больше года не получал писем. Мне — первое.

Настало освобождение. Вот тут-то я и вспомнила слова моей матушки: «Молись Божией Матери, чтобы простила грехи. Когда простит, отпустят». Я не молилась, думала — кончится срок и так отпустят. А когда он кончился, тут-то и началось самое трудное. Добиралась до дому два с половиной года! Сначала нас поселили во Владивостоке вместе со шпаной. В нашей комнате стояли четыре кровати: жили я и еще три женщины. Каждый вечер в эту комнату набивалось до 18–20 мужчин. Я уходила на кухню, а когда уже совсем изнемогала, шла ложиться на свою кровать, накрывалась одеялом с головой и засыпала. Чем

они там занимались, я не ведала. Однажды ночью проснулась от того, что у них рухнула кровать. Даже в лагере уголовницы уже потом стеснялись при мне ругаться матом, а здесь мерзость не унималась. Я нашла в городе прокурора и стала говорить, что случайно прошла по уголовной статье, что раньше у меня была 58-я (лишь бы поселили отдельно от шпаны). Прокурор стал на меня кричать, что с 58-й статьей могла ли бы я находиться в пограничной зоне? Получилось, что я же и виновата. Хоть как-то двигаться могла только в Богородичные праздники. Раз выехала за два дня до Благовещения, пришлось вернуться с дороги — нет проезда. А выехали в само Благовещение — проехали. Да всего не расскажешь. Попробую мелкими штришками обрисовать картину духовного прошлого.

* * *

Евгений Поселянин — составитель «Подвижников благочестия», перед кончиной жил с неверующей сестрой в Петрограде. И вот видит он сон, как звонят по телефону, а затем приходят ночью и уводят его. Проснулся утром и пошел к своему духовнику о. Борису. Исповедался, приобщился Святых Таин. В ту же ночь сон сбылся буквально: позвонили по телефону, потом ворвались, обыск, забрали и увели. Через некоторое время сестра узнала — расстрелян. Она была неверующая и отпевать его не стала, и никому из священников не сказала об этом.

Через какое-то время его духовник, о. Борис, служит в храме, выходит покадить на амвон и вдруг видит — стоит на клиросе Поселянин.

Когда священник подошел поближе, тот раскрыл свой пиджак, и о. Борис видит у него на груди рану от пули. Отец Борис спрашивает: «Когда это случилось?». В ответ Евгений Николаевич указывает рукой на икону Трех Святителей. Священник говорит: «Мне надо кадить; подождите, я сейчас вернусь»,— и уходит в алтарь. Когда вернулся, на клиросе уже никого не было.

* * *

В селе Пузо (ныне Суворово) жила блаженная Евдокия, совершенно больная, ходить она уже не могла. А старица была высокой духовной жизни. При ней жили несколько богомолок. В 18-м году в село Пузо пришел карательный отряд. Всех женщин сначала зверски избили в доме, потом вывели за село на кладбище и расстреляли. Больную старицу несли на руках. Их имена: Евдокия, две Дарьи и Мария.

Одна из женщин, жившая с Блаженной, убежала, и еще одна была в отлучке. Могила мучениц находится на кладбище в этом селе.

* * *

В Даниловом монастыре пребывал владыка Феодор. Он перебрался туда после того, как его выжили из Троице-Сергиевой лавры в 1905 году. Сразу после революции и его, и владыку Гурия арестовали, и четыре года держали в Таганской тюрьме. Там начальником был брат жены Менжинского. Говорят, что он был порядочным человеком и много помогал узникам. Когда получил приказ готовить камеру для Святейшего Патриарха Тихона, то ночью решил приехать к Па-

триарху, предупредить. Может быть, вспомнил, как в детстве его учили складывать руки, подошел под благословение и сказал: «Я начальник Таганской тюрьмы. Мне приказано приготовить для вас камеру». Патриарх ответил: «Пожалуйста, приготовьте». Но в ту пору Патриарха не посадили в тюрьму, а заключили в Донском монастыре. А в камере сидело до 12 архиереев. Они служили в узилище, а поскольку не было диакона, то все по очереди возглашали ектении. Начинал митрополит, остальные по очереди. Благочестивые люди приносили с воли просфоры и облачения, а надзиратели передавали.

Когда я первый раз приехала из Сибири, то сразу пошла к родственникам моего владыки Петра (Зверева). Оказалось, что он тоже в тюрьме, но на следующий день у родных должно быть разрешение на свидание. У меня никакой надежды получить такое разрешение не было, так как его давали лишь близким родственникам. И вот они пошли на свидание, а я осталась стоять у ворот тюрьмы. Вдруг выходит какой-то человек и спрашивает меня: «Вы к кому?» Я говорю: «К Звереву». Он говорит: «Разрешения нет?» Отвечаю: «Нет». Человек этот оборачивается и говорит часовому: «Проведите к Звереву без разрешения». Оказывается, это был начальник Таганской тюрьмы. Владыка, конечно, был удивлен, когда меня увидел. Находился он тогда в тюремной больнице.

Перед отправкой владыки Петра в ссылку на перроне состоялось еще трехчасовое свидание. Владыка говорил своим чадам: «Если бы я мог показать вам свое сердце... Как страдание очищает сердце!»

Подошел конец срока владыки Феодора, и его выпустили. В то время Москва наполнялась обновленцами. Все верные Православию клир и миряне группировались вокруг Даниловского монастыря. Стоял 21-й год. В Москву ссылали архиереев отовсюду. Буквально в каждом храме — по архиерею. В Даниловом монастыре образовался так называемый Даниловский Синод с митрополитом Серафимом Чичаговым во главе (формально возглавлял он, действительной же главой был владыка Феодор). Вскоре произошло освобождение Патриарха, которое встретили всеобщим ликованием. И началось покаяние обновленцев. Когда пришел каяться митрополит Сергий Страгородский, Патриарх, видя этого немолодого уже архиерея, с укоризной сказал: «Ну ладно, те-то — мальчишки, а ты-то что?» Покаяние приносил также и Алексий Симанский, тогда он был еще иеромонахом.

В Даниловом монастыре проживал тогда о. Симеон (архимандрит). В юности он был очень веселым, любил танцевать. Однажды веселая компания молодых людей решила посетить старца Герасима. Старец благословил о. Симеона на монашество, и тот его сразу принял. В 1905 году ему прострелили позвоночник. Во время операции о. Симеон не проронил ни звука, чем даже обратил неверующую до того медсестру, которая говорила, что только верующий человек мог выдержать такую страшную боль. После операции архимандрит остался полным инвалидом. У него отнялась вся нижняя половина тела. Когда он себя хорошо чувствовал, его сажали в инвалидную

коляску и вносили в храм, где он пел на клиросе. Обладал красивым голосом, пел даже «Да исправится молитва моя». Исповедовал людей, которых направлял владыка Феодор. Делал это лежа в постели на животе. В тюрьму отправили в 36-м или 37-м году, умер в Твери в начале войны (1942). Вечная ему память.

Схимонахиня Анатолия

Схимонахиня Анатолия (в миру Зоя Викторовна Якубович) родилась 12 февраля 1874 года в Саратове в небогатой дворянской семье. Кроме Зои и ее сестры Лидии, разделившей впоследствии с матерью Анатолией монашеский путь, в семье выросло еще трое детей. Мать рано овдовела, и Зое пришлось помогать по хозяйству. Воспитывались дети в христианском духе, и Зоя с детства ежедневно читала Евангелие. Образование сестры получили в саратовской женской гимназии.

Как во многих дворянских семьях тех лет, дети почти ничего не знали о такой существенной стороне христианской жизни, как монашество. По природным своим дарованиям Зоя была настоящей монахиней, но молилась, чтобы Господь послал ей жениха — смиренного и кроткого. И Господь услышал ее молитву: когда ей исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за инженера водного транспорта Николая Иванова, человека глубокой веры, смиренного и кроткого. Жили они очень дружно, но Господь не дал им детей.

Человек может годами молиться, ходить в храм, соблюдать установленные посты, но совершенно не разуметь, что такое духовная жизнь.

Религиозная жизнь вписывается для такого человека в рамки материальной жизни, зачастую подчиняясь ее законам. Это время духовной спячки, зимы, блаженного младенчества, не ведающего о трудностях и суровости жизни треблаженной, духовной. Иногда Сам Господь будит человека — видением, чудом, особым обстоятельством, и всю жизнь проживший религиозно, человек впервые всем сердцем тогда обращается к Богу; или пробуждает душу словом другого — Своего избранника.

Интерес к духовной жизни проявился у Зои благодаря епископу Гермогену (Долганову), с которым семья Якубовичей была дружна. Сестра ее Лидия была настроения светского. Но однажды, хорошо одетая, в большой модной шляпе, она стояла в храме и слушала проповедь епископа. Эта проповедь так поразила ее, что с того времени она всецело обратилась к Богу. Сестры стали читать духовные книги, несколько раз были в Сарове у старца-затворника иеросхимонаха Василия. Эти поездки имели на них особенное влияние: не изменяя внешнего образа жизни, они втайне начали вести духовную жизнь, читали Псалтирь, Иисусову молитву.

Когда Зое исполнилось тридцать три года, умер ее муж, она списалась со старцем Василием и по его благословению на сороковой день вместе с сестрой поступила в монастырь. Первые два года они прожили в основанной старцем общине; он хотел поставить их начальницами, но они не чувствовали в себе сил исполнить это послушание. Затем год они прожили в местечке Ундол во Владимирской губернии, где старец благословил основать пустынь. Место было глухое — всего

несколько домиков, даже не обнесенных оградой. Приезд их сразу обратил на себя внимание местных жителей. Диавол не дремлет, и чуть где завидится подвиг ради Христа, он тут же воздвигает на подвижника брань. У некоторых из местных жителей возникло подозрение, что насельницы очень богаты, и они задумали их убить и ограбить. Но замысел осуществить не удалось — сестры вскоре покинули пустынь.*

Непосильность трудов и подвигов приводила сестер в большое смущение, а еще более того — пожелание старца, чтобы они стали начальницами новоустраиваемой общины. Уже была выхлопотана и прислана из Синода бумага, по которой Зоя назначалась строительницей церкви, причем ни в архитектуре, ни в строительстве она не была сведущей.

Со смущенным духом они возвращались от старца и по пути заехали в Дивеево к блаженной Прасковье Ивановне. Рассказали о своем смущении. Прасковья Ивановна говорит:

— Дайте мне бумаги, я почитаю.

Зоя знала, что Блаженная неграмотна, но повиновалась и подала ей синодскую бумагу. Блаженная тут же изорвала ее в клочки и бросила в печку. Обратившись к образу преподобного Серафима и указывая на сестер рукой, она воскликнула:

— Батюшка Серафим, твои снохи, ей-Богу! Обе твои снохи!

Затем велела им идти к игумении Александре проситься в монастырь.

Келлии свободной не было, и две недели они прожили в гостинице.

С самого поступления в монастырь Зоя всегда держала глаза опущенными. В храм сестры ходили гуськом, чтобы не разговаривать. Зоя рассказывала, как они приучали себя к терпению: «Получим письма или посылки и в этот день не открываем, а оставляем до следующего дня».

Первым послушанием Зои было изготовлять в ризной цветы, затем ее послали в дворянскую гостиницу записывать приезжающих гостей. Потом — в монастырскую мануфактурную лавку оценщицей и продавщицей. Наконец перевели вместе с сестрой в канцелярию — писать письма благодетелям. У Лидии был дар слова, а у Зои — нет, и письма получались краткими и сухими. Тогда ей поручили отвечать на письма, адресованные блаженной Прасковье Ивановне. Теперь она ежедневно бывала у Блаженной и особенно этому радовалась.

Она рассказывала, что однажды им с сестрой захотелось посмотреть, как Прасковья Ивановна молится ночью. Благословились у игумении и пришли вечером к Блаженной. А она тут же улеглась спать. В двенадцать часов встала, потребовала самовар, напилась чаю и опять легла спать, а утром, погрозив пальцем, сказала:

— Озорницы, когда сукман*, кресты и поклоны, тогда молиться.

Послушницы поняли ее слова так, что не раньше брать подвига, как после пострижения в схиму.

Вскоре Зоя заболела раком, врачи определили ей только год жизни и велели немедленно делать операцию. Получив благословение у игумении,

* Суконный сарафан.

Зоя с сестрой поехала в Киев и в Оптину к старцу о. Варсонофию.

Узнав о цели их приезда, старец сказал:

— Операцию делать не нужно. Я вам дам маслица от Казанской Царицы Небесной, им помазывайте больное место сорок дней, и никакой операции не нужно.

Потом стал беседовать и много говорил о предстоящих скорбях и гонениях от начальников, от сестер, о напастях от бесов и, высоко подняв руки, сказал:

— Да помоги тебе Господи! Да помоги тебе Господи! Да помоги же тебе Господи! Но иди смело. Покров Царицы Небесной над тобой.

По возвращении из Оптиной сестер постригли в мантию, а затем вскоре и в схиму. Постриг сестры приняли: Зоя — с именем Анатолия, Лидия — с именем Серафима.

Перед принятием схимы сестры пришли к блаженной Прасковье Ивановне за благословением. Блаженная встала и начала вслух молиться:

— Уроди, Господи, жита, пшеницы, овса, вики и лен зеленый, молодой, высокий, на многая лета.

При этих словах она подняла руки и сама поднялась на воздух. (Слова «на многая лета» означали долгую жизнь матери Анатолии. Лен у Блаженной означал молитву, прясть лен — значило молиться.) Затвор схимниц с самого начала был очень строгим, они не выходили даже в церковь. Монастырский священник о. Михаил Гусев сам приходил приобщать их Святых Тайн. Все время они проводили в богомыслии и молитве, не разговаривая и между собой. Утром пили чай, в два часа обедали овощами без масла.

Игумения Александра как духовная мать, восприявшая их от пострига, не благословила вкушать никакого масла, по словам, написанным на схиме: «Колена моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради».

— А лучше вкушайте немного молока,— сказала она.

Мать Серафима до смерти выдержала этот пост, а матери Анатолии он оказался не под силу. Слабая от природы, истощенная подвигами и болезнью, она совершенно изнемогла и тогда взяла благословение у блаженной Прасковьи Ивановны на употребление масла.

Когда мать Анатолия заболела раком, то ее сестра часто приходила к Блаженной и говорила:

— Не могу жить без Зои, я без Зои жить не могу, не спасусь.

А Прасковья Ивановна говорила про матушку Серафиму:

— Девушка хорошая, а вся в земличке, одна голова наружу.

Это к близкой ее смерти. И действительно, случилось так, что мать Серафима упала, ударилась, и у нее образовалась раковая опухоль. Рак у нее был безболезненный, она постепенно слабела, слабела и так скончалась. Мать Анатолия рассказывала, что лежит мать Серафима больная, слабая, а глаза горят, и поет: «Христос раждается...»*

Вскоре после смерти сестры у матери Анатолии начались искушения от бесов. Однажды досады демонов были столь сильны, что игумения Александра сказала: «Мать Анатолия больше

* Рождественский ирмос.

трех дней не проживет». Враги щекотали и щипали ее с ног до головы, даже под ногтями, не давая ни есть, нн пнть, ни спать.

Начинались гонения на Церковь, и игумення Александра говорнла: «Мать Анатолия борется с невидимыми врагами, а я с видимыми».

Понемногу мать Анатолия стала приходить в себя от первых бесовских нападений. Ее благословили ходить в храм к ранней обедне, но н в храме бесы не оставляли ее. «В алтарь вхожу, а они — за мной»,— рассказывала она.

В это время келейницей ее была послушница Анастасия. Наступила пора ей взять у игумении благословение — остаться лн жить у матерн Анатолии или уйти. Они это обсуждалн, когда Анастасию позвали к игуменнн, и та в точности воспронзвела весь их разговор.

Анастасия с удивленнем сказала нгуменнн:

— К нам никак нельзя неслышно пройти, а то бы я подумала, что кто-ннбудь подслушал и пересказал вам.

Игумения не любила, когда ее возвышали, н перевела разговор на другое.

Определенного благословения на проживание у схнмницы послушница не получнла. «Как ты сама хочешь»,— сказала игумения. И тогда Анастасия стала вспоминать предречення блаженных — как Паша Саровская заставляла ее лазить под кровать, подавать палку, выносить помон и т. п., изображая ей дела послушницы; как блаженная Мария Ивановна еще за два года до того спрашивала: «Кто пришел? — и сама же отвечала: — Послушница схимницы». Мать Дорофея, келейница блаженной Марии Ивановны,

ее поправляла, но Блаженная продолжала настаивать: «Послушница схимницы». Многое и другое ей вспомнилось, и она решила остаться. Сначала она была очень рада своему послушанию, а потом заскучала. Глядит в окно: весна, все вышли монастырь убирать, а она сидит в келлии.

«Все спасутся, а я не спасусь»,— подбираются к ней потихонечку помыслы. А тут еще бесовские напасти. И они поехали с матушкой Анатолией в Саров к иеросхимонаху Василию. Он был в затворе и никого не принимал, ответы передавал через келейника, но их принял лично.

После посещения старца и беседы с ним страхования от бесов несколько уменьшились, хотя и не прекратились. Анастасия рассказывала:

— Станем в двенадцатом часу ночи молиться, а в потолок как гвозди вбивают. Это я слышу, а что матушка?! Или ночью идем по Канавке, матушка и говорит: «Крести меня, крести меня!»

Страхования продолжались до самой кончины схимницы, но впоследствии силой Христовой она имела огромную власть над силой вражьей и говорила своим духовным детям: «Никогда их не бойтесь, бесы совершенно бессильны, грех их бояться».

От чрезвычайных подвигов и напастей у матери Анатолии открылся туберкулез легких, продолжавшийся до самой ее кончины.

В то время стариц в Дивееве не было, и к матери Анатолии начали обращаться сестры за советом. Она взяла благословение у игумении, чтобы принимать сестер и приезжавших в обитель мирян. Монастырские сестры ходили к ней в определенные дни. Они открывали ей свои помыслы

и искушения, а она учила их смирению, терпению, непрестанной Иисусовой молитве. Любимым чтением ее были творения св. Симеона Нового Богослова, а из современных — Игнатия Брянчанинова.

Но не всем нравилось это послушание схимницы, и она много понесла за это скорбей. Некоторые шли, ища духовной пользы, а некоторые шли ее испытать. Началась зависть, поднялись нарекания, пошли наговоры игумении, так что и она изменила к ней отношение. Бесы хитры, и стоит только подвижнику ревностно взяться за дело спасения, как Господь попускает им действовать через наши страсти и страсти ближних — чтобы мы исцелились.

В 1924 году постригли в мантию келейницу схимницы с именем Рафаила.

В 1926 году в монастыре поселился епископ Серафим (Звездинский), архипастырь высокой духовной жизни.

Епископ служил литургию ежедневно с пяти часов утра при закрытых дверях. Для матери Анатолии он явился поддержкой и утешением. Она часто обращалась к нему за советом, и архипастырь говорил о ней: «Это мое любимое, послушнейшее чадо». После того как он был выслан в Меленки, она обращалась к нему письменно, а в 1928 году посетила его.

Мать Анатолия была проста и бесхитростна. Собираются они, бывало, с матерью Рафаилой к владыке, сговариваются, что надо у него спросить. Приехали, сидят, молчат. Мать Рафаила делает знаки, пора, мол, спросить, а матушка говорит: «Рафаила, что ты меня толкаешь?»

Владыка умилился н рассказал им, как собрались старцы: посидели, помолчали, поглядели друг на друга, тем утешились и разошлись, не сказав ни слова.

В 1927 году власти объявилн о закрытии монастыря. Мать Анатолия н мать Рафаила переехали в деревню Вертьяново н сняли половину пятистенной нзбы. Место было шумное, но больше ничего найти не удалось.

Мать Анатолия заняла уголок справа от входа, повеснла нконы, лампадки, устроила себе постель на сундуке н все это отгородила черной коленкоровой занавеской, так что получилось у нее, как она называла, темничка — темный уголок без окон. Мать Рафаила поместилась в светлой половнне нзбы; там онн вычитывали ежедневно всю службу, так что даже в храм матушка Анатолня не выходила, а жила в полном затворе.

В своей темничке она принимала прнходивших к ней сестер.

Все три окна на улицу были занавешены плотными белыми занавесками, а Велнкнм постом еще сверху черным коленкором. Не выходя нз дома, мать Анатолия лишалась свежего воздуха, что было ей особенно тяжело прн больных легких, но все это она выдержала терпеливо н безропотно.

Хозяева их оказались воры, но даже на такнх людей мать Анатолня пронзводила нензгладимое впечатление. Один раз хозяин рассказал ей, что товарищи уговаривали его уехать в Арзамас, а они бы в это время монахинь ограбили, но он им ответил: «Никогда этого не допущу. У меня живет святое лицо».

Дожили так до весны 1930 года. Шла коллективизация. Оставаться здесь было невозможно. Попытались переехать в деревню Череватово, но и оттуда пришлось уехать и поселиться в селе Дивееве. Прожили лето, а осенью выехали в Муром.

В Муроме им пришлось переменить несколько квартир, и наконец одна знакомая женщина позвала их жить к себе в деревню. Это было прекрасное уединенное место, далеко в лесу. У хозяйки одновременно с ними жил тайно священник, и у них всегда была дома служба.

Осенью 1932 года их всех арестовали и повезли во Владимир. Владимирская тюрьма — строгого режима. Мать Рафаила очень тяжело переживала разлуку с матушкой и одиночное заключение, а мать Анатолия говорила, что ей там было очень хорошо. В тишине и уединении она творила Иисусову молитву.

Просидели они в тюрьме несколько месяцев, и мать Анатолию по болезни отпустили домой, а мать Рафаилу сослали на три года в Петропавловск. В 1933 году мать Анатолия поселилась в Кулебаках. Большим утешением для нее служило в то время то, что близко находился храм, где ежедневно совершалась служба, и служил в нем ее любимый монастырский духовник о. Михаил Гусев.

По мере сил матушка ежедневно посещала богослужение. Там с утра была утреня и обедня. Под праздники служили всенощную с вечера. Храм был деревянный, просторный, иконостас был расписан дивеевскими сестрами. Осенью 1935 года вернулась из заключения мать Рафаила и разместилась вместе с матушкой в комнате на сундуке. Так прожили они почти два года.

Осенью 1937 года они купили в Муроме маленький домик на самом краю высокого берега Оки. Хозяйкой домика стала духовная дочь матушки Анатолии Елизавета Щ., поскольку дом был куплен на ее деньги. Мать Рафаила с Елизаветой заняли комнату, а мать Анатолия поселилась в бывшей кладовке — маленькой комнатке с небольшим окошком со вставленной в него решеткой. В этой комнатке она прожила до самой смерти. Комнатка была не приспособлена для жилья, холодная и полутемная, с неутепленным полом, но мать Анатолия дороже всего ценила уединение и ради него все терпела.

Началась война, возникли материальные трудности. Приходилось засаживать огород помидорами и ехать их продавать повыгоднее, подороже. Раньше, когда они жили одни, они никогда ни о чем не заботились, кроме молитвы, и Господь не посрамлял их надежды. У них было не только необходимое для себя, но они даже имели возможность делиться с неимущими.

Наступила зима 1948–1949 годов. Мать Анатолия все время болела, заметно слабела и старалась уединяться. Она все реже принимала приходивших к ней сестер, а одной, просившей принять ее, ответила: «Мне уже больше нечего тебе говорить, все тебе сказала; ты все знаешь и все понимаешь».

В январе 1949 года она заболела воспалением легких. С каждым днем ей делалось все хуже и хуже. Сестры пришли к ней прощаться, она перекрестила их, а потом еще перекрестила воздух: «А это всех, всех». Во время болезни батюшки приходили причащать ее каждый день.

18 января вечером ей сделалось совсем плохо, в одиннадцать часов вечера послали за батюшкой. Батюшка пришел около двенадцати часов. Начал читать обычные молитвы. Она только повторяла: «Скорей, скорей!» В двенадцать часов ночи 19 января матушка причастилась (1 февраля н. ст.) и через полчаса тихо скончалась. Еще живя в Вертьянове, она как-то говорила матери Рафаиле: «Какие есть счастливые люди, причащаются в час смерти...»

Мы знаем о том, какую мать Анатолия пережила страшную вражескую брань. Безусловно, она не могла бы ее выдержать, если бы не имела особой благодатной помощи и утешения, но она никогда об этом не упоминала даже намеком, настолько она была смиренна и боялась всякого возношения. Рафаила рассказывала, что иногда во время тяжелой болезни она видела, как у матушки лицо делалось ангельским. Мать Анатолия каждую неделю приобщалась Святых Тайн, и в то время ее лицо, всегда бледное, делалось розовым, а всегда ясные голубые глаза светились особым светом. После причащения Святых Тайн она никогда не выходила, а закрывалась и одна пила чай у себя в келлии. Она всегда учила повторять про себя: «Пресвятая Владычице моя Богородице, избавь меня от козней и наветов диавольских, Боже, в помощь мою вонми!»

Мать Анатолия была прозорлива. Мне она задолго сказала, когда и какая страсть будет особенно меня мучить.

— А когда же покой? — воскликнула я.

— Покой будет, когда пропоют «Со святыми упокой», а раньше этого покоя не жди.

Рассказывала одна монахиня. Незадолго до кончины матушки Анатолии она пришла к ней. Схимница велела ей открыть все свои грехи с детства. С великим сокрушением и слезами исповедала та свою жизнь. Выслушав, мать Анатолия сказала:

— Все грехи твои с рождения я беру на себя.

И с тем отпустила.

После матушка Анатолия спросила келейницу:

— Утешила ли, угостила ли ты ее чем-нибудь?

— Нет,— ответила та.

— Она насытилась слезами,— сказала матушка.

Матушка всегда принимала откровение помыслов сидя, как делали и старцы, а мы становились на колени. Придешь к матушке со скорбью, с искушением. Уткнешься ей в подол, поплачешь и все тут оставишь. Куда что денется? Домой летишь как на крыльях.

Об архиепископе Петре (Звереве)

В конце моей жизни Господь благословил меня писать свои воспоминания о тех многих духовных лицах, с которыми мне пришлось встретиться в жизни. Конечно, если бы я могла себе это представить в молодости, я многое могла бы тогда узнать. Да и не только тогда, а и впоследствии имела еще возможность встретиться с многими людьми и расспросить обо всем подробно, а теперь уже люди эти умерли и никого не вернешь. Пишу то, что записала раньше и что осталось у меня в памяти, правильно или неправильно — сама не знаю, что помню, то и пишу.

* * *

Архиепископ Петр (Зверев) родился 18 февраля 1878 года и во святом крещении наречен был Василием, в честь Василия Исповедника (28 февраля). Отец его был священник, протоиерей Константин Зверев. Впоследствии он служил в Московском Кремле и был духовником Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Мать его звали Анной. Кроме Василия, у них было еще два сына: Арсений и Кассиан и дочь Варвара.

Мать рассказывала, что у мальчиков уже с детства определились их наклонности. Каждый играл по-своему: Арсений писал бумажки и сделался чиновником; Кассиан играл в войну, стал офицером и был убит на войне 1914 года, а Василий очень любил играть в церковную службу. Владыка сам рассказывал, что в раннем детстве он всегда торопился к началу церковной службы в их приходском храме и шел всегда рядом с отцом. В то время, когда видели идущего в церковь священника, на колокольне делали три раза перезвон, и мальчик считал, что два раза звонят отцу, а третий раз — ему.

В самом раннем детстве Василий увидел во сне Спасителя. Об этом он так рассказывал при мне детям: «В детстве я был очень толстый и пухлый, и взрослые любили меня тискать, а я этого терпеть не мог и отбивался от них руками, ногами. И вот вижу сон. У нас в столовой стоял у стены стол, и вот я вижу: сидит за столом Спаситель в синей и красной одежде и держит меня на руках. А под столом — страшная собака. Спаситель берет мою руку и протягивает под стол собаке со словами: «Ешь ее, она дерется». Я проснулся и с тех пор

никогда уже не дрался, а стал расти, во всем стараясь сдерживать себя, не сердиться и не делать ничего дурного. Всем мальчишкам всегда хочется попробовать курить. Отец был строгий, он сказал: «Если кто будет курить, губы оторву!» Но попробовать все-таки хотелось. Выкурил я папиросу и пошел в церковь. Было Прощеное воскресенье. Запели: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя». Это было самое любимое мое песнопение. Но тут закружилась у меня голова и пришлось выйти из храма. С тех пор я уже не пробовал курить».

Владыка окончил московскую гимназию и прошел 2 курса историко-филологического факультета Московского университета, после чего перешел в Казанскую Духовную Академию [1]. Там он и принял монашество в 1900 году 22-х лет от роду, был наречен Петром во имя апостола Петра [2], принял и сан иеромонаха.

По окончании Академии [3] в сане иеромонаха служил в Москве в Епархиальном доме [4], что в Каретном ряду (Садово-Каретная). Тут у Владыки появились уже духовные дети, верные ему до конца жизни. Потом был настоятелем Белевского мужского монастыря Тульской губернии [5]. Во время войны 1914 года отправился проповедником на фронт. После войны назначен настоятелем Желтикова монастыря в Твери. Там находились мощи святителя Арсения Тверского. В это время ему пришлось переоблачать мощи Святителя. Владыка рассказывал, что на Святителе сохранилась древняя одежда, коричневая, совсем другого покроя, с пуговицами сбоку. Святитель весь был нетленный, не хватало только ног — одной

до колена, другой ниже колена. Очевидно, отнимали части мощей.

В 1918 году в Твери Владыку впервые арестовали. 1 февраля 1919 года в Патриарших покоях состоялось его наречение во епископа. 2 февраля 1919 года на праздник Сретения он был хиротонисан в Москве Святейшим Патриархом Тихоном во епископа и назначен викарным епископом Балахнинским в Нижний Новгород к архиепископу Евдокиму[6], которого раньше хорошо знал, когда служил в Белеве, а архиепископ Евдоким управлял тогда Тульской епархией. Владыке исполнился в то время 41 год.

Белев находится недалеко от Оптиной пустыни, и Владыка имел возможность постоянно общаться с Оптинскими старцами, которые, в свою очередь, были к нему очень расположены, ценили его высоко и направляли к нему многих для духовного руководства. Владыка до принятия епископства неоднократно бывал в Сарове и Дивееве, особенное имел расположение к блаженной Прасковье Ивановне. Как рассказывали ее келейницы, «так и сидел у ее ножек», и она взаимно платила ему своим расположением. Она даже подарила ему холст своей работы, из которого он впоследствии сшил себе архиерейское облачение и хранил его на смерть. По рассказам келейницы Прасковьи Ивановны, он вместе с дивеевскими сестрами переживал около Блаженной то тяжелое время, когда задерживалось открытие святых мощей батюшки Серафима. Бывал Владыка и у отца Иоанна Кронштадтского. Помню его рассказ о том, как отец Иоанн кормил его вместе с матушкой схиигуменией Фамарью — сначала ее, потом его.

Мне Господь привел узнать Владыку сразу же, как он приехал к нам в Нижний Новгород после хиротонии. Он был высокого роста, худощавый, блондин, волосы носил очень длинные, никогда их не подстригал, борода рыжеватая, глаза ясные, голубые. Голос у него был сильный, с очень хорошей дикцией, так что когда он служил впоследствии в храме Христа Спасителя и говорил проповедь, во всем храме слышалось каждое его слово. Такой же голос, только еще сильнее, был еще только у архиепископа Илариона[7].

Жил Владыка в Нижнем Новгороде, как и его предшественники, в Печерском монастыре на берегу Волги. В древности Печерский монастырь был расположен верстах в двух от города, но произошел обвал, монастырь обрушился в Волгу, остался лишь один храм, и иноки поселились ближе к городу, в так называемых Ближних Печерах. В 1919 году Ближние Печеры насчитывали не менее трехсот лет со своего основания. Монастырь находился в упадке. Братия была малочисленна. Владыка привез с собой нескольких монахов. Сразу завел полную уставную службу. Служил во все большие и малые праздники, при этом во время всенощной всегда стоял сам в храме на настоятельском месте против чтимой иконы Печерской Божией Матери, часто сам читал шестопсалмие (особенно когда говел).

Никакие певчие не могли выдержать такой продолжительной службы, и Владыка привлек к службе народ. За правым клиросом стоял аналой, здесь находился управляющий службой его келейник брат Алексий, и все усердствовавшие

пели и читали. В малые праздники всенощная продолжалась пять часов; по воскресеньям — шесть часов, а в двунадесятые — семь часов, то есть с пяти вечера до двенадцати ночи (Владыка часто не успевал выпить чашку чаю после всенощной).

Владыка служил неспешно, ясно и громко произнося каждое слово. Кадил по церкви неторопливо, так что успевали пропеть весь псалом (полиелейный). «Хвалите имя Господне» пел весь народ на два хора по афонскому распеву, полностью оба псалма. Во время первого часа и после литургии Владыка благословлял всегда весь народ.

В будние дни, когда имел время, Владыка служил раннюю литургию сам в домовой церкви. Каждый праздник он говорил проповедь после литургии; кроме того, завел в монастыре преподавание Закона Божия для детей. Учил он их сам. Дети так привязались к нему, что, бывало, так и стоят толпой у его крыльца, ждут, не пойдет ли он куда, и провожают его всей гурьбой. Владыка всегда им тут что-нибудь рассказывал, чаще из своей жизни, из детских воспоминаний. Иногда он совершал всенощную и на всю ночь. Помню, под Рождество всенощная началась в десять вечера, а после нее сразу ранняя обедня, за которой многие причащались Святых Таин. Несмотря на продолжительность службы и самое простое пение, церковь всегда была полна народу.

Акафистов за всенощной Владыка никогда не читал, а требовал полностью вычитывать все кафизмы; акафисты же читал на молебнах. Владыка особенно любил Псалтирь. Всегда всем велел его читать. Раз как-то пригласили его служить

всенощную в какой-то храм и кафизмы совсем почти выпустили (оставили по нескольку слов). Владыка подозвал настоятеля и сказал ему: «Почему ты не любишь царя Давида? Люби царя Давида».

Панихиды Владыка служил всегда полностью, по уставу, с семнадцатой кафизмой без всякого сокращения. Помню, как он говорил: «Кто отслужит по мне такую панихиду?». Также и отпевание у него длилось по нескольку часов (без всяких сокращений). Особенно любил он и соблюдал в точности церковный устав. Даже песни на каноне все выпевались. В Воронеже Владыка говорил своему келейнику: «Во всем твой Петр грешен, только устава никогда не нарушил».

В Печерском монастыре древний собор в честь Успения Божией Матери был запущен. Стены и потолок чернели от копоти. Владыка пригласил народ помочь в уборке храма и сам первый влез на лестницу и промыл часть потолка. Помню, перед праздником Успения Божией Матери совершались в храме каждый день, после вечерни, молебны со службой и акафистом Успению Божией Матери, по образцу Киево-Печерской лавры. Так готовился Владыка к встрече праздника Успения.

Часто в престольные праздники Владыку приглашали служить в городских храмах. Народ сразу почувствовал и полюбил Владыку и пошел за ним. Но эта популярность не понравилась архиепископу Евдокиму. Он стал ему завидовать, и их первоначально дружеские отношения перешли у Преосвященного в открытую ненависть. Но люди не знали этого и по-прежнему приглашали их вместе служить. Тяжело было смотреть, как они

стояли вдвоем на кафедре. Преосвященный Евдоким стоял весь черный, а владыка Петр бледный как полотно.

Помню рассказ Владыки. В Прощеное воскресенье 1920 года архиепископ Евдоким служил в городе, а Владыку послал служить в Сормово. Это за городом, далеко. Ходили тогда все пешком, извозчиков не было. На обратном пути Владыка зашел нарочно проститься перед Великим постом с архиепископом Евдокимом на Дивеевское подворье, где тот всегда помещался. Вошел к нему в покои, поклонился на святые иконы, поклонился ему в ноги и подошел со словами: «Христос посреди нас». Но вместо обычного ответа: «И есть и будет» — архиепископ Евдоким ответил: «И нет и не будет». Владыка повернулся и вышел. Началась первая неделя Великого поста. Владыка присутствовал на всех службах. Помню, служба в общей сложности продолжалась 13–14 часов в сутки. В середине Поста преосвященный Евдоким перевел Владыку на жительство в Канавино. Он настаивал, чтобы Владыка, как епископ Балахнинский, поселился в Городецком монастыре (Городец находится на берегу Волги выше Нижнего Новгорода). В Канавине (за Окой, против Нижнего Новгорода) на самом Московском вокзале помещалось Городецкое подворье. Там и поселился Владыка, и прожил немногим более года. Было там очень шумно и беспокойно, подворье выходило прямо на железнодорожные пути.

В мае 1921 года Владыку снова арестовали. Живя в Канавине, он часто служил в Сормове (по близости расстояния). Тут, как и везде, народ

очень расположился к нему. Арест Владыки вызвал трехдневную забастовку сормовских заводов. Власти пообещали его выпустить, а вместо того отправили в Москву: сначала на Лубянку, а потом он некоторое время находился в Бутырской тюрьме, после чего был переведен на Таганку. Там в то время собралось до двенадцати архиереев и много духовенства. Мы приносили им туда просфоры, облачения, и они в камере совершали соборную службу. Мой дядя, Павел Тимофеевич Соколов, сидевший в то время, рассказывал: «Станут за столик архиереи, а он маленький, служебники положить негде. А диакона нет ни одного. По положению должен первую ектению читать старший, и вот митрополит начинает великую ектению, и дальше все архиереи по старшинству читают ектении по очереди».

В Таганской тюрьме Владыка заболел от истощения и попал в больницу. У него сделались фурункулы на голове. В конце июля Владыку назначили на этап в Петроград. Перед отправкой дали свидание. Мы пришли трое: жена его брата, духовная дочь В. Н. и я. Владыка сказал нам, что он договорился, чтобы мы вышли раньше и дождались за углом, когда их выведут, и тогда подошли к ним. Его вывели вдвоем с каким-то мужчиной. Мы подошли и вместе с ними шли под конвоем до самого вокзала. Там их ввели в вагон, потом снова выпустили, и Владыка провел с нами несколько часов, до самого отправления, находясь в тамбуре вагона. Много тут он нам рассказывал, но я уже плохо помню, ведь прошло с того времени почти шестьдесят лет. Рассказывал все с самого начала, как его арестовали

и спустили в какой-то подвал, где все находились вместе, мужчины и женщины. Что там творилось — вообразить невозможно. Потом рассказывал, как переводили из Бутырок на Таганку. С плачем прощались с ним все заключенные, даже вышли все надзиратели. «Я вспомнил,— говорил Владыка,— прощание апостола Павла». Потом рассказывал, как сидел на Лубянке с каким-то моряком. Было томительно сидеть без всякого дела, и они сделали себе бирюльки из битого стекла и растаскивали их соломинками. Конечно, сидели они не молча. Владыка никогда не переставал проповедовать. В конце концов Владыка снял с себя крест и надел на матроса. Вообще, когда он находился в заключении, мы не успевали посылать ему кресты. Владыка обращал людей к вере, снимал с себя крест и надевал на обращенного (в то время в тюрьмах еще кресты не снимали).

В Петрограде Владыка просидел до декабря и 23 числа, на Анастасию Узорешительницу, был выпущен и сразу приехал в Москву. Всенощную и обедню на Рождество Христово служил в Марфо-Мариинской обители, а на второй день праздника служил в храме Христа Спасителя. В эти дни он получил назначение в Тверь опять викарием, епископом Старицким, и опять поселился в Желтиковом монастыре, где в 1918 году был настоятелем. В Желтикове он снова завел те же порядки, что и в Печерах. Народ помнил его и встретил с радостью.

В это время архиепископ Евдоким совместно с митрополитом Сергием написал воззвание к верующим с призывом сдавать церковные ценности в помощь голодающим Поволжья (в 1921–22 гг.

там была засуха и страшный голод)[8]. Воззвание это привезла Владыке дивеевская монахиня мать Маргарита. Помню, в Прощеное воскресенье Владыка его прочитал и сказал про архиепископа Евдокима: «Я так этого и ждал. А митрополит Сергий глуховат: он слышит, что надо слышать, и не слышит, чего не надо слышать».

Управляющим Тверской епархией был в то время епископ Александр[9]. Он присоединился к составителям воззвания. Это было начало обновленчества.

В Желтикове Владыка пробыл меньше года и после Архангела Михаила снова был арестован и послан в Москву. С ним вместе были привезены епископ Феофил Новоторжский[10], архимандрит Вениамин (молодой, двадцати одного года), архимандрит Иннокентий и несколько священников. Всю зиму их продержали в Бутырках. Затем перевели на Таганку и как раз на стояние Марии Египетской, в четверг на пятой неделе Великого поста 1923 года, отправили с большим этапом в Ташкент. Перед отправкой дали личное свидание. Голова у Владыки была забинтована. Помню, я сидела около Владыки и целовала его руку. С тем же этапом отправляли много рецидивистов; был усиленный конвой, и на Казанском вокзале не позволяли даже близко подойти. Там видела я Владыку в последний раз.

Из Ташкента его отправили в ссылку в Перовск (теперь Кзыл-Орда). Там он пробыл больше года. Летом 1923 года был выпущен Святейший Патриарх Тихон. Он подал список архиереев, без которых не может управлять Церковью, в их числе был и владыка Петр. В конце лета 1924 года

его вернули в Москву. Тут ему временно пришлось управлять Московской епархией, а 16 июля 1925 года он прибыл в Вороиеж в помощь митрополиту Владимиру[11], а по смерти последнего, 24 декабря 1925 года, был назначен в Воронеж архиепископом Воронежским и Задонским. Здесь уж Владыка со всей силой развернул свою деятельность. Он служил, проповедовал, собирая тысячи народа. В нем сказалась особенная, благодатиая сила, которая притягивала к нему людей. Он был совершеи в ревиости и в любви к Богу, в жалости и в любви к людям.

Владыке предложили иа выбор две епархии: Нижегородскую и Вороиежскую. Владыка выбрал Вороиежскую, так как всегда особенно почитал святителей Вороиежских Митрофана и Тихоиа и архиепископа Антоиия.

В Вороиеже Владыка ие был близок с духовеиством, но был особенно близок с народом, которого собиралось иа его службы великое множество. При нем иачалось почти поголовное возвращеиие духовенства из обиовленчества.

В Вороиеже Владыке сопутствовал отец архимандрит Иниокеитий. Близость с иим у Владыки иачалась еще в Твери. Отец Иниокеитий, тихий и кроткий, во всем был Владыке ближайшим помощииком. Из Вороиежа Владыка посылал отца Иниокеития в Саров и Дивеево за иотным акафистом преподобиому Серафиму и служил в Воронеже этот акафист каждую среду.

В свое время блаженная Прасковья Ивановна предсказала ему три тюрьмы, которые уже прошли, и поэтому Владыка ие стал больше иичего бояться. «Четвертой ие будет». Дивеевская бла-

женная Мария Ивановна через мать Маргариту остерегала его: «Пусть Владыка сидит тихо, а то Царица Небесная от него откажется», — но он, помня слова блаженной Прасковьи Ивановны, не обращал на это внимания. Наконец, 16 ноября 1926 года его все-таки арестовали, отправили в Москву, а оттуда на 10 лет в Соловки[12]. Когда Владыку провожали в Москве на Северном вокзале, он закричал: «Есть ли тут дивеевские?» Там были две дивеевские сестры. Он сказал им: «Передайте от меня поклон блаженной Марии Ивановне».

Владыка прибыл в Соловки весной 1927 года. В то время там было в заключении много архиереев, духовенства и монашествующих.

В Соловках Владыка находился первоначально в 6-й роте IV отделения в стенах «Кремля» (монастыря); затем его перевели в 4-ю роту. Там он навещал и похоронил отца Иннокентия, скончавшегося 24 декабря ст. ст. 1927 года.

В 1928 году Владыка был переведен на Анзер[13] в VI отделение. Там он работал счетоводом на складе (каптерке), где работали одни священники.

Владыка писал с Анзера, что живет в уединенном пустынном месте, мало видит людей и чувствует себя пустынником. Там в уединении он составил акафист преподобному Герману Соловецкому и послал его на проверку в Москву.

С Анзера Владыка писал, что скорбит в удалении от могилки отца Иннокентия. Также вспоминал своего бывшего келейника отца Серафима, ранее скончавшегося в Нижегородском Печерском монастыре, «с ним были связаны взаимной любовью». Вспоминал и просил разыскать своего

келейника отца Пафнутия, бывшего тогда еще в живых, просил передать ему свое благословение. Отец Пафнутий, как я помню, всегда толковал Владыке значение снов.

Сохранились копии целого ряда писем, написанных Владыкой из Соловков.

Далее привожу рассказ монахини Арсении, бывшей в Соловках вместе с Владыкой.

При разгоне Соловецкого монастыря начальство предложило желающим монахам остаться в монастыре вольнонаемными. Шестьдесят монахов остаться согласились. Им дали церковь на кладбище в честь преподобного Онуфрия Великого. Ежедневно там совершалась служба: с 6 часов вечера всенощная и в 4 часа утра — литургия. Сначала начальство относилось к верующим снисходительно: заключенные епископы и священники жили отдельно, также и монашенки. Они посещали все церковные службы, работали в дневную смену. В 4 часа утра служилась обедня до 6 часов утра. В 6 часов утра был общий подъем и поверка, после этого Владыка шел в хлеборезку. Он благословлял хлеб, а священники резали его и раздавали пайки. В 6 часов вечера, после конца работы, начиналась всенощная. Владыка всегда читал шестопсалмие. В восемь вечера всенощная кончалась. Поверка, отбой, и все ложились спать. Владыка находился в центре монастыря, в «Кремле». Те верующие, которые находились на Анзере (острове), приплывали на Соловки причащаться. На Соловках была сильная грязь, были проложены деревянные мостки для пешеходов. Рассказывали, что начальство настолько уважало Владыку, что при встрече с ним сходило в грязь, уступая ему дорогу. Но потом

начальство переменилось. Прислали командовать лагерем сына священника (Успенского)[14]. Он сразу снял с церквей кресты. Владыка в это время обратил к православной вере и крестил в Святом озере эстонку. За это он был отправлен в штрафную командировку на остров в Троицкое[15]. Там начался повальный тиф.

На острове, продолжает монахиня Арсения, вправо по мостику, Копрская[16]; по преданию, Петр Великий, когда выстроил первый ботик и поплыл в нем по Белому морю, служил там благодарственный молебен. Слева — скит Анзер (преподобного Елеазара). Подле скита ветхая избушка и часовня в честь Успения Божией Матери (на месте явления Божией Матери и преподобного Елеазара иеросхимонаху Иисусу)[17]. В часовне было написано, что при явлении Матерь Божия сказала: «На этом месте пусть будет сооружен скит во имя Страдания Моего Сына. Пусть живут 12 иноков и будут все время поститься, кроме субботы и воскресенья. Придет время, верующие на этой горе будут падать от страданий, как мухи». Там и основан был скит Голгофа.

Когда начался тиф, в скиту поместился госпиталь. Владыка заболел тифом и был привезен в госпиталь. Там он болел 14 дней. Владыка перенес бы болезнь, но он не принимал пищи. Мать Арсения находилась в то время на пристани, и у нее хранились вещи Владыки. К больному Владыке приехал из Соловков иеромонах и приобщил его Святых Таин. Мать Арсения неоднократно присылала Владыке хранившуюся у нее его постригальную свитку, но он отсылал ее обратно. В день его кончины пришла к ней сестра-

хозяйка. Сказала, что в болезни наступил перелом; Владыка должен был поправиться, но он ничего не кушает. Мать Арсения спросила: «В чем он лежит?» — «В казенной короткой рубашке». Тогда мать Арсения опять послала свитку, которую Владыка хранил на смерть (для дня кончины). Когда ему подали ее, он сказал: «Как к делу она послала ее. Теперь оботрите меня губкой. Обмывать меня нельзя». На Владыку надели свитку, и в ней он скончался.

В одной палате с Владыкой лежал ветеринарный врач, его духовный сын. В день смерти Владыки, в 4 часа утра, он услышал шум, как бы влетела стая птиц. Открывает глаза и видит святую великомученицу Варвару со многими девами. Она подошла к постели Владыки и причастила его Святых Таин[18]. Среди сопровождавших ее дев врач узнал святую мученицу Анисию и великомученицу Ирину. Он рассказал об этом владыке архиепископу Полтавскому[19] и другим. В тот же день, в 7 часов вечера, Владыка скончался. Перед смертью вечером он все писал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к Себе призывает». И так несколько раз. В последний раз написал «не» — и рука упала: Владыка скончался. Это было на праздник Царицы Небесной Утоли моя печали — 25 января 1929 года, в семь часов вечера,— 50 лет от роду.

Когда Владыка скончался, его вынесли в морг. Владыка лежал в свитке, и его хотели похоронить отдельно. Еще при начале тифозной эпидемии на острове с осени вырыли большую яму и туда складывали всех покойников, а сверху яму закрывали срубленными с этой целью елями. По

приказанию начальннка Владыку положилн в общую могилу. Его положили с краю, прикрыли деревцем. Местный начальннк никак не разрешал хоронить его отдельно. Тогда заключенные подали заявление с просьбой разрешить. Наконец разрешнли.

На пятый день хоронилн Владыку; был выходной день, воскресенье. Еще когда Владыка только что заболел, ему прислалн все малое облаченне, мантию и малый омофор[20]. Когда получилн разрешенне хороннть отдельно, то сразу погасилн бывшие у Владыки деиежные квитанции н купили продуктов на поминки, всю ночь готовили. В хозчасти сделалн в мастерской гроб за 8 руб. 60 коп. Панагию написали на кипарисе. Всю ночь писали. В 5 часов утра пошлн в хозчасть в Анзер за четыре версты, там в каптерке (склад) отпели Владыку, все облаченне сложили в гроб н повезлн. Четыре человека шпаны в это время копали могилу. Подъехали, открыли общую могилу. Все умершие лежали черные, а Владыка лежит, как Спаситель, в рубашечке, со сложеииыми иа груди руками, белый, как кипенный. На лнце былн хвоинкн насыпаны. Трн священника на простыии подняли его из могилы, расчесали волосы, отерли лицо и начали прямо на земле облачать. Весь он был белый, мягкнй, как будто бы вчера умер, только одиа нога больная почернела (еще когда в Белеве он осматрнвал монастырскую постройку, ему на ногу упал кирпич; она всегда у него болела). Облачили Владыку в мантию лиловую, новую, н во все новое облачение. На иожки надели туфельки бархатные (сшили ночью, всю ночь работалн). Пропелн:

«Да возрадуется душа твоя о Господе»,— и стали влагать Владыке в руки молитву. И все три батюшки расписались. Мать Арсения спросила: «Почему вы расписываетесь? На молитве ведь не расписываются?» Они ответили: «Если время переменится, выйдет Владыка мощами, будет известно, кто его хоронил». Рукопись подписали: архимандрит Константин Алмазов (Петербург), барнаульский отец Василий и отец Димитрий из Твери.

Похоронили Владыку внизу против престола (алтаря храма) на полугоре. Поставили крест. В головах — елка, в ногах — три пихты. Владыка умер последним, после него никто не умирал, тиф кончился, и настало тепло.

Один из хоронивших Владыку священников, будучи проездом в Москве, рассказывал, что, когда похоронили его и зарыли уже могилу, вдруг над могилой явился столп света и в нем Владыка, и он их благословил.

После смерти Владыки вещи его раздали батюшкам, а панагию с Тайной Вечерей (перламутровую) Владыка завещал архиепископу Илариону. Но владыка Иларион в это время уже скончался от тифа в Ленинградской тюрьме, во время пересылки в Казахстан.

Еще рассказывали, что перед этим временем Владыка стал видеть сны (он любил толковать сны). Писал в Москву, что сны предвещают ему скорое освобождение. Владыка очень тяжело переживал заключение. Он имел очень живой, подвижный характер, а заключение его кругом связывало. Когда же заболел, то понял, что сны эти не к освобождению, а к смерти.

В голгофском госпитале врачом был татарин и санитары тоже были татары. Ранее как-то Владыке пришлось находиться вместе с ними. Они объявили (держали) голодовку, а Владыка получал много посылок и ими поддерживал их. Помня это, они за ним усердно ухаживали... Рассказывали еще, что, когда Владыка умирал, все инородцы пели молитвы на своих языках.

* * *

После смерти моей мамы я видела у нее письмо Оптинского старца отца Анатолия, с которым она вела переписку. По его благословению мама обращалась к владыке Лаврентию [21] (он был расстрелян 24 октября 1918 года), предшественнику владыки Петра. После этого мама просила старца благословить обращаться к владыке Петру. Помню ответ отца Анатолия: «Вы просите благословения обращаться к владыке Петру. Бог благословит. Какая вы счастливая, что Господь посылает вам таких мудрых руководителей».

Владыка приехал к нам в феврале, а я попала к нему только в июле. Я привыкла видеть в Печерах владыку Лаврентия, высокую святую личность, и мне думалось: кто же достоин заменить его? Но меня уговорили, и я пришла в будни на какой-то маленький праздник, ко всенощной (кажется, преподобного Антония Печерского) в июле месяце [22]. Стоим в храме, ждем входа Владыки. Входит он, и я вижу вокруг него сияние. Мне еще не было тогда 16 лет. Это перевернуло всю мою жизнь. А Владыка еще ранее искал меня. Он говорил маме, что хочет знать ее старшую дочь. А мама всегда брала с собой мою младшую сестру.

За этой всенощной я села на скамейку впереди, боком к Владыке. Он пристально посмотрел на меня (я не знала, а только чувствовала себя очень неловко), и после этого он сказал маме, что узнал теперь ее старшую дочь: «Она пришла и села против меня».

Вскоре он позвал меня к себе. Дал мне читать три книжки и велел не просто читать, а так, чтобы каждое слово доводить до сердца. Вскоре он благословил меня читать в церкви; я не решалась, так как от природы картавлю, но после его благословения стала читать ясно. После этого он подарил мне Псалтирь, а после смерти мамы благословил на монашество.

Владыка был истовый монах, любил монастырь и монашество всей душой, особенно Киево-Печерскую лавру, где и желал всегда окончить жизнь в схиме.

Владыка был от природы очень прост и доверчив, он верил всем людям и от этого много страдал. Посты Владыка соблюдал в точности, по уставу. Мне говорили, что в Воронеже он даже не ел с маслом в среду и пятницу. Жена брата Владыки рассказывала мне, что она видела его после смерти во сне в их комнате стоящим в воздухе в ярком сиянии, благословляющим.

Узнала я владыку Петра в 1919 году, а видела в последний раз в 1923 году, так что мне Господь привел быть с ним в общении только четыре года. В 1924 году летом перед его возвращением я поступила в Дивеево и больше его уже не видела.

В Соловках Владыка особенно подружился с архиепископом Иларионом. Помню, рассказывали, что в Соловках поминали старшего архиерея

«Соловецким». Старшим был Иларион, а как только его посадили на пароход (отправили в этап), в церкви за службой запели «Высокопреосвященного Петра, архиепископа Соловецкого».





Иеромонах Дамаскин (Орловский)

БЛАЖЕННАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА

Мария Захаровна Федина родилась в селе Голеткове Елатомского уезда Тамбовской губернии. Впоследствии ее спрашивали, почему она называется Ивановна. «Это мы все, блаженные, Ивановны по Иоанну Предтече»,— отвечала она.

Родители ее Захар и Пелагея Федины умерли, когда ей едва минуло тринадцать лет. Первым умер отец. После смерти мужа Пелагея поселилась с Машей в семье старшего сына. Но здесь им не было житья от невестки, и они переселились в баньку. Мария с детства отличалась беспокойным характером и многими странностями, часто ходила в церковь, была молчалива и одинока, никогда ни с кем не играла, не веселилась, не занималась нарядами, всегда была одета в рваное, кем-нибудь брошенное платье.

Господь особенно о ней промышлял, зная ее будущую ревность по Богу, и она часто во время работ видела перед глазами Серафимо-Дивеевский монастырь, хотя там никогда не бывала.

Через год по смерти отца умерла мать. Тут ей совсем житья не стало от родных.

Однажды летом несколько женщин и девушек собрались идти в Саров, Мария отпросилась пойти с ними. Домой она уже не вернулась. Не имея постоянного пристанища, она странствовала между Саровом, Дивеевом и Ардатовом — голодная, полунагая, гонимая.

Ходила она, не разбирая погоды, зимой и летом, в стужу и жару, в полую воду и в дождливую осень одинаково — в лаптях, часто рваных, без онуч. Однажды шла в Саров на Страстной неделе в самую распутицу по колено в воде, перемешанной с грязью и снегом; ее нагнал мужик на телеге, пожалел и позвал подвезти, она отказалась. Летом Мария, видимо, жила в лесу, потому что когда она приходила в Дивеево, тело ее было сплошь усеяно клещами и многие из ранок уже нарывали.

Чаще всего бывала она в Серафимо-Дивеевском монастыре; некоторые сестры любили ее, чувствуя в ней необыкновенного человека; давали чистую и крепкую одежду вместо лохмотьев, но через несколько дней Мария вновь приходила во всем рваном и грязном, искусанная собаками и побитая злыми людьми. Иные монахини не понимали ее подвига, не любили и гнали, ходили жаловаться на нее уряднику, чтобы он данной ему властью освободил их от этой «нищенки», вшивой и грубой. Урядник ее забирал, но сделать ничего не мог, потому как она представлялась совершенной дурочкой, и он отпускал ее. Мария снова шла к людям и часто, как бы ругаясь, обличала их в тайных грехах, за что многие особенно ее не любили.

Никто никогда не слыхал от нее ни жалобы, ни стона, ни уныния, ни раздражительности или

сетования на человеческую несправедливость. И Сам Господь за ее богоугодную жизнь и величайшее смирение и терпение прославил ее среди людей. Начали они замечать: что она скажет или о чем предупредит, то сбывается, и у кого остановится, те получают благодать от Бога.

У одной женщины, Пелагеи, было двенадцать детей, и все они умирали в возрасте до пяти лет. В первые годы ее замужества, когда у нее умерло двое детей, Мария Ивановна пришла к ним в село, подошла к окнам ее дома и запела: «Курочка-мохноножка, народи детей немножко».

Окружившие ее женщины говорят ей:

— У нее нет совсем детей.

А она им отвечает:

— Нет, у нее много.

Они настаивают на своем:

— Да нет у ней никого.

Тогда Мария Ивановна им пояснила:

— У Господа места много.

Однажды говорит она одной женщине:

— Ступай, ступай скорее, Рузаново горит.

А женщина была из Рузанова. Пришла в Рузаново, все на месте, ничего не случилось; встала в недоумении, а в это время закричали: «Горим». И все Рузаново выгорело с конца до конца.

Духовное окормление Мария Ивановна получала у блаженной Прасковьи Ивановны, с которой приходила советоваться. Сама Прасковья Ивановна, предчувствуя кончину, говорила близким: «Я еще сижу за станом, а другая уже снует, она еще ходит, а потом сядет»,— а Марии Ивановне, благословив ее остаться в монастыре, сказала: «Только в мое кресло не садись» (в келлии блаженной Паши Мария Ивановна прожила всего два года).

В самый день смерти блаженной Пашеньки Саровской вышло у Марии Ивановны небольшое искушение. Раздосадованные ее странностями, монахини выгнали ее из монастыря, не велев вовсе сюда являться, а иначе они прибегнут к помощи полиции.

Ничего на это не сказала Блаженная, повернулась и ушла.

Перед внесением в церковь гроба с телом блаженной Паши в монастырь приехал крестьянин и говорит:

— Какую рабу Божию прогнали вы из монастыря, она мне сейчас всю мою жизнь сказала и все мои грехи. Верните ее в монастырь, иначе потеряете навсегда.

За Марией Ивановной тотчас отправили посыльных. Она себя не заставила ждать и вернулась в монастырь в то время, когда Прасковья Ивановна лежала в гробу в церкви. Блаженная вошла и, оборотясь к старшей ризничей монахине Зиновии, сказала:

— Ты меня, смотри, так же положи, вот как Пашу.

Та рассердилась на нее, ка́к она смеет себя сравнивать с Пашей, и дерзко ей на это ответила.

Мария Ивановна ничего не сказала.

С тех пор она окончательно поселилась в Дивееве. Сначала она жила у монахини Марии, а затем игумения дала ей отдельную комнату. Комната была холодная и сырая, особенно пол, в ней Блаженная прожила почти восемь лет; здесь она окончательно лишилась ног и приобрела сильнейший ревматизм во всем теле.

Почти с первого года ее жизни в монастыре к ней в послушницы приставили Пашу (в монашестве

Дорофею), которая поначалу не любила Марию Ивановну и пошла к ней служить за послушание. Мария же Ивановна еще прежде говорила, что к ней служить приведут Пашу.

Сильно скорбела Паша, видя, как постепенно Мария Ивановна наживает мучительную болезнь и лишается ног, но сделать ничего не могла.

Лишь тогда, когда народу, приходящего к Блаженной, стало столько, что невозможно было поместиться в тесной комнате, игумения разрешила перевести ее в домик Паши Саровской.

Домик этот стоял у самых ворот, и советские власти, видя большое стечение людей, воздвигли гонение на Блаженную, так что в конце концов ее перевели в отдельную комнату при богадельне, где она прожила до закрытия монастыря. <...>

Не довольно было Блаженной подвигов предыдущей скитальческой жизни, болезней, молитвы, приема народа. Однажды послушница Марии Ивановны мать Дорофея ушла в кладовую за молоком, довольно далеко от келлии старицы, а самовар горячий подала на стол. Возвращается и слышит неистовый крик Марии Ивановны: «Караул!».

Растерянная послушница сначала ничего не поняла, а потом так и осела от ужаса. Мария Ивановна в ее отсутствие решила налить себе чаю и открыла кран, а завернуть не сумела, и вода лилась ей на колени до прихода матери Дорофеи. Обварилась она до костей, весь перед и ноги, а между ног все сплошь покрылось волдырями, потом прорвалось и начало мокнуть.

Случилось это в самую жару, в июне месяце. Дорофея боялась, что в оголенном и незаживающем мясе заведутся черви, но Господь хранил Свою избранницу, и каким чудом она поправилась,

знает только Бог. Не вставая с постели, она мочилась под себя, все у ней прело, лежала она без клеенки, поднимать ее и перестилать белье было трудно, и все же она выздоровела.

В другой раз до изнеможения устала Дорофея, всю ночь поднимая Марию Ивановну и все на минуточку; под утро до такой степени она ослабела, что говорит: «Как хочешь, Мария Ивановна, не могу встать, что хочешь делай».

Мария Ивановна притихла, и вдруг просыпается Дорофея от страшного грохота: Блаженная сама решила слезть, да не в ту сторону поднялась в темноте, упала рукой на стол и сломала ее в кисти. Кричала: «Караул!», но не захотела призвать доктора завязать руку в лубок, а положила ее на подушку и пролежала шесть месяцев в одном положении, не вставая и не поворачиваясь. Опять мочилась под себя, потому что много пила и почти ничего не ела.

Сделались у нее пролежни такие, что оголились кости и мясо висело клочьями. И опять все мучения перенесла Мария Ивановна безропотно, и только через полгода рука начала срастаться и срослась неправильно, что видно на некоторых фотографиях.

Однажды мать Дорофея захотела посчитать, сколько раз Мария Ивановна поднимается за ночь. Для этого она положила дощечку и мел, еще с вечера поставила первую палочку и легла спать, ничего о своем замысле не сказав Блаженной.

Под утро она проснулась и удивилась, что это Мария Ивановна не встает и ее не зовет. Подошла к ней, а она не спит, смеется и вся лежит, как в болоте, по ворот обмочившись, и говорит:

— Вот я ни разу не встала.

Мать Дорофея упала Блаженной в ноги:

— Прости меня, Христа ради, мамушка, никогда больше не буду считать и любопытствовать о тебе и о твоих делах.

Тех, кто жил с Марией Ивановной, она приучала к подвигу, и за послушание и за молитвы Блаженной подвиг становился посильным. Так, матери Дорофее Блаженная не давала спать, кроме как на одном боку, и если та ложилась на другой бок, она на нее кричала. Сама Мария Ивановна расщипывала у себя место на ноге до крови и не давала ему заживать.

Истинная подвижница и богоугодный человек, она имела дар исцеления и прозорливости.

Исцелила женщине по имени Елена глаз, помазав его маслом из лампады.

У одной монахини была экзема на руках. Три года ее лечили лучшие доктора в Москве и в Нижнем — не было улучшения. Все руки покрылись ранами. Ею овладело такое уныние, что она хотела уже уходить из монастыря. Она пошла к Марии Ивановне. Та предложила помазать маслом из лампады; монахиня испугалась, потому что врачи запретили касаться руками масла и воды. Но за веру к Блаженной согласилась, и после двух раз с кожи исчезли и сами следы от ран.

Пришел однажды к Марии Ивановне мужичок — в отчаянии, как теперь жить, разорили вконец. Она говорит: «Ставь маслобойку». Он послушался, занялся этим делом и поправил свои дела.

О Нижегородском архиепископе Евдокиме (Мещерском), обновленце, Блаженная еще до его отступничества говорила:

— Красная свеча, красный архиерей.

И даже песню о нем сложила: «Как по улице, по нашей Евдоким идет с парашей, порты синие худые, ноги длинные срамные».

Один владыка решил зайти к Блаженной из любопытства, не веря в ее прозорливость.

Только он собрался войти, как Мария Ивановна закричала:

— Ой, Дорофея, сади, сади меня скорее на судно.

Села, стала браниться, ворчать, жаловаться на болезнь.

Владыка пришел в ужас от такого приема и молча ушел.

В пути с ним сделалось расстройство желудка, он болел всю дорогу, стонал и жаловался.

Схимнице Анатолии (Якубович) Блаженная за четыре года до ее выхода из затвора кричала:

— Схимница-свинница, вон из затвора.

Она была в затворе по благословению о. Анатолия (схимника Василия Саровского), но ей стала являться умершая сестра. Мать Анатолия напугалась, вышла из затвора и стала ходить в церковь. Мария Ивановна говорила: «Ее бесы гонят из затвора, а не я».

Пришел однажды к Марии Ивановне мальчик, она сказала:

— Вот пришел поп Алексей.

Впоследствии он действительно стал саровским иеромонахом о. Алексеем. Он очень чтил ее и часто к ней ходил. И вот однажды пришел, сел и молчит. А она говорит:

— Я вон мяса не ем, стала есть капусту да огурцы с квасом и стала здоровее.

Он ответил: «Хорошо».

Он понял, что это о том, как он, боясь разболеться, стал было есть мясо. С тех пор бросил.

Отцу Евгению Мария Ивановна сказала, что его будут рукополагать в Сарове. Он ей очень верил и всем заранее об этом рассказал. А его вдруг вызывают в Дивеево. Келейница Блаженной мать Дорофея заволновалась, и ему неприятно. Рукополагали его в Дивееве. Дорофея сказала об этом Марии Ивановне, а та смеется и говорит:

— Тебе в рот, что ли, класть? Чем тут не Саров? Сама келлия Преподобного и все вещи его тут.

Однажды приехала к Блаженной некая барыня из Мурома. Как только вошла она, Мария Ивановна говорит:

— Барыня, а куришь, как мужик.

Та действительно курила двадцать пять лет и вдруг заплакала и говорит:

— Никак не могу бросить, курю и по ночам, и перед обедней.

— Возьми, Дорофея, у нее табак и брось в печь.

Та взяла изящный портсигар и спички и все это бросила в печь.

Через месяц мать Дорофея получила от нее письмо и платье, сшитое в благодарность. Писала она, что о курении даже и не думает, все как рукой сняло.

Римма Ивановна Долганова страдала беснованием; оно выражалось в том, что она падала перед святыней и не могла причаститься. Стала она проситься у Блаженной поступить в монастырь.

— Ну, куда там такие нужны...

— А я поправлюсь? — с надеждой спросила Римма Ивановна.

— Перед смертью будешь свободна.

И этой же ночью она заболела скарлатиной и сама пошла в больницу, сказав, что уже больше не вернется. Она скончалась, незадолго до смерти исцелившись от беснования.

Пошла однажды Вера Ловзанская (впоследствии инокиня Серафима) к Марии Ивановне проситься в монастырь. Та, увидев ее, закричала:

— Не надо! Не надо ее! Не надо!

А потом рассмеялась и говорит:

— Ты же будешь на старости лет отца покоить. Иди к владыке Варнаве, он тебя устроит.

Впоследствии вышло так, что инокине Серафиме пришлось до самой смерти покоить своего духовного отца — епископа Варнаву (Беляева).

В монастыре жил юродивый Онисим. Он был очень дружен с блаженной Марией Ивановной. Бывало, сойдутся они и все поют: «Со святыми упокой».

Онисим всю жизнь прожил в монастыре и уже называл себя в женском роде: она. Когда Государь Николай Александрович приезжал на открытие мощей преподобного Серафима, то народу было столько, что пришлось на время закрыть ворота. А Онисим остался за воротами и кричит: «Ой, я наша, я наша, пустите, я наша».

Однажды Мария Ивановна говорит Вере Ловзанской:

— Вот Ониська увезет мою девчонку далеко-далеко.

Только тогда, когда епископ Варнава сам примет подвиг юродства и она уедет за ним в Сибирь, только тогда станет понятно, о чем говорила блаженная Мария Ивановна.

Перед тем как поехать в Среднюю Азию, Вера Ловзанская отправилась к Марии Ивановне — проститься и взять благословение. Дивеевский монастырь был закрыт, и Мария Ивановна жила в селе.

Вера сошла рано утром в Арзамасе, надо было идти шестьдесят километров до Дивеева. Был декабрь, холодно. Вышла она на дорогу, видит, мужичок едет на розвальнях. Остановился:

— Вы куда?

— Я в Дивеево.

— Хорошо, я вас подвезу.

Доехали до села Круглые Паны. Здесь трактир. Возчик пошел закусить и изрядно выпил. В пути его развезло, сани постоянно съезжали с дороги и увязали в снегу, но лошадь как-то сама собой выбиралась и наконец остановилась у дома, где жила Мария Ивановна.

Был час ночи. Мужик проснулся и стал изо всей силы стучать в окно. Монашки открыли. Рассказывают. Все это время Блаженная бушевала, стучала по столу и кричала:

— Пьяный мужик девчонку везет! Пьяный мужик девчонку везет!

— Да какой пьяный мужик, какую девчонку? — пытались понять монахини. А Блаженная только кричала:

— Пьяный мужик девчонку везет!

Однажды пришла к Марии Ивановне интеллигентная дама с двумя мальчиками. Блаженная сейчас же закричала:

— Дорофея, Дорофея, давай два креста, надень на них.

Дорофея говорит:

— Зачем им кресты, они сегодня причастники.

А Мария Ивановна знай скандалит, кричит:

— Кресты, кресты им надень.

Дорофея вынесла два креста, расстегнула детям курточки, крестов и вправду не оказалось.

Дама очень смутилась, когда Дорофея спросила ее:

— Как же вы причащали их без крестов?

Та в ответ пробормотала, что в дорогу сняла их, а то они будут детей беспокоить.

Вслед за ней пришла схимница.

— Зачем надела схиму, сними, сними, надень платочек и лапти, да крест надень на нее,— говорит Мария Ивановна.

С трепетом мать Дорофея подошла к ней: оказалось, что она без креста. Сказала, что в дороге потеряла.

Епископ Зиновий (Дроздов) спросил Марию Ивановну:

— Я кто?

— Ты поп, а митрополит Сергий — архиерей.

— А где мне дадут кафедру, в Тамбове?

— Нет, в Череватове*.

У Арцыбушевых была очень породистая телка, и вот она за лето не огулялась, и следовательно, семья должна быть весь год без молока, а у них малые дети, средств никаких, и они задумали продать ее и купить другую и пошли к Марии Ивановне за благословением.

— Благослови, Мария Ивановна, корову продать.

— Зачем?

— Да она нестельная, куда ее нам.

---

* Место смерти и погребения Блаженной.

— Нет,— отвечает Мария Ивановна,— стельная, стельная, говорю вам, грех вам будет, если продадите, детей голодными оставите.

Пришли домой в недоумении, позвали опытную деревенскую женщину, чтобы она осмотрела корову. Та признала, что корова нестельная.

Арцыбушевы опять пошли к Марии Ивановне и говорят:

— Корова нестельная, баба говорит.

Мария Ивановна заволновалась, закричала.

— Стельная, говорю вам, стельная.

Даже побила их.

Но они не послушались и повели корову на базар, им за нее предложили десять рублей. Оскорбились они и не продали, но для себя телку все-таки присмотрели и дали задаток десять рублей.

А Мария Ивановна все одно — ругает их, кричит, бранит. И что же? Позвали фельдшера, и он нашел, что корова действительно стельная. Прибежали они к Марии Ивановне и в ноги ей:

— Прости нас, Мария Ивановна, что нам теперь делать с телушкой, ведь мы за нее десять рублей задатка дали. <...>

— Отдайте телушку, и пусть задаток пропадет.

Они так и сделали.

По благословению епископа Варнавы блаженной Марии Ивановне была построена келлия в селе Пузово. Туда ее отвезли сразу же после закрытия монастыря; руководила устройством Марии Ивановны Валентина Долганова и дело поставила так, что никому не стало доступа к Блаженной.

В Пузове Мария Ивановна пробыла около трех месяцев.

Когда игумения Александра поселилась в Муроме, к ней приехала мать Дорофея.

— Зачем ты Марию Ивановну в мир отдала? Бери обратно,— сказала ей игумения.

Та поехала за ней.

— Мария Ивановна, поедешь со мной?

— Поеду.

Положили ее на возок, укрыли красным одеялом и привезли в Елизарово. Здесь она прожила до весны, а весной перевезли ее в Дивеево, сначала к глухонемым брату с сестрой, а в 1930 году на хутор возле села Починок, и наконец в Череватово, где она и скончалась 26 августа (8 сентября н. ст.) 1931 года.

МУЧЕНИЦЫ СЕЛА ПУЗОВО

Житие и страдания преподобномученицы Евдокии (Шиковой) и послушниц ее Дарии (Тимолиной), Дарии (Сиушинской) и Марии

Материалом для жизнеописания послужила стенограмма рассказов послушницы Евдокии — Поли, записанных в первой половине двадцатых годов, то есть спустя несколько лет после кончины преподобномученицы. Запись была сделана Валентиной Долгановой, келейницей епископа Варнавы (Беляева), и по его благословению.

У Евдокии было пять послушниц. Три из них пострадали вместе с ней, Наташу за несколько дней до своей смерти она отослала домой; так сохранился до середины 60-х годов свидетель великой духовной высоты мученицы. Сама Наташа сожалела только об одном: что не сподобил ее

Господь разделить мученическую кончину со своей старицей.

Пятая келейница, Пелагея, хотя и была во время ареста с Евдокией и видела все ее мучения и кончину, Богом была оставлена свидетельствовать о жизни и страданиях старицы.

Свидетельница подвигов Евдокии Поля и сама была большой подвижницей. О ней сохранилась такая запись Валентины Долгановой:

«До того как старица взяла ее к себе, Поля каждый день по окончании работы по монастырскому послушанию в Дивееве после шести вечера убегала за шестнадцать верст в село Пузово и молилась там вместе с Дуней всю ночь, а на рассвете спешила на монастырское послушание. Послушание она несла на водокачке. Так она прожила три года. Во время молитвы много клала земных поклонов, говоря: «Поклоны класть — это землю распахивать».

Евдокия много учила ее смирению и терпению при разных обстоятельствах. Однажды послала матушка игумения Полю в деревню купить лука для посадки. Поля зашла к Дуне, и та оставила ее у себя и продержала две недели, пока пора посадки лука прошла. После этого всем послушницам в монастыре дано было право Полю бранить и смирять, а она всем кланялась в ноги, молчала и терпела.

В другой раз игумения послала ее с двумя старшими монахинями в Понетаевский монастырь отнести срочное письмо, при этом письмо велела нести Поле. Зашли опять к Дуне. Та ее не пускает, а монахини без нее не идут, потому что письмо у Поли и Дуня не разрешает его

передать. Много и в этом случае пришлось потерпеть Поле. Много терпела Поля, пока Дуня не забрала ее из монастыря к себе, но и здесь жизнь ее не была легкой.

Родилась Дуня в пятидесятых годах XIX века в селе Пузово* от родителей-крестьян Александра и Александры Шиковых. Мать умерла рано, когда Дуне было два года, и отец жеиился на другой; родиая ее мать была очеиь благочестивая и отец тоже, ио мачеха была другого духа. Она старалась уморить отца мышьяком, чего и добилась, когда увезла его в Сибирь; сама Дуня рассказывала, как оиа семи лет узиала, что мачеха хотела отравить отца, узиала и говорит отцу: «Не пей эту воду, смотри, оиа мутная».

В этом селе жили тетя и дядя Дунины, у них Дуня училась благочестию и у них жила свои отроческие годы. Дядя был церковным старостой; им иедостаточио было молитвы в храме, и оии много молились дома. Дуня очень ревиовала по Богу и непрестанно пела. На девятом году она и ее подруга пошли в Саров, и там их старец стукнул головками, и с тех пор прожили оии рядом друг с другом три года. Звали подругу Мария. Мария жнет, а Дуня на сиопах сидит и поет, в церковь всегда вместе ходили, ручка с ручкой сцепятся и идут. Дуня ходила всегда в теплой шали и в зипуне и лицо иикогда ие показывала. От юиости в Саров, Дивеево, Поиетаевку ходили. Дуня рассказывала: пришли одиажды они в Дивеево к Пелагее Ивановие, оиа кормила в ограде голубей. Дуня подошла к ограде. «Отойди, рваница, не

* В просторечии село называли Пузо.

пугай голубей»,— говорят хожалки*, а Дуня плачет и не отходит, и был у нее в руках кусочек, она его тоже бросила голубям, а Пелагея Ивановна сказала: «Что вы от меня ее гоните, ведите ее и накормите».

Одни говорили о Дуне с Марией, что у них любовь от врага, другие говорили — от Бога. Если Мария мучается, Дунюшка от нее не отцепляется, всегда они ходили сцепкой; и Марию били родители, и Дуню ее родные били, их отгоняли друг от дружки, а они возьмутся за руки, ходят и поют. В церковь они с Марией тоже ходили сцепкой. Как Мария померла, Дуня стала ежедневно в церковь ходить, и хотя еще при Марии в них начали кидать камнями, а без нее стали больше. Ей в это время было около двадцати лет. А потом Дуня только к заказным обедням ходила, потому что в праздник ей не давали проходу. Была она слабая и больная, до того слабая, что стала ходить с батогом, но печку сама топила (в это время тетя ее померла). Сядет она на стульчик, силы у нее нет, и печку топит. Потом она вовсе ослабела, и к ней стали две девушки ходить.

Когда Дуне было за двадцать лет, она сильно заболела. Дело было на святках, Дуня кричала: «Умру, у меня жар». Девушки ее вынесли во двор и вылили на нее два ведра холодной воды. Потом она им говорит: «Несите меня в келлию». И положили ее на лавке, и после этого она уже не вставала.

Постель ее была такая: рунье да два голика**, которые прислал о. Иоанн Ардатовский, на голиках

* Так называла Поля келейниц.
** Голик — изношенный веник.

постланы две суконки, которые на ногах носят, и больше ничего. В головах два зипуна худых положено, а одета она была тулупом; на ней был надет зипун, только не в рукава, а накинут на плечи, вроде накидки, а другим накрыта голова. При людях она закрывала им лицо. Когда тулуп истлел, она положила его на постель, никому не отдала (тогда она была одета таким же зипуном, третьим); и так зиму и лето. Ничем другим она не позволяла себя одеть. Как истлевала одежда, она ее клала на постель, и так три одежды были у нее до самой смерти. Ситцевого она ничего не носила от юности, рубашка была тканая, когда истлеет, она ее на постель клала, сарафан тоже, как истлеет. Пояса носила всю жизнь одинаковые: шерстяные голубые с беленькой серединой, и если не дать такой пояс, она совсем не подпояшется. Шаль тоже у нее была шерстяная. И все на ней было шерстяное, кроме ручного платка, тот был ситцевый. Хожалки унесут истлевшее с постели, закинут куда-нибудь, она начнет плакать, и сутки, двое плачет: «Давай мне рубаху». Волосы от юности не давала никому резать и ногтей на ногах и на руках никогда не обрезала, и вот нечаянно их у нее заденут неловко, она скажется больной, плачет, а не дает срезать. Когда ноготь спадет, она его подберет и тоже положит себе на постель. С крестом то же. Ушко сломится, крест потеряется, она начнет плакать — и молиться без креста не хочет, и новый не берет: «Найдите мне этот крест». Только его найдут, привяжут, а на другое утро она его опять потеряет, а все это во время молитвенного правила. Четки у нее всегда были одни и те же,

шерстяные. Потом льняные нитки стала держать в руках во время правила. На ногах носила длинные шерстяные чулки.

Отец Анатолий* благословил к ней жить Дарью. Теперь их стало трое (дядя жив еще был). Тут стали ходить благочестивые девушки петь, и у них образовалось правило. Пели они стихиры, кондаки и акафисты. Ни в чем Дуня не могла получить утешения, как только в продолжительном пении и чтении. Читала она хорошо, но писать не умела. Читала больше жития святых, книги брали в церкви, но были у нее и свои. У Даши был хороший голос, как, впрочем, и у Дуни, и у дяди. Но Даша была неученая, Псалтирь читала на память, а книгу держала для виду, так же на память пела и стихиры. И вот Дуня стала плакать, что ей нужно хожалку ученую, о. Анатолий благословил ей Аннушку, она очень любила петь и читать и устав церковный хорошо знала. Ей было тогда двадцать три года, и жила она у Дуни восемнадцать лет. Пришла она к ней из веселой жизни. Заставит ее Дуня пол мыть, а она скажет: «Вели мне поплясать»,— и Дуня дозволит, все от нее терпела. Она читала романы украдкой от Дуни. Даша увидела и Дуне сказала. Аннушка стала плакать: «Что же мне, Дуня, делать, мне скучно, я убегу...» И хотела бежать. Был вечер, а то бы убежала. А ночью видела себя во сне в Понетаевке, в церкви, и видела преподобного Серафима, как бы кормящего медведя. Она подошла к нему, поклонилась в ноги, и он ее благословил, дал ей сухарик и сказал: «Ах ты, бездельница! Вот я тебе дам дело, иди нянчи моих

* Саровский подвижник, в схиме Василий.

детей». И взял ее за руку и повел в келлию. И там стоят две люльки, и в них лежат две маленькие девочки; и он сказал: «Нянчи их»,— а сам ушел. Она стала нянчить, а они стали плакать. Она хотела бежать; подошла к двери, и она была как стена: нельзя было выйти. Анна проснулась. И рассказала Дуне свой сон. А Дуня сказала, что эти девочки — она и Даша. Она уговорила Анну остаться и велела молиться Царице Небесной.

Однажды Анна пошла по воду. Была зима и мороз, а ведра худые. Из них все вытекало. Она стала плакать и браниться скверными словами: «Подавиться тебе, жадная, не починишь мне ведра». В эту ночь ей было видение. Видела она очень хороший сад. Листья такие большие, что нигде таких не видала, а цветы были белые, синие и красные, что тоже нигде не видала. В этом саду была церковь с золотыми главами. Над ними светило солнце, внизу была трава по пояс; и слышно было благоухание. Она хотела войти в этот сад, глядит, в траве змеи, а ноги были у нее босые. А ей хотелось войти. Хотела она ноги обуть, с тем и проснулась.

Однажды взяла Анна и унесла — думала, рыбу, а оказался чайник, завернутый в бумагу. Вернулась, а Дуня ей говорит: «Анна, дай мне рыбки-то». Та бух ей в ноги: «Дуня, прости!» Дуня ей говорит: «Больше не воруй».

А однажды она все деньги унесла. Дуня посылает: «Воротите Анну». Та опять просит прощения, но потом опять не удержалась. Прожила она так у Дуни семь лет, а после того ее родные сманили, и она ночью убежала. Выкрала у Дуни все (сказала про себя: «Тебе за это будет

спасение») и на двух возах увезла. Мать ее очень обрадовалась: «Вот, доченька, будем с тобою жить». А она стала тосковать. Прожила год, стала просить отца с матерью отпустить к Дуне. А они: «Мы тебя не пустим». Она сказала: «Я уйду». И ночью убежала.

Подошла к Дуниной келлии, дверь отворена, вошла Анна в келлию, упала перед Дуниной постелью и стала плакать. На нее глядя, плакали Дуня и Даша.

Дуня ее простила, сказала: «Это тебя враг научил». А она в ответ: «Ты мне его посадила». Да тут же в келлии упала, а Дуня заплакала только. Трое суток Анна кричала: «Предайте смерти». Потом ей Дуня дала сухарей, и она исцелилась. И вновь стала исправно петь и читать.

Правило Дуни было таково. Неопустительно ежедневно пели стихиры образу Владимирской Царицы Небесной. Это было общее пение, вечером в восемь часов начинали, и продолжалась служба до двенадцати часов ночи. В это время ничего не читалось; пели, кроме стихир, тропари и кондаки святым и Царице Небесной. По вторникам справляли стихиры с акафистом Иверской Божией Матери. В этот день к Дуне приходило много народу. Утром начинали молиться с пяти часов, а иной раз по слабости — с шести утра. И молились до двенадцати часов дня. Дуня это время молилась в тишине. Никого к ней не пускали, а хожалки про себя молились. Читали в это время Псалтирь, Евангелие, каноны, акафисты и клали поклоны (Даша молилась, как Дуня). Утреннее правило она разделяла, и было минут по двадцать отдыха; если во время отдыха приходил

кто с великой скорбью, она впускала, а во время правила никого не пускала. После правила ее обращали лицом к иконам, подкладывали под нее рунье, сажали и зажигали все лампады, было их двенадцать. Тут она тихо молилась с полчаса. После этого они начинали петь и пели пятнадцать минут: пели Верую, Достойно, Отче наш, Заступницу, Яко необоримую стену, Богородице Умилению, Крест всей вселенной. Среди этого пения выносили из чулана просфоры и Дуне давали раздробленную просфору, а девушкам по целой. Перед тем как ее посадить, велит вымыть ей руки, а потом, как дадут ей просфору, заплачет и скажет: «Перекрести руки». Положат ей просфору, разрежут ее пополам. Одну половину опять в чулан унесут, а эту половину еще разрежут пополам, и половину она дает той, которая ей служила. Давали ей три просфоры: из Сарова, Понетаевки, Дивеева, так что у нее получалось три части. Потом ей в руки подавали просфоры, а в блюдечко наливали крещенской воды, она клала просфоры в блюдечко и ставила на стол, а когда клала, говорила: «Христос Воскресе!» — и тихо молилась. Потом, как она помолится, опять пели: Спаси Господи, От юности, святителю Николаю и Царице Небесной, пели недолго. Потом она ела просфору и запивала крещенской водой и в блюдечке немного оставляла той, которая за ней ходила, а девушки становились у порога и после нее ели свои просфоры. Тут лампады гасили, ее поворачивали опять и клали. Когда ее поворачивали, она все стены и углы ограждала крестным знамением со словами: «Огради, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Креста». Во время

правила она вместе с четками держала всегда моток ниток льняных и, пройдя четки, делала на нитках петлю, потом опять молилась по четкам, потом еще делала петлю, и так до четырех петель, потом эти петли связывала узлом, вроде креста, и затыкала за пояс; это означало, что она молитву кончила, и ее можно сажать.

Если в то время, как она молилась и разрезали просфору, кто придет и стукнет чужой, дверь не открывали, а говорили, чтобы он не сходил с крыльца, стоял лицом к церкви и молился умом. Утром, когда вставала, умывалась, а вода была одна и та же по неделе и больше. Вода стояла покрытая в печке, так что была всегда теплая. Той, что ей служила, она велит сперва умыться и помолиться, и руки оградить знамением креста и вокруг Дуни. Девушки все отойдут к двери, Даша вынет из печки чугун, почерпнет чайной чашкой воды, затем нальет в нее святой воды, возьмет полотенце и его крестит, затем берет блюдо, из которого Дуня ела, над этим блюдом она и умывалась. На столе у Дуни стояла кружка с крещенской водой, а рядом глиняная посуда вроде горшка. Если в кружке оставалась еще вода, то она выливала ее в горшок, а в кружку сливала воду после умывания. Воду, оставшуюся в чашке, и воду из-под умывания дня через два-три выливали в такое место, где не ходили люди.

После окончания правила девушки уходили кто чай пить, кто куда, а кто воду носил, положит три поклона и по воду пойдет. Воду надо было качать колесом и непременно натощак, и было это очень тяжело, а Дуня при этом скажет: «Тверди Богородицу и иди, ни с кем не говори...»

Сначала ходили по ночам, а в последнее время стали ходить н днем. Когда выкачаешь воду, нужно было оградить все крестным знаменнем и ведро сполоснуть, н если кто застанет, никого не стыдиться и молча идти с водой обратно. Если случится, покойника несут, нлн о покойнике ударяют, или с топором нли с косой кто встретится, падаль какая-ннбудь, хоть до Дуниного крыльца донесут, а только в дверн не войдут, воду надо было вылить на землю н идти за другой. И чтобы дорогой нн случнлось, она велела ничего не скрывать. Прннеся воды, надо было положить двенадцать поклонов Царице Небесной и спросить у Дуни благословения ставить самовар; его тоже оградить крестным знамением, сполоснуть, а то пить не станет, закрыть его, угли холодные положнть в самовар, от свечи зажечь, н как пар пойдет, тогда можно самовар поднимать, и в это время она велела молчать тому, кто ставит. Поднимут самовар на стол, ладану в трубу положат, чайник заправят чаем и ставят на ладан, в это время ей отрезают хлеба. И вот много ей нарежут хлеба, целую стопу, ото всякого, и каждый кусок оградит знамением креста, и все эти куски она сложит в платок и положит на постель, а себе оставит один кусок ржаного хлеба и от него съест малую часть. За чаем сидела полтора часа, и чтобы кипел самовар, и пар шел, а выпивала чашку с небольшим за все время. Нальют чашку, скажет: «Холодна», потом нальют, скажет: «Горяча»,— и так всегда. Хожалки начнут роптать, что долго, народ ропщет, долго не пускают. И только перед самым чаем она разрезала огурец н съедала кружочка два или грнб соленый, пирог раз откуснт, когда Бог посылал.

Потом начинали печку топить. И та, которая печку топила, та за дровами не ходила. Картошку мыли во дворе холодной водой, какая бы погода ни была, хоть ледышки плавают, и обязательно в трех водах. Крупу мыть не велела руками, а ложечкой, и солить также из ложечки, а не руками. Вкушала она каждый день во все посты и во все дни. В скоромные дни на молоке кашу варили, а в постные дни на воде.

Дров наложат в печку, а двигать нельзя, потому что во всей печи не было ни одного целого кирпича, а одни осколки на поду, и не давала перекладывать печь — для подвига. Пока варят пищу, нельзя топить печь, не отворя дверь, а зимой дым шел, и трубу никогда не закрывали ни на ночь, ни на день. Говорит — дух тяжелый, так она сама себя в холоде держала. Маленькую печь тоже топить было нельзя, а большую не давала замазывать: «Не выношу дух глины». Во время пения она глаза закроет, и когда много было народу, то начнут потихонечку замазывать, а она начнет плакать, как малое дитя: «Зачем во время пения озоруете?» — «Зачем ты, Дуня, не даешь замазывать?» — говорили ей после девушки. А она не дает, а народу жалуется: «Они не замазывают мне печку». Хожалок никого не подпускала к печке греться, хоть умирай, не подпустит. Скажет только: «А как святые терпели? Вы здоровые не можете терпеть, как же я больная терплю?» За семь лет до смерти сажали ее к печке греться, но хожалки ее чуть не уронили, и с тех пор не стала греться. За три года до смерти одни чулки ее грели. В свободное время или во время пения не давала греть, а когда

хожалки ложились спать, она одну из них поднимала и заставляла греть, та клала чулки на спину и, стоя, прислонялась спиной к печке. В это время Дуня заставляла молитву читать; две молитвы хожалка прочитает и грохнется на пол — уснет, а она закричит: «Она меня колотит!» Всех поднимет на ноги и всем жалуется: «Мои хожалки озоруют, не погреют меня».

Так одну ночь чулки заставляла греть, а другую заставляла вшей бить, даст свечку и бей. Когда вшей бьют, читают Богородицу, и только кончат, Дуня кричит: «Не всех убила, ногу вошь кусает». А во время молитвы никогда ни на что не жаловалась, только во время сна.

Те куски, которые она завязывала и клала на постель, после шести недель клала себе на спину, на них спала, на сухарях, в холоде и во вшах. Когда рубашка была худая, хлеб впивался в тело. Потом из хлеба вырастали целые вороха на постели. Там он зеленел, завелись под конец мыши и черви, в этом во всем она и лежала.

Она носила вериги, которые у нее были поясом, и никому не разрешала касаться этого места. Рубаху Дуня не меняла, пока та не истлеет, меняла раз в год и тогда всех, кроме двух девушек, высылала. Руки мыла с мылом по локоть раз в год, затем обливала их в тазу со святой водой; ноги мыла до колен — тоже обольет, но простой водой, а тело никогда не мыла. Когда ее мыли, то послушница держала ее, Дуня голову прислонит, а сама держит свечу зажженную.

Голову мыли теплым, разогретым в печке елеем, мыли раз в год, и волосы были свалены, как шапка; иногда без народа она снимала шаль

и чесала руками голову, вшей нельзя было и счесть, тьма; их не били, а прямо в тряпку собирали. Через два дня после мытья она меняла рубашку и грязную, вшивую опять клала на постель.

Печь топили часов в семь-восемь вечера, и с восьми же часов стихиры пели, часа в два-три ночи она обедала. Обедала Дуня одна, чужих никого не пускала, хожалки все стояли, а сидеть не на чем было. Подавали ей в блюде, ложку хожалка поддерживала, а когда наливала, она кричит: «Мне больше наливай». И вот раза два хлебнет и скажет: «Я устала, отдохну»,— и пока отдыхает, вроде как бы заснет, щи остынут, а потом она просит горячих, а их нет, и она плачет, и так щи остаются; Поля доедала их совсем холодными. А когда второе накладывали, то Дуня опять кричит: «Дай мне каши, да с пенками, клади больше». И тоже все остывало. «Остудила»,— кричит, плачет, с тем и уснет. Яиц всегда велела сажать по пятку; скажет: «Давай мне три на стол, а два оставь на шестке». Потом опять говорит: «Отдохну». Как только хожалки уснут, она опять велит яйца убрать на шесток, а разбивать яйца в келлии она не давала, потому что они пахли, давала хожалкам, которые с ней жили. Сама ела только два яйца в год. Об этом знали только две хожалки.

Особой пищи она не употребляла и редко ела картошку с разварки. В последний год печку почти не топили. Щи варили летом у Карасевых, зимой — дома, в печи ничего не пекли, ни хлеба — ничего, и сухарей не сушили, пекли только яйца. Рыбу ела редко. Мяса от юности не ела. А приносили всего: и сдобных лепешек, и вкусного, и сладкого. Все, что приносили, она

делила на две половины и давала хожалкам половину (их было четыре) и говорила: «Вот, не гневайтесь, что я вам не даю». Они воевали, что их, здоровых, четыре, и им мало, и полученное тут же съедали, а другую половину Дуня в чулок клала, скажет: «Завтра», да так и оставит. Хлеб она потребляла от одних людей, там женщина пекла с молитвой. Принесет в чистом, и когда принесет, пели «От святыя иконы Твоея». Тараканов было множество; хлеб отрежут, закроют, а они все изъедят, да заветрится; отрезала первый кусок Поле, потом Даше и третий — всегда черствый и маленький кусочек — себе, остатки, корки отдавала младшей хожалке. И назавтра ели сухари натощак. Она говорила, кто ест мягкий хлеб, тот не постник, но если постишься да дорвешься до мягкого хлеба, это плохо. Всякий кусок Дуня крестила и говорила: «Христос Воскресе!»

Если молитвенного правила не кончит, то три дня пролежит без пищи. После еды читали молитвы на сон грядущим и Псалтирь. Когда все лягут, Дуня просит младшую хожалку принести две копеечные свечи, и как только все заснут, она их оградит знамением креста, потом подадут ей свечу в руки, и она ее зажжет. Поля греет в это время чулки, а Дуня не спит, шарит у себя, ищет за поясом нитки или еще что-нибудь, и как догорят свечи — всех поднимает, а Полю кладет. В последний год она стала будить, как только одна сгорала свеча, а раньше больше давала покоя.

Поля уснет и дверь ногами невзначай откроет, Дуня и закричит: «Караул!» — все встанут, а дверь открыта — зимой, и она всем начинает на Полю жаловаться, плакать и говорить: «Вон монашки

что делают, зимой отворяют двери, нарочно меня хотят заморозить». А у нее и без того холод был такой, что в чайнике и в лохани замерзала вода. Все спали на полу измученные, не слыша ничего. Келлия была дырявая, предлагали ей ставить новую, но она не захотела.

Двор она решила сделать, Полю посылала. Поля говорила: «Сперва надо сделать келлию». А она говорит: «Нет, двор». Послала ее отмерить место на сажень от старого двора, его она ломать не велела, а разбирать, чтобы стука от полома не было. Стали строить. А давала она строить не всем, а кто табак не курит. Также и об ограде на могиле говорила: «Поля, дай ограду строить тем, кто не курит». Довела стройку до холодов. А эти люди, муж и жена, какие строили, были самые бедные и строили ей бесплатно. И бревна возили бесплатно. Даже хлеб с мякиной они ели в это время. Потом она их позвала к себе. «Вы здесь,— говорит,— хотите получить награду или в будущем?» Они не захотели плату взять, помолились и взяли у нее благословение. Врыли столбы и забрали стены. Она посылает Полю: «Поди посмотри, не косой ли поставили». Та сказала: «Немного косоватый будет». Дуня до того плакала, невозможно, и спрашивает: «Нельзя ли его опять разломать и исправить?» Даша пожалела этих людей и стала уговаривать. А она Даше говорит: «Ты не вникай, это дело не твое, пусть Поля сама, как хочет, с ними». Поля сказала: «Никак, Дуня, нельзя, надо рядом врывать другой столб». Она и велела: «Ставьте другой столб». А он был ни к чему: только чтобы не было косо. И когда они кончили — строили они шесть

недель — их призвала в келлию и говорит: «Вот вы мне здесь выстроили, а вам в будущем Господь выстроит». Дала им по кружке воды и по куску ржаного хлеба. В том же году муж и жена оба умерли. «Еще бы кто нашелся, кто бы мне келлию выстроил,— говорила.— Полому чтобы не было и стуку я не слыхала, а келлию бы мне выстроили. Если я стук-то услышу, я не вынесу»,— так без келлии она и осталась.

Денег от юности в руки не брала. Письма кто присылал, она мало читала, которым отвечала, а которым нет. Сроду ни с кем она не целовалась и руку никому свою не давала целовать; своим хожалкам всем запрещала давать руку при здоровании и не велела с мужчинами оставаться наедине.

В Саров пускала один раз в год, а Даша двадцать лет никуда не выходила. Во время воскресной обедни Дуня запрещала печку топить и к святыне приступала строго, а последнее время не давала уж и полы мыть, потому что полы она считала большой грязью, и белье не давала стирать в пятницу и среду, а только во вторник и в четверг, и при этой работе не давала со своего стола просфору, не давала дома обедать и лампаду поправлять, но в церковь пускала; после полов она велела мылом руки мыть, съесть кусок хлеба и взять книгу в руки — Псалтирь или молитвенник. Только через двое суток она разрешала прикладываться к иконам, также и после бани: ходи дома немытая, до всего допустит, а после бани — нет. Если обуются в лапти или в валенки или еще во что-нибудь, весь месяц в этой обувке ходить надо, хоть сыро, хоть жарко, разуться нельзя, а то не будет пить и есть и плакать будет.

Если тихонько разуются, она все равно узнает, ругаться не будет, а будет сильно плакать. У них до того ноги отекут, что невозможно, весь день на ногах, без отдыха и без сна; ноги сырые, а греться не пустит, а иначе закричит дуром; также весь месяц не давала сменять белье и платок, а при народе обличала: она монашка, а грязная.

Кто ей служил, тем не давала брать в руки ни ножа, ни топора, ни веника, а то ей была великая скорбь! И ничего не давала делать, кроме молитвы; не давала ходить за собой при женской немощи, брала другую. Если обе сразу, то она и не разговлялась.

Мало кто ее подвиг понимал. Она плачет, жалуется на хожалок, а сама так велит. И тут же плачет и улыбнется. Поле она сказала: «Если я тебя при людях буду ругать, ты не смущайся». «Они меня не моют и рубахи мне не дают»,— и заливается при этом слезами.

Чтобы подвига ее не знали, она говорила: «Ныне нет отрадного дня»,— и сама не ела, и никому не давала. А тут по покойнику в колокол ударят (село-то большое) — нельзя уже есть, или еще что случится, все это были поводы, чтобы не есть. Покойника пронесут, хожалки просят, она: «Завтра поедим»; скажет: «Молитесь, чтобы завтра отрадный был день». Так и отведет день ото дня, потом и забудется, а хожалкам не дает, говорит: «Больному принесли, я сама съем». Когда покойника несут, она лежит недвижимо, и если ест в это время, то бросит, и если правило, молиться больше не станет, лежит и всем велит молчать. Поля ее спросила: «Дуня, почему ты так к покойникам относишься?» — «Глас Госпо-

день — когда в колокол бьют — объяснил, чтобы молились за рабов». И скажет: «Такой же брат, такая же сестра, мы все одной крови. Вспомни, что их встретит. Умру, и ты молись за меня». И до тех пор лежит недвижимо, пока его не схоронят, и никого в келлию в это время не пустит. Она говорила, что не только за того, кто милостыню приносил, нужно молиться, но за всех, о ком узнаешь. Она очень боялась загробной жизни, как ни один старец не боялся. Поля раз говорит: «Дунюшка, хорошо, чтобы ты померла». А она заплакала и говорит: «Я лучше здесь на ножах буду лежать». Спросит: «Поля, я умру, будешь за меня молиться?» Она ответит: «Буду».— «Ну скажи тогда, как ты за меня будешь молиться?» — «Ежедневно буду за тебя молиться 150*». Она говорит: «А за это отрада будет?» — «Да». Она утешится и успокоится.

Одна женщина удавила ребенка на первый день Пасхи и к ней пришла, а Дуня это провидела. Как она вошла в келлию, Дуня сразу закрылась с головой. Женщина принесла каравай белого хлеба и два пуда пшеничной муки. Семь человек их было, и никому из них Дуня не дала брать его в руки, чужих покормила и чужим отдала этот каравай, а муку в сенях поставили; так на нее и лил дождь. А женщина ей не созналась, Дуня ее не обличила при всех, а Полю послала спросить, она сказала несчастной: «Ты не отчаивайся, ведь и разбойника Господь спас, ты кайся». Женщина заплакала и говорит: «Если узнают, что я родила, то я удавлюсь». Дуня Полю призвала:

* Имеется в виду прочтение 150 раз молитвы «Богородице Дево, радуйся...»

«Ступай, посылай ее в Глухово». Только та уехала, Дуня Полю послала догонять и велела сказать о. Николаю, чтобы он ей дал молнтву и поисповедовал и чтобы помолился о ней. Свекровь убийцы дала Поле кусок белого хлеба. Пришла она вечером, а Дуня плачет, говорнт: «Поля, у тебя в кармане зараза лежнт»,— и велела вынестн хлеб чужнм людям, н карман чтобы чужие вымыли. Вытащили этот хлеб, помолились, сходили за водой, и только тут она стала разговляться.

Загорелось у благодетелей в доме, и она Полю послала: «Сбегай, Полинька, а то Карасева сгорит». А дом-то был заперт, н никого не было. Та влезла в окошко, залила огонь, приходит, хожалки Дуне говорят: «Как ты теперь будешь из ее рук есть, когда она пожар заливала?» А Дуня послала ее по воду и ела. А бывало, если кто из ннх в рукн головешку возьмет, она нн за что не станет есть.

А то был еще случай такой. Неподалеку от Дуни в одном доме затлелось, три дня тлело, а все было заперто. Когда зашли в этот дом, то увидели, что лежит обгорелая старуха возле самовара, и как стали ее брать, у нее рука отвалилась. Вытащили ее на луг, н вдруг видит Даша — поросенок бегает, она говорнт: «Дунюшка, смотри, как поросеночек-то бегает». Дуня глянула, но увидела не поросенка, она взвизгнула, ее заколотило, н окна, и двери, все велела запереть крепче, и ннкого не пускала, н потом так плакала, прямо невозможно, и велела перекрестить все кругом, и окна и дверн, и лежала, не пила, не ела целые суткн, и занавесили все окна, потому что старуху несли хороннть мнмо Дунн (около этого дома Дуню потом билн). И где лежала старуха, она этнм местом

не давала проносить милостыню, а если кто проносил, то она сама не брала и хожалкам не давала.

А одного старика Дуня велела ради Бога посещать — он жил в нищете, весь в червях был. И когда умер и его так же несли мимо Дуни, то она велела открыть все двери и окна и сама пела и молилась.

А тут, если и родственники умирали, она хожалок не пускала. Сама ничего с таких поминок не пила и не ела и им не давала, а от других и чужих давала. Когда кого расстреляют, да из этой семьи придут, то она не пускала их до сорока дней и говорила: «Ну, они руками хватают везде». Видно, боялась, как ее будут расстреливать. «Какой бы позорной смерти ни предали их, а все-таки их хоронят, а меня не станут хоронить и в колокола звонить не будут. Господи, Господи, какие люди счастливые, помрут — звонят, а меня, как скотину, в яму свалят. Но этих людей,— говорила она,— кои меня расстреливать будут, тоже расстреляют» (что и сбылось). Верующим наказывала: «Бегите на скит за можжевельником и бросайте под ноги, как меня понесут». А они ей отвечали: «Мы не только это, Дуня, мы сколько священников призовем тогда». А она отвечала: «Все разбежитесь от меня. На могилку мою почаще ходите, вы будете плакать и рыдать на моей могилке, я буду все слышать, но отвечать не могу». Поле говорила: «Я умру, ты принимай схиму, я умру, а ты останешься, а если не примешь, то Богом будешь наказана». Поля ответила: «Я, Дуня, неученая».— «Кто у меня живет, все будут ученые. Старайся обо мне молиться, и я там тебя не забуду. Иди в монастырь».

Незадолго до смерти, когда ее мыли, она говорит: «Давайте мне рубашку, кою я на смерть приготовила, уж зима, холодно, оиа потолще, в ией будет потеплее». А когда ей голову расчесывали, сказала: «Ты меия последиий раз держишь». Еще она говорила: «Я до осеии доживу, иовую жизнь поведу, а вы всякий сам себе хлеб приготовляйте, я больше вам готовить ие стану, тогда вам всем легко будет жить, а ты принесешь мне из Бабина». (Везде не давали молиться за нее до сорока дней, а в Бабиие священиик все время молился. И иа дому у Дуни служил панихиды. Этого священника она исцелила: он очеиь сильио заболел горлом. Поля в то время была в Гавриловке и торопилась к службе. Пришла к сестре и спрашивает: «Обедня будет?» А сестра отвечает: «Батюшка сильно хворает, скоро умрет, доктора сказали». И вдруг пошел звои к утреие, и батюшка идет ни в чем иевредимый. В церкви к Поле батюшка подошел и рассказал, как ои от Дуни получил исцеление. Входит к иему сначала апостол Фома, потом преподобный Серафим, старец Никодим и с ними Дуня: «Я ее лик не видел, но оиа вошла с ними, взяла за горло и сказала: «Вставай, здрав будешь, иди служи обедню, жалко, ты у меня у живой ие был». Лица всех видел, а ее не видел, слыхал только голос». Святые ему сказали, что с ними Дуня.)

Однажды о. Софроиий (ои сам икоиы писал) в день Ангела прислал ей икону Спасителя в терновом венце. Дуня как увидела, так и заплакала: «Архимандрит,— говорит,— а дурак, больиому в день Ангела какую икону прислал, иадо утешительную, а он скорбную». И послала ее обратно. А он сказал: «Ну вот, какое-то у иее является

суеверие, она бы какую икону мне ни написала, я бы за благодать принял». Потом пишет в письме: «Помолись, Дуня, за меня, если я до Пасхи доживу, обедню отслужу, то тебе хожалку пришлю, а до Успения доживу, то Царицу Небесную пришлю».

Самая первая хожалка батюшки Софрония — Александра Михайловна, о ней и писал о. Софроний Дуне, когда обещал прислать хожалку. Она тридцать лет к нему ходила и за тридцать верст ему хлеб носила, и вот начал батюшка ее гнать: «Уйди от меня, выгоните ее, она — воровка, она у нас все растащит». Она плачет: «Ваше преподобие, что вы со мной делаете»,— а он знай гонит. Дуня и прислала за ней, взять ее погостить.

Привезли ее совсем больную, она кричит: «Дуня, помираю от холоду и голоду», а Дуня говорит ей: «Терпи». Так она пробыла у Дуни весь Пост и выздоровела. А когда пришла к о. Софронию, он велел ей готовиться к исповеди: «Я, говорит, тебе последнюю обедню отслужу». И другие хожалки стали готовиться, но он их никого не причастил, а только ее, она на Пасху причастилась и две недели спустя умерла. Дуня, как узнала о смерти Александры Михайловны, очень плакала и сказала: «Отпало у меня правое крылышко».

У Александры Михайловны в ногах были черви, и она в баню не ходила. А получила она эту болезнь так. Она пришла к о. Софронию, а он говорит: «Ты любишь меня?» Она говорит: «Люблю, батюшка».— «Ты чего хочешь — вечного или земного?» Она говорит: «Вечного».— «Хочешь страдать, как я, мою скорбь получить?» Она говорит: «Хочу». И стали у нее на ногах пробиваться раны, и завелись в них черви. Ноги у нее болели

пятнадцать лет. Никому она этого не говорила, только Дуне показала, потому что Дуня это провидела и сама спросила: «Сознавайся, какую скорбь ты несешь; Поли не бойся, она со мной вместе и никому при твоей жизни не скажет».

Александра Михайловна раньше Дуню не знала совсем. Когда о. Софроний скрылся в леса, никому не сказал, Александра Михайловна очень плакала о нем, ходила и искала его. По лесу однажды идет, и догоняет ее старец и спрашивает: «Кого ты ищешь?» Она говорит: «Старца, который всегда утешал меня, он скрылся». Старец сказал: «Запоет петух, иди на голос, и он тебя встретит, а еще в Пузе есть больная девица, тоже посещай ее каждый месяц, как и батюшку».

Услыхала она петуха и пошла, видит, стоит о. Софроний прямо против келлии. И он посылал Дуне с Александрой Михайловной все, что только ей понадобится, а Дуня — батюшке. Однажды о. Софроний прислал Дуне большой образ Царицы Небесной Иверской и всегда присылал масла. И вот у его хожалки Веры так заболели пальцы, что думали, они у нее отвалятся. И он ее послал к Дуне: «Поезжай, Верочка, к Дуне, от Царицы Небесной ты исцелишься». И Вера получила исцеление.

Когда Поля в первый раз пришла к о. Софронию, он прямо сказал: «Счастливица та, которая благословила тебя в монастырь» (благословила Дуня). И дальше все время говорил о Дуне, какая она подвижница и светильница, от земли до неба столп, и что надо слушать ее и подражать ей.

После Поля стала ходить к нему. Пришла один раз, а он: «Что она к тебе привязалась,

вшивая девчонка к монастырскому человеку, какая же в ней может быть благодать, никаких у нее уставов нет, заведут они и целый день и ночь только поют, грязь у ней, холод, вши, разве только в этом спасение, в холоде и грязи, и тараканы у ней. В пятницу рыбу она потребляет, в утреню ест, в обедню спит. Вон у меня девушки поклоны кладут, акафисты читают по монастырскому уставу, а она и сама мучается, и хожалок мучает, и всех, кто к ней ходит, мучает». Три раза он говорил одно и то же, что она беспокоит монастырского человека, отрывает ее от послушания. В третий раз он начал говорить: «К тебе Дунюшкина вошь пристанет, как ты придешь в монастырь, тебя выгонят из монастыря-то, скажут: вшивая». Она отвечает: «Я нарочно бросала, да они не пристают». Он вдруг ей показал пальцем на правую руку, вот Дунина-то вошь, она стала ее искать, а он начал смеяться, как малое дитя, и потом сказал: «Кто больных любит, великая благодать». Взял ее за голову и говорит: «Я сейчас тебя благословляю к Дуне жить, служи ей как матушке игумении, не преступай ни одной заповеди ее, свою волю не твори, а послушание все исполняй, что она тебе скажет».

Милостыню всю Дуня крестила и пела «От святыя иконы Твоея», и кондак, и величание. Раз принесли милостыню в Вербное воскресенье, к Пасхе творог, и внесли в сени; кошки раскрыли и поели его, и все четыре сразу околели: в нем был намешан мышьяк. А один раз окна в первый день Пасхи выбили, и Дуня лежала в стеклах и в крови и не велела убирать, пока не кончит правила. Окончила молитву, тогда дала убрать,

6 Зак. 67336

а выбил окна муж одной женщины по злобе, что она ходит к Дуне.

На Дуню и до революции гонение было и всякие досады. Однажды приехали урядники, созоровать над нею хотели, покружились около келлии, а к ней подойти не смогли и уехали.

Напротив Дуниной келлии жили неприятели Дуни. Бывало, дьякон убьет собаку и бросит к ней во двор, а ей это скорбь большая. Она сутки плакала, не переставая, после этого. Вскоре его перевели из Пузово в другое место. Другие враги объявились. Камнями лукали в народ, что около келлии стоял, и все это место впоследствии выгорело, и скорбь этим людям была невыносимая.

Все соблазны проходили через Дуню. Позвала она к себе Марию Кошелевскую, а она жила дурной жизнью, Дуня ее спасала от блуда. Бывало, Дуня ее очень строго держала. Той терпения нет, начнет ругать Дуню, поругает и упадет, прощения просит и кричит: «Меня Бог не простит». Она все время боролась со страстью, а не могла, чтобы ее не удовлетворить. Была она известна всем и не стеснялась, при всех говорила о своей жизни. До Дуни она детей морила. Началось ее падение с того, что ушла она от мужа к священнику, а потом пошла и по всем. Дуня ее непрестанно уговаривала и называла ее по-всякому и плохим словом, даже и при народе. Иногда Мария говорила: «Уйду, удавлюсь вон у вас на дворе»,— тогда Дуня начинала ее по-всякому ублажать и уговаривать. Сама срамит Дуню, думает что-нибудь срамное: враг налетит — ничто ее удержать не может, а потом плачет и начнет говорить: «Ты через меня, Дуня, погибнешь, пусти

меня лучше в мир, уйду и погибну одна». А Дуня ее так и не пустила.

Милостыню в худой посуде или в худом полотне она не принимала, и ей тогда была скорбь, оиа говорила: «Это Господа прогневляют». Она говорила, что грешный человек недостоин принять милостыню от праведного и иаоборот, сама-то оиа принимала, ио учила так.

Она ела молоко от одних и тех же людей. Раз у Даши это молоко пролили, и она заменила его другим, думая, что Дуня ие узнает, а Дуня как попила, так у нее кровь из горла пошла, оиа и говорит ей: «Зачем ты меня искушаешь, зачем подменила мие молоко?»

От некоторых Дуня ни под каким видом ничего не брала. Хожалки ее убеждали, потому что очень просят и плачут. Тогда она им сказала: «Один послушник убеждал старца взять гречневую крупу, а старец не взял, а велел послушнику — возьми и свари из нее кашу. За трапезой старец спросил этой каши, послушник пошел, а в горшке каши нет, а он полон червей, тогда старец сказал: «Больше меня никогда не убеждай, что мне принять, а что не принять». Так и вы меия не убеждайте».

Одиа из хожалок (Наташа) унесла у нее мед и заболела, лишилась голоса и ие только петь не могла, но и говорила с трудом. Дуня ей говорит: «Открой, Наташа, ты чего-нибудь у меия тайком съела, я ие верю, что ты простыла, ты заразу съела». Наташа созналась, прощения попросила — и тут же голос явился, и стала она петь.

Одна женщиина, Варвара, торговала вином (а Дуня ругала тех, кто вином торгует), и вот

вдруг у нее что-то случилось с ребенком. Она слышала, что в Пузово отчитывают, и говорит: «Пойду у Дунюшки спрошу, как мне с ним быть». Она сначала пошла в Котельму к Алексеюшке — это тоже старец был. Он сказал: «Наказано это дитя за родителей». Варвара обратилась к Дуне. Тут Дуня ее и обличила, что она вином торгует: «Не торгуй вином, тогда дитя здраво будет». Еще обличила, что она шьет в праздники.

Это дитя звали Анной. Не давали ей есть по два дня — она и не просила, только все молилась: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Эта девочка никогда не садилась за стол без молитвы. Однажды она сказала: «Меня приобщите и ведите в Пузу к Дуне». Как только на пузинскую землю перешли, Анна и говорит: «Мама, мама, вот и Дуня нас встречает». А мать говорит: «Нет». А она говорит: «Вот, вот, мама». Когда вошли к Дуне в келлию, она спросила мать: «Мама, что их, две, Дуни-то?» А Дуня спросила: «Ты за меня, Нюра, молишься?» Она ответила: «Молюсь». Дуня дала ей просфору. А Варвара после того изменила свою жизнь и стала ходить к Дуне, и служила ей восемь лет. Дуня ей говорила: «Сейчас перетерпишь, потом будет жизнь хорошая». У нее еще был сын Михаил, он очень любил Дуню. Сел он один раз у реки и просит: «Господи, дай мне поймать рыбку руками, я бы ее тут же снес Дуне». И вдруг мелькнула большая рыба, он ее схватил, посадил в крынку и живую принес Дуне. Незадолго до смерти Дуни мать не взяла его с собой, и он все плакал, что не посмотрел последний раз на Дуню. И вот однажды убирали дом к Михайлову дню, а Миша спал на лавке. И видит, входит к нему

Дуня, на груди у нее золотые кресты, и одета она как схимница, и на голове у нее корона, и говорит ему: «Ну вот, теперь увидел меня...»

Глуховский Петр Павлович ходил к Дуне ночью петь стихиры, и вот, как кончили, он Дуне говорит, что боится идти, а Дуня ему отвечает: «Тебе ангелы посветят». И как только он вышел, перед ним огненный шар покатился, и за ним он дошел до самого дома.

А одну девицу пузинскую, тоже после пения, Дуня убеждала остаться, а та просится; так ее и не убедила. Пошла — и под ноги ей со свистом покатились бревна; шум, грохот кругом; тогда она пришла к Дуне и плакала. Дуня говорит: «Вот, будешь послушание исполнять; горький плод, когда кто послушание не исполняет».

Однажды несли ей пищу, и кувшин с молоком разорвало. Пришли, Дуне сказали, а она ответила: «Это бес, потому что вы без молитвы наливали».

Шли как-то женщины из Бабина с хлебом. Их поймали, повели в Совет, отняли хлеб и начали Дуню ругать в Совете. В это время у Дуни из горла пошла кровь, и она сказала: «Где-то меня клянут». Когда Дуню убили, у этого человека, который ее ругал, сделалось что-то с ребенком. Ни в больницу, никуда его нельзя деть, бьется что есть силы. И видит жена его сон: над Дуниной келлией висят два пузырька — один с маслом, другой со святой водой, и слышит она голос: «Иди и возьми, от этого исцелится твой сын».

Спустя немного времени пошла Варвара, сестра Поли, в Совет за разрешением молоть на мельнице и увидела, как этот мальчик страдает. А мать ее и спрашивает: «Не осталось ли у вас после

Дуни масла и воды?» Она ответила: «Есть». И как помазали его, он утих, и все недуги прошли, они его повезли в Рогожну в больницу, и там, как только он принял лекарство, опять началось беснование, а как его маслом помазали, он выздоровел, и больше лекарств ему не давали.

Дуня строго запрещала с женами разводиться. Еще она велела монахиням девство хранить, а если падет, то лучше до трех раз пасть, а не выходить замуж. Лучше покаяться и опять Богу служить. Еще она запрещала продавать молоко. А велела подавать, и Господь возродит на загоне вдвое. Это она говорила всем, не только своим: хоть стакан, да подай. Поучала: «Когда жнешь, *Богородицу* читай, а когда пояс ткешь, читай *Отче наш*». Она очень строго велела мирским межу ужимать: «Лучше твое пусть останется, а чужого не трогай. Тогда ты будешь целый год подавать чужую милостыню, что от других взял, а не свое». Не велела, кто торгует, обвешивать, а велела всегда поход пускать. А если торгуешь и похода не даешь, себе ужимаешь, то твою милостыню Господь не принимает, она идет за того человека. У кого нанимают жилище, то нельзя много брать, а по силам надо плату брать, а то ты будешь вор. Если дешево с обманом купишь чего, она тоже говорила: «Вор». Строго запрещала чужое утаивать у себя, от тех милостыню она не принимала. И вот тогда скажет: «Эти люди приходят меня испытывать»,— и она их не пускала совсем. Хожалки говорят: «Хорошие это люди, Дуня». А она знай свое: «Не пущу». Они ее уговаривают: «Он плачет, просится, ты распутных пускаешь, а это хороший человек». Она укажет: «Это не ваше дело».

Не пустит, а потом окажется, что этот человек хотел ее испытать. И странников иных не пускала, ответит им: «Я в больнице». А иным велит сказать: «Она у нас спит, ждите до двух часов дня». Они не ждут и уходят. А иных примет и пошлет к благодетелям, чтобы напоили и накормили. Однажды приехал к ней на лошади с колокольчиками брат о. Виссариона Саровского — его прислала Паша Дивеевская, а Дуня его не приняла: «Скажите, что я в больнице». На другой год он опять приехал к Паше, а Паша говорит: «Ты поди пешком и обуй лапти, тогда она тебя примет». И правда, она его приняла. Потом он ей очень поверил и много ей помогал.

Однажды принесла Поля Дуне платок с просфорами, платок этот был подарен ей матушкой игуменией — большой, хороший, сорок копеек тогда стоил. Поля отдала в нем просфоры и ушла, а сестра ее Варвара осталась. Дуня испачкала весь платок в елее да и говорит: «Отдай ей». Та Поле принесла и говорит: «Дуня не велела тебе его стирать». Поля заплакала, ей жалко стало и думает: еще прозорливая, блаженная, а эдакий платок в сорок копеек, да еще подарок матушкин, так испортила. Пожалела, да и выстирала его, а с ним несколько носовых платков. И откуда только взялся вихрь, все платки унес, кроме Дуниного. На другой день пошла она к Дуне, а та и говорит: «Прозорливая, а испортила платок в сорок копеек».

Не велела она никому обращаться к врачам. Идите в монастырь, примите Святые Дары и воду святую пейте. Велела мазаться маслом и сама никогда не обращалась к врачам. И еще она за

послушание не велела делать операцию. Она говорила: «Разве Бог не исцелит, Бог что раньше, что теперь, одинаково».

Нотное и быстрое пение она не любила. Говорила: «Что в книгах есть, все читайте и пойте, разве святые отцы писали здесь, чтобы слова-то оставлять?» Батюшка Софроний и Дуня не разрешали петь на клиросе мужчинам с девушками. Он говорил: «Сено с огнем не лежит, не принято Богом это богослужение» (пение их).

Как-то Даша стала о хлебе смущаться, что много его копится и он гниет, и хотела об этом открыть о. Анатолию, который ее благословил жить к Дуне. Подобрала подруг, чтобы тихонько ночью бежать в Саров. Села и сидит, уже утро, а она идти не может, ноги отнялись. Дуня просит: «Умой меня»,— она ни с места. Она ее толкает, а та не встает и ничего не говорит, а потом сказала, что у нее ноги отнялись. Дуня говорит: «Что-нибудь плохо помыслила». Та ей созналась, и Дуня ее простила и сказала: «За это тебя наказал Господь»,— и она исцелилась, как помазалась елеем от преподобного Серафима.

Хлеба Дуня хожалкам не давала, раньше раздавала, а в последний год до смерти велела тайно от них наверх убирать, когда сорок, когда тридцать караваев поднимут наверх, и до трехсот караваев дошло, и он лежал все время невредимый. Даша за месяц до смерти слазила туда, увидала, напугалась и сказала, что их за это расстреляют, и с тех пор он зацвел и сделался как пыль. Такое волнение поднялось в хожалках, и Дуня все говорила на Полю: «Я не знала ведь, что у нас там хлеб, вы не смущайтесь, вы все

будете в раю, ваши добродетели не пропадут, а она будет в аду». Поля сказала: «Зачем меня старцы благословили к тебе погибать». Она ответила: «Замолчи, я буду в аду и ты в аду».

Сахар у Дуни был и все было, но хожалкам она с сахаром пить не давала. Иногда она от тошноты ела лимон, орехи или огурцы и грибы. Раз в месяц, не больше; разгрызть орехи сама не могла, грызла ей Даша.

Однажды Даша призвала матушку-схимницу, и хожалки стали ей открывать, что они смущаются, что у Дуни неправильные подвиги. Дуня это провидела и велела Поле натаскать горшков с червями. Все вошли в избу, а схимница вышла в сени, увидела все эти горшки и начала проверять. Дуня опять позвала ее к себе, а хожалки не объяснили Дуне, зачем здесь схимница и зачем она выходила во двор. Дуня ей сказала: «Матушка, ко мне все приезжают проверять, все узелки проверят, придет время — ничего не останется, а мне за это достанется. Это потащат не узелки, а кровь мою, где что лежит, это все кровь моя. Умные будут плакать, а кои не в Боге, будут радоваться. Давайте меня вымойте, только другим хожалкам ничего не говорите».

После правила она Полю послала за водой, мыть ее. Пошла Поля, стала качать воду, и подошли к ней солдаты с ружьями и стали к ней приставать и смеяться. Она принесла воду и сказала, что солдаты с ружьями вокруг нее стояли. Дуня заплакала, велела вылить воду и отложила мытье до другого дня. На другое утро идет Поля с водой, а ей дорогу перешла женщина с веником, она Дуне сказала об этом, и та опять велела

ей вылить воду. До третьего утра оставила. Третье утро опять пошла за водой, идет мужик с косой, она опять велела вылить воду. В четвертый раз мужчина шел с топором, на пятый попалась женщина со скребком, на шестой день пожар — старуха сгорела, на седьмой — покойник, на восьмой несли навстречу покойника, на девятый день она плакала, ругала Полю с Дашей, говорила, что не хотят они призреть больного человека, и наложила на них по сто поклонов Иисусу и Царице Небесной. Еще она наказала, чтобы натощак хожалки прочитали после правила акафист Знамению Царицы Небесной. Они ослушались, потому что поднялась буря, гром и молния, и расщепило дерево, и пошли они шесть человек рубить это дерево на дрова. Дуня послала Дашу: «Поди, что они не идут Заступницу петь», а они все ушли, не слушаясь ее. Тогда она двое суток их не пускала в келлию, они били в двери, колотили, а она все-таки их не пускала. «Это,— говорит,— дерево не пройдет, это они не дерево спилили, а человеческую жизнь, прискорбно душе моей, горе непослушание». На десятый день за водой не пришлось идти из-за всего этого. Потом она опять их начала ругать: «Прибавьте еще молитвы, это вы не усердно просите Владычицу». На одиннадцатый день пошла Поля по воду, принесла ее в келлию благополучно, затопила печку, призвала Дашу помочь ставить воду, а Даша все дрова и залила. Тогда Дуня заплакала, как малое дитя: «Какие козни враг на меня наводит, если завтра вы не попросите Владычицу, то я останусь немытая»,— и велела еще прибавить молитвы. На двенадцатый день принесли благополучно и вымыли ей руки и ноги.

Через два дня стали ей рубаху менять, народ она весь выслала, чужих на улицу, а своих во двор; остались Поля и Даша. Дуня говорит: «Поля, подай мне рубаху»,— та стала подавать, она и говорит: «Ты ее сперва на себя надень, а то я боюсь, что она меня задушит, ворот не пролезет». Поля ответила: «Я недостойна, Дунюшка, чтобы после меня ты надевала».— «За послушание надевай». Она надела. Потом сказала: «Она свободна, можно». Дуня ее надела, а Поле подала рубаху, кою скинула. Через два дня хотели надеть на нее сарафан. Она говорит: «Вы мне не надеваете». А Даша и говорит: «Ты сама не хочешь». Она очень плакала и осталась в худом сарафане, ни за что не хотела переодеть, так и расстреляли ее в худом сарафане.

В Глухове были знакомые девушки, к ним ходил Илья, и они почитали его за прозорливого; приходят они к Дуне и говорят о нем. Такой-то и такой-то, во все ночи молится, постится (ему было в то время девятнадцать лет), поставил себе часовню на Ильинском колодце и там всю ночь молится. Потом просили они Дуню: пусти его, он боголюбивый. До трех раз они приходили просить Дуню пустить к себе. Он два раза приходил, она не пускала. На третий раз пустила. Лет за пятнадцать до Дуниной смерти он пришел к ней и стал петь у нее, голос у него был хороший, пел со слезами, усердно. И это время он жил хорошо, все пел, да молился и мало спал. Затем скопил денег и уехал на Афон и там принял схиму. На Афоне год или два жил и привез оттуда святыни всякой чуть не вагон, икон много, крест о. Софронию, который теперь стоит на его могиле.

Вернувшись, он задумал ехать в Москву и пропадал там три года. На деньги, вырученные от продажи святыни, завел торговлю в трактире и стал торговать фруктами. Через три года опять приехал в Пузово и стал развратно жить, женился и выдавал жену за сестру, а ребенка за приемыша, хотя он очень походил на отца. Потом он стал пристращаться к вещам. Принес две суконные накидки и целый узел денег и положил Дуне в ноги, она кричит: «Убери»,— а он не берет, потому что боится, чтобы там у него не унесли. И стал он ходить по свадьбам, петь песни, плясать. Дуня за ним пошлет, чтобы вытащить, а он послов бьет. Напьется, подойдет и начнет кричать: «Колдунья»,— всяко станет называть ее. Но когда народ придет, то он ласковый, поет, молится, а что принесут, то утащит. Когда утреннее правило идет, он придет и начнет представлять что-нибудь, чтобы рассмешить девушек и Дуню отнять от молитвы, а не пустить тоже нельзя, он стращал, что донесет начальству, и Дуня всячески смирялась перед ним, а хожалки все верили, что он святой, да только блажит. Людям Дуня говорила, что его ей жаль и что он хорошей жизни, и только с Полей говорила про него как есть. Когда ее что станут спрашивать, она отвечала: «Я ничего не знаю, вон Илюша скажет». И он говорил иногда правду, а иногда врал. Но говорил он не от Бога. Но Дуня от него много скрывала: «Уберите скорее, а то Илюша идет, нахватает тут руками, опоганит все». Когда его на военную службу брали, человек с топором дорогу перешел, она сказала: «Этот топор не пройдет». Взяли его на службу, он приехал на побывку, просрочил, вдруг принесли

икону Царицы Небесной Достойно из Дивеева и стали петь, пропели, и всех Дуня проводила ко кресту в другую келлию, где хожалки жили. Илья и дьячиха (старуха) пели, вошел милиционер и сказал: «Вы все арестованы». Потом стал Илью спрашивать, почему просрочил, и всех переписал, и хотел всех хожалок отправить по домам. Дуня Полю посылает: «Поди, проведай, что там делается». Она пошла будто за ведром, а сама — послушать.

Илью забрали в Глухово и посадили там в холодную. Милиционер пошел ужинать и Илью взял с собой; у милиционера не было к ужину соли, а его тошнило есть без соли. Илья это видит и говорит: «Отпусти меня, я десять фунтов соли тебе дам».— «А ты обещаешь завтра к восьми утра прийти?»— «Обещаю». Тот его пустил.

Он прибежал к Дуне и стал плакать, говорит: «Я убегу». Дуня говорит: «Ты убежишь, а нас убьют тогда». Он выругал ее и всех матерно. «Пущай»,— говорит.

Дуня замолчала. И он стал еще сильнее ее мучить. Поля говорит: «Пускай, Дуня, он убежит, что он тебя мучает, а Дашку, жену, пусть оставит, тогда с нее спрос будет».

Он убежал. Жену его посадили, а ребенка оставили. Тут она сказала, что приведет мужа, ушла к нему, и они все убежали и скрылись.

Милиционер пришел на Спас, все девушки были в церкви, стучит он, спрашивает: где Илья? Они говорят: «Нет его у нас». Он позвал понятых. Дуня кричит: «Не пускайте никого». Даша в сени вышла на крыльцо, а Поля — в воротах и говорит: «Нет его у нас».

Пока Даша говорила с ним, Поля молилась Покрову Пресвятой Богородицы покрыть их Своим честным омофором, потом она подходила и говорила с ним, а Даша в это время молилась. «Нет у нас его, если перелезешь, да найдешь его у нас, то расстреляй меня первую».

В это время подоспели мужики и стали уговаривать: «Не тревожь больного человека». Тогда он грозил послать заявление в Ардатов и вытребовать отряд искать дезертиров и накладывать налоги на богатых мужиков. Девушки стали уговаривать Дуню: «Давай пустим, а то он отряд вытребует». Она сказала: «Я его не пущу, а отряду двери отворю». Больше они ее убеждать не стали. Приехал отряд ее убить.

Как пришел милиционер, Дуня сказала: «Надо терпеть, Поля, хлеб размачивать и убирать». Поля стала хлеб убирать: который размачивала, который в землю зарывала, осталось только десять караваев. Пришла ее сестра, а Дуня и говорит ей: «Чему ты свою сестру научила, я на нее прельстилась, я думала, она умная и кроткая, а она вон что наделала, сколько хлеба сгноила». И послала ее смотреть хлеб. Сестра очень напугалась, когда увидела столько хлеба гнилого, а Дуня на Полю пальчиком грозит и смеется.

Потом она проводила всех хожалок, остались две, да три женщины, и сестра Поли в их числе. Помолились, попели. Внесли масло и свечи и платки головные и ручные, Дуня все перекрестила и сказала: «Несите в тот дом, туда не придут» (платков в мешке было около трехсот). И она говорит: «Чтобы все на моей могилке в одинаковых платках стояли и пели. Сорок аршин материи

десяти человекам на кофты. Это масло и свечи берегите и их не жгите, они мне будут нужны».

Пришли к Дуне солдаты, вошли они и стали стучать в боковые двери, а Поля была во дворе. Дуня сказала Даше: «Беги, скажи Поле, чтобы она бежала в ворота за мужиками, как бы для заступления». Вышла Поля и побежала за народом, к верующим; они пришли, а солдаты уже вошли. Их пришло сначала двое. Они вошли и начали читать бумагу, кто здесь живет из хожалок, все они были переписаны как бы для того, чтобы продукты им отпускать, а Дуня сразу сказала, что это не для продуктов, а чтобы знать, кто у нее живет.

Солдат спросил: «Которая Евдокия Шикова?» Показали: «Вот, больная».— «Которая Дарья Тимолина?» Даша сказала: «Я».— «Которая Мария Неизвестная?» — «Это я».— «Анна Ильина Хозинская?» Она была в бане. «Мария Кошелевская?» Она ушла провожать сестру. «Где Дарья Сиушинская?»— «Ее нет,— Даша сказала,— это чужая»,— а это она и была. «А где Наталья Инютинская?» — «Она на родине».

Бросился солдат в чулан, а другой остался стоять в дверях. Поля прибежала в это время с Анной, двери открыты были, и стала говорить: «Пусти меня, я здесь живу, я не знала, что запись». Он спросил ее имя, она сказала, а он говорит: «Такой нет». А Поле очень хотелось проститься с Дуней. Она просит, он не пускает. Она говорит: «Убейте меня вместе с ней, я не уйду». Вышел из келлии Кузнецов какой-то, ударил ее раз пять и двери запер. Она не отходила, смотрела в окошко. Видит, нашел он просфоры и елей, бросил их в лицо

Дуне и начал ее обзывать скверными словами. Потом она у него стала просить прощения. Как помянула она «ради Христа», он и стал ругать Спасителя по-всякому, она и не стала больше прощения просить. Потом стал ее за волосы таскать и бить плетью, а хожалок в келлии не трогал. Потом взял восковые свечи, скрутил их по десять штук вместе, зажег и стал кидать иконы и искать деньги. Все иконы побросал, затем в чулан полез, а там его за руку крыса схватила. Он остервенился и начал бить Дуню, стащил ее с постели и здесь нашел Илюшины деньги, а как деньги нашел, стал бить еще сильнее.

Они пришли в шесть часов вечера и били ее в келлии до десяти часов вечера. Потом они ушли. Она попросила: «Унесите меня из келлии».

А у тех было в это время собрание в доме учителя, зятя пузинского священника о. Василия Радугина. Кузнецов им объявил, что нашел; были солдаты и народ и поднимали руки; это называлось полевым судом. Это было в субботу в шесть часов вечера, 3 августа, а днем в двенадцать часов приходил брат Поли и говорил, что сегодня приедут солдаты, чтобы их всех убить, он слыхал. Поля рассказала об этом Дуне и говорит: «Давай, Дуня, я зажгу келлию, а тебя и Царицу Небесную вынесем и ты будешь здрава и цела». А она не захотела и говорит: «Эх, Поля, разве можно сжечь такую святыню, столько людей ею попользуются».

В десять часов вечера ее понесли из келлии в келлию хожалок, они жили через пустырь. Когда они двором ее понесли, солдаты остановили и спрашивают: «Вы ее куда понесли?» — и снова стали ее бить. Так она тут и осталась. Ее положили

опять на лавку. Били ее всю ночь попеременно, били и плетьми, и стаскивали, и топтали ее ногами, и в воскресенье с утра били, и везде стояла кругом стража, и никого к ней не пускали. В воскресенье, после обедни, стали все выкидывать из ее келлии. Солдаты кидали иконы и топтали ногами, и крестьяне стали брать их в церковь. Когда понесли Иверскую Божию Матерь, от нее было сияние. Солдаты хорошие вещи брали себе, а похуже кидали народу, и все тут торжествовали и тащили. Десять солдат залезли на крышу и искали в соломе деньги. А народ стащит вещь, да опять бежит что есть мочи, чтобы еще захватить. А Дуня спрятала деньги раньше. Свои деньги — шестьсот рублей — она отдала Поле, и та их спрятала у Карасевых под полом, и они их там, как магнитом, нашли. А деньги, которые выручил дядя от продажи хозяйства, лежали на печи в тряпочке, и их нашли.

Дуню, когда тащили вещи, все время били — и так до утра понедельника. В понедельник поутру через заднюю калитку проникли к ней некоторые верующие, солдат попался хороший и не бил ее в это время. Дуня попросила: «Меня надо приобщить, позовите священника».

Батюшке о. Василию Радугину сказали, он пошел, но его не допустили. Он попросил у них пропуск, у главных, они ему дали. Он пришел к Дуне, исповедовал и приобщил ее и хожалок за два часа до смерти. Она ему говорит: «Батюшка, нельзя ли постараться?» А он говорит: «Вас убьют, Дунюшка, нельзя, решили убить». Она говорит: «Батюшка, чай бы, должен суд быть».— «Они решили промеж себя». Вскоре он ушел. Солдаты

нарядили подводу, мужиков пузинских — копать могилу. Подъехал мужик на лошади, и они стали выходить. И до того у них были прекрасные лица, что невозможно было смотреть. Они вышли все с четками, церковь напротив, они на нее помолились; и стали их опять бить. Когда Дуню били, хожалки бросились защищать, кто — на ноги, кто — на тело. Затем сели на подводу, перекрестились. Дуня у Даши на коленях, сели все рядом. Как лошадь тронулась, стали креститься. А на углу дома стоял мужик неверующий, Иван Анисимов, и он увидел, что на плечах у них голубь белый, и куда ударяли, туда он садился, и били по голубю. Тут же он уверовал и говорит: «Теперь бы я последнюю корову отдал, только бы не убивали их». Трое мужиков, Петр, Иван и Макар, из тех, кто постоянно ходил к Дуне, попытались за нее вступиться, но были избиты плетьми. Дуня увидела это и говорит: «Смотри, как с них грехи сыплются. Смотри, сейчас с Макара грехи летят, как от веника листья в бане, как его за меня бьют». Петр Карасев впоследствии рассказывал, что никакой боли от ударов не чувствовал. «Я бы счастлив был, если бы меня еще раз избили за Дунюшку».

(В ночь под воскресенье одна женщина всех била камнями, кто шел к Дуне. И видит она над Дуниной келлией четыре огненных столба: два срослись, а два отдельные; это было на рассвете.)

Их привезли на могилу. Посадили ко крестам. Дуню и Дашу — у одного, Дашу другую так, а Марию тоже у креста, и сидели они все рядом.

Потом их стали расстреливать. Сначала хотел стрелять татарин, но бросил и сказал: «Нет, не буду, у меня руки не поднимаются». Его стали

принуждать, но он отказался. Другого поставили, и тот стал расстреливать. Два выстрела дали для страха, а на третий расстреляли первой Дуню; как ее убили, кверху пошла как бы чаша, кто видел, как просфора,— это видела Таня и еще много народу. А одна женщина видела, как в это время Дуня над своей келлией по воздуху пошла и это место благословила крестом и сказала: «Жалко, что здесь остается один золотой, ну пускай остается». И тогда женщина закричала: «Миленькая Дунюшка, как же мы теперь без тебя жить будем?»

Машу застрелили не до смерти. Ее прикалывали штыком. Потом с Дуни сняли чулки*, креста у Дуни не нашли, потому что он был у нее не на шее, а приколот к рубашке. Их хотели в могилу бросать, но один мужик, Василий Седнов, прыгнул в могилу и стал их принимать. Хоронили без гробов, с хожалок и юбки-то сняли. Василий покрыл им лица платочками, и стали их заваливать, а народ к могиле не подпускали. Василий говорил, что у Дуни были вериги.

Расстреляли их 5/18 августа 1919 года. В этот день все верующие ощущали благоухание от могилы. Потом солдаты ушли и поручили следить, чтобы на могилу не пришел священник и не отпел бы их. После этого стали видеть на могиле горящую свечу, а над келлией Дуни в двенадцать часов дня, вскоре после расстрела, солнце играло в саженях десяти от земли. Тут же, на ее могиле, в 1924 году Пелагея Гавриловская видела видение,

* Дочь женщины, сделавшей это, впоследствии заболела, не могла надеть никакой одежды; ее покрывали куском толя и так она лежала.

а перед этим блаженная Мария Ивановна говорила: «Ходите к Дуне на могилку чаще, там ангелы поют непрестанно». Эта женщина накануне памяти Дуни пришла к Поле и спрашивает, пойдут ли они служить панихиду с дьяконом на могилу. Поля сказала: «Сейчас собираемся и пойдем за дьяконом». Женщина зашла куда-то по делу и прошла прямо на могилу и видит: стоит дьякон в облачении, кадит и служит. Она думала, что все уже пришли, подошла ближе — и пропал дьякон, и нет никого на могиле; тут подошли и все с дьяконом.

Еще при жизни Дуне очень хотелось, чтобы принесли к ней в келлию Оранскую Царицу Небесную. Плачет, всех посылает: просите у иеромонаха Царицу Небесную; а иеромонах никак не дает. Так и не дал. И вот он видит видение, что Царица Небесная молится на воздухе над Дуниной келлией, и услыхал голос: проси у нее прощения. Он прислал тут же письмо Дуне и просил прощения.

Дьякон пузинский, имя ему Иона, поступивший по благословению Дуни в Оранский монастырь, смутился ее смертью и увидел видение, что к ее могиле текут тысячи людей, много архиереев и духовенства, и служат все на ее могиле.

Однажды Дуня послала Полю к о. Иоанну Ардатовскому и наказала, чтобы она у него попросила белый платок с гранеными краешками. Пришла она, а в это время женщина как раз принесла ему такой платок. Он закрылся этим платком и запел Вечную память. «Как это хорошо, праведные души в рай идут. Хорошо цветок расцвел, скоро и корень расцветет»,— говорит.

Через три года после Дуниной смерти Поля была у о. Иоанна Ардатовского и встала ночью помолиться за Дуню, а он вдруг сказал ей: «Ложись спать». Она за послушание легла и только закрыла глаза,— видит сон. Она увидела священника Выездновского Ивана Михайловича; принесли мантию, стали Дуню на постели одевать в мантию и постригать. Она говорит: «Я рада за тебя, Дуня, что ты ангельскую одежду надеваешь на себя». Дуня встала, подошла к порожку, поцеловала ее и сказала: «Христос Воскрес». Четки у нее голубые, крест серебряный, и сказала: «Больше обо мне не плачьте, я среди горнего Иерусалима у Престола Божия стою». Поля спросила про девушек, которых расстреляли с ней, она ответила: «Им хорошо, но только они не со мной». Поля спросила про Дашу, она ответила: «Около меня тоже будет девушка»,— но не велела об этом никому говорить, потому что она еще жива, а Поле сказала: «Молись, да Иисусову молитву в молчании твори».

Батюшка тут же подошел к Поле и говорит: «Сказывай, как ты Дуню видела». А она такой радости, как тогда, никогда еще не испытывала.

Один раз во время утреннего правила Дуня обмирала часа на три. Через четыре дня она сказала, что видела сон: «Кто у меня поет, все стоят с букетами в руках, и у всех розы, у кого белые, у кого розовые и даже голубые, у кого можжевельник, и у всех ветви, кто приходил ко мне; у Анны книга с золотыми буквами (она чтица хорошая была), а Поля с Дашей стоят около меня с сухими прутьями, они не молятся». Так она их смиряла.

Все девушки просили у Дуни что-нибудь после ее смерти, кто что из ее вещей, а Поля просила ее постель. «Я,— говорила,— сделаю футляр и поставлю ее туда, и будем к ней прикладываться». Илюша смеялся: «Мышиные хвостики будешь казать». Дуня заплакала: «Не тронь ее, Илюша, пусть она меня успокоит. Скажи, скажи, Поля, как ты сделаешь». Потому, наверное, Дуня и дала ее сестре горсть крошек с постели да елея, свеч и платков.

Как-то Поля к блаженной Марии Ивановне пришла, а она и говорит: «Моим именем Пузо три раза сгорит»,— и три раза в ладоши хлопнула. «Вон,— говорит,— Дунины тряпки горят, ее кровь догорает».

На третий день случился пожар, горела Бармина, которая грабила Дунино добро (и в осень три раза горело Пузово). И еще сказала про колодец: «Будет колодец до скончания века, все источники посохнут, а этот нет, и все из него будут пить». И ругала всех пузинских: «Предатели, на что Дуню предали, за то-то они наказаны Богом будут»; и начала говорить, что Дуня выйдет мощами, понесут ее четыре епископа, будет четыре гроба, и народу будут тысячи, и тогда все восплачут, и неверующие уверуют.

А о. Софроний так говорил: «Мы с тобой об келье-то не станем хлопотать и о часовне, а о храме похлопочем, на ее месте будет храм. Ты загороди пряслом место, где была ее келлия. Твоя келья будет в церковном корпусе, дверь из кельи будет в алтарь. Мы этих людей не ищем, Сама Царица Небесная этих людей пошлет. Тут будет четверо мощей, и Дуня будет мощами. Придут четыре

епископа, и будет народ, и больные будут исцеляться. Народ уверует в нее, и будут звонить во все колокола, и Дуня прославится очень далеко».

Потом Поля у о. Софрония стала просить благословения в монастырь: «Не благословляю я тебя коммунистам работать, надо кому-нибудь Богу работать». Тут приехали мужчина с женщиной, пузинские погорельцы, и говорят: «Батюшка, мы сгорели». А он им сказал: «Это только ваш хлам сгорел, а ваше тело не страдало, а как страдала ваша светильница от трехдневного побоя! Если бы вы за нее заступились, вы бы не сгорели. Все ее тряпки в Пузе выгорят, а место ее освятится после беззакония» (пожар был необыкновенный, горело все подряд, даже где не было строений, вода около ее келлии кипела, и горело, что в воду было брошено). Этим мужчине с женщиной он сказал: «У вас Дуня выйдет мощами, такая у вас радость будет в Пузе, нигде такой радости не будет, вы ходите на ее могилку, кто будет болен из вас».

В другой раз Поля пришла к о. Софронию, и батюшка начал ей говорить: «Ты Дуняшу видишь во сне?» Она говорит: «Только два раза видела». А он говорит: «Ты ее увидишь наяву. Ты к ней была близка?» — как будто не знает. «Близка».— «Ты видела, какие у ней ножки-то больные? Из них кровь текла, а она ходила и за то Бога благодарила». Поля говорит: «Нет, она не ходила». И с тех пор у нее ноги отнялись, и за ней ходили монахини из Дивеева и Понетаевки. Потом ее исцелила Дуня. Сказала: «Вставай, тебя Царица Небесная исцеляет»,— и взяла за ноги. Утром в этот день она еще пила с ложечки, а вечером

стала чистить самовар и вымыла полы. А лежала она с зимнего Николы и по ее день Ангела. «Иди,— говорит,— в Пузу, справляй день моего Ангела» (1 марта).

Дуня говорила: есть пост не в пост, и молитва не в молитву, и послушание не в послушание; если постишься, то и мягкий ржаной хлеб не ешь, и досыта не вкушай. Если ты день не ешь, а на другой день приготовишь себе хорошую пищу, такой пост Бог не примет. Если ты молишься для людей, чтобы тебя люди видели, а на душе у тебя этого нет, это не молитва. А послушание, если ты исполняешь его так, что тебе легко и подходно, это не послушание, а то послушание принято у Господа, которым Бог благословит.

Она говорила: человек спасения ищет, а спасение — человека. Друг к другу идут и друг друга не найдут. Она говорила: кто больного жалеет, тот крест должен нести.

Если нет скорби при подвиге и если тебя только все ублажают и чтут, не доходен подвиг твой ко Господу, если же подвиг ради Бога, то будет скорбь непременно, если враг побежден, он будет действовать через человека.

Очень велела охраняться тайноядения. Она так говорила: от него корень злобы вырастает, человек все равно что змею глотает, за непослушание Господь попускает болезни. Поля однажды на яблоко соблазнилась и его припасла; думает, воды принесу, самовар поставлю и поем, а Дуня уже велит его обратно положить. Поля плакала, просила дать, а она не дала. Прибавь, говорит, поста и молитвы, Господь будет всего посылать в изобилии, и не съесть тебе. Чем больше поста и молитвы, тем

больше Господь будет всего посылать. Когда ей Царицу Небесную принесли, тогда из разных губерний потек к ней народ. Девушки начали плакать: «Бог нам посылает столько милостыни, куда нам ее деть, нам все равно не даешь». А Дуня сказала: «Злитесь, на вашу злость Господь еще больше пошлет, если бы не на пользу, разве бы Царица Небесная послала мне всего столько?» В сенях было как склад: хлеб белый, рыба в коробках, мед, варенье — и все это раскрыто, и никто до этого не дотрагивался. А деньги по полу валялись и по ним ходили. Дядя Дунин по старости последнее время совсем не слезал с печи; попросит он пить, а они говорят: еще рано, а уже вечер; подадут ему хлебца — и ладно. Ему было видение, как солдаты потащат все в разные стороны.

Дуня поучала девство хранить. Это говорила она монастырским людям. Она тело свое не велела показывать и в баню не благословляла со всеми ходить, а холодной водой мыться. В пище советовала воздерживаться, руку не позволяла давать, кроме как под благословение подходить. На мужчин возбраняла смотреть, а смотреть вниз. По келлиям она тоже не разрешала ходить. Монах выйдет из келлии — в келлию войдет не такой. Чтить начальников надо монастырским людям. К службе наказывала ходить неопустительно, в нечистоте не позволяла ходить до шести дней. Плакала, кто стрижет волосы из монашествующих. За трапезой не разрешала говорить ни слова, и все везде и всегда ограждать крестным знамением поучала она монастырских людей. И одеваться, и обуваться, и спать ложиться — ограждать и окна,

и двери — это и мирским, и скотину ограждать вечером и утром. Не разрешала часто посещать женские монастыри монахам и наоборот. Строго запрещала переходить из обители в обитель. Какой Бог крест послал — терпи. Приходили к ней со слезами; от нее никто не уходил неутешенным. Дуня и материально монастырских поддерживала. Она особенно любила монастырских людей и духовенство. Я, говорит, их считаю как ангелов.

Дария Тимолина. Она стала жить у Дуни после Насти пузинской. Эту Настю Дуня взяла к себе за ее кротость, у нее была большая любовь и ревность к Дуне, и она дала обещание никогда Дуню не оскорблять и не раздражаться, к чему трудности жизни и ее собственные болезни подавали множество поводов. Настя была больной, а проживши несколько лет у Дуни, стала еще сильнее болеть. Насте Дуня говорила: «Отвыкай есть каравай, привыкай к кусочкам». Прожила она у Дуни пятнадцать лет; при ней еще начала ходить Дарья и ходила три года, а после смерти Насти о.Анатолий благословил Дарью жить у Дуни. Родители ее не пускали, они были неверующие; Дарья плакала, просилась к Дуне, а они ее силком просватали. Она убежала к Дуне, пришли родные, за волосы вытащили ее из Дуниной келлии и сильно били. В этот раз ее увели — она опять прибежала. Родные во второй раз просватали ее и насильно увели домой. Двадцать лет потом она не выходила из Дуниной келлии: ни в церковь, ни к родным (причащались они на дому).

Телесных искушений у нее не было, только сильно ее мучил сон, никак она не могла его

побороть и все плакала и посылала к о. Анатолию спросить: «Погибаю я, все сплю». Отец Анатолий сказал: «Спи, это подвиг такой, а то ты не сможешь больной служить». Дарья постница большая была, и не было у нее никаких соблазнов, а вот спать даже стоя могла. От Дуни все терпела. Та ее ругает, а она смеется. Родная ее сестра приходила к Дуне, и она им не давала потихоньку говорить, а заставляла говорить все въявь, открыто. Даже в женской немощи ее не отсылала от себя Дуня, а мылась она всегда после этого на дворе и зимой, и летом. И после этого Дуня ей не давала греться на печи. Дух у нее непрестанно горел к Богу.

Расстреляли ее сорока лет.

Дария Сиушинская. Непрестанно молилась Иисусовой молитвой. Когда еще в миру была, проходила каждый день Псалтирь всю без отдыха, стоя на ногах. Очень была смиренная. Жила у Дуни три года. Сорока лет расстреляна.

Мария. Дунина хожалка Мария прежде была замужем. Была больная три года, нога у нее болела. Лежала в больнице. Возле нее лежала старушка русская и призывала святителя Николая Чудотворца. А Мария была мордовка, услыхала и сама стала так призывать. Явился ей старичок и исцелил ей ножку. И обещалась она странствовать. Пришла из больницы к мужу — и забыла, что обещала. Ей опять явился святитель Николай Чудотворец и сказал: «Ты что, забыла свое обещание?» Она стала просить у мужа билет странствовать. Он ей не дает: «Ты не придешь».

Она говорит: «Я приду». Он ей выхлопотал и дал. И она пошла странствовать. Пришла в Саров, из Сарова пришла в Лихачи отдохнуть и стала ходить к Дуне. И пришла ей мысль — пойти к Дуне жить. Старичок явился, сказал: «Иди к Дуне жить». До Пасхи пожила — и ушла к одной женщине. Та говорит: «Ты что ушла?» Мария: «Голодно, я и ушла». Ночь пришла, он ей опять явился и говорит: «Зачем ты ушла, ступай». Три раза повторил: «Ступай, и ступай, и ступай». Она собралась, ушла к Дуне и уже не уходила.

Мария Дуне говорила: «У тебя подвиг, а ты терпи, ты уж лежи». Служила она Дуне семь лет. Мария была смиренная, как ребенок. У нее сильно болела нога, вся пятка отгнила. Она любила сладко поесть и воровала сладкое, и за это, может, страдала. Дуня скажет ей: «Маша, на что воруешь и ешь?» — «Хватит нам и лошадям, Дунюшка»,— та отвечает. «Развеселите меня»,— скажет Дуня. А Маша ей: «Начинай, Дунюшка» — она и развеселится.

Пошла она однажды в Саров, взяла потихоньку у Дуни денег, накупила конфет и орехов и всю дорогу кормила детей Варвары, Анну и Мишу, говоря: «Ешьте, ешьте, у нас Христос богатый, каждый день нам дает». Они вернулись к Дуне, она ребятишек и спрашивает: «Чем вас Машенька кормила?» — «Орехами, зернами, конфетами и белым хлебом».— «Ах мордовская воровка». А Маша говорит: «Плохо я их тебе накормила, чай, Варварушки нашей ты бы спросилась; я тебе молюсь, молюсь, а тебе все мало».— «Машенька, больше не воруй». А она: «Христос будет посылать, всегда буду воровать, а ты Ему

скажи, чтобы Он не посылал. Тебе это кто дал? Христос дал»,— и ни за что не скажет, где она взяла. Дуня скажет: «Ты мое взяла».— «Откуда ты знаешь, что твое, я Богу молюсь разве напрасно».

Когда стряпала, бухнет масла. «Зачем ты, Мария?» — «Чай, посытнее, люди сколько раз поели, а мы еще нет».

Ради Бога она ушла от своего мужа, которого любила, и своего имени никому не открывала, потому что муж ее очень любил и долго искал, и ни родные, ни муж не знали, где она.

В последний год Мария разболелась ногой и передвигалась с трудом, а Дуня ей не давала хлеба: хорошо воровала, теперь потерпи. Даша потихоньку давала, а Дуня провидела и посылала Полю следить. На смерть Мария пришла за час и была спокойна, хотя знала, что их убьют.

* * *

Приведем несколько случаев, свидетельствующих о прозорливости, благодатной целительной силе молитв преподобномученицы Евдокии, случаи, которые можно приводить без числа, так как и по сей день множество людей получают исцеления и благодатную помощь на ее могиле.

У одной благочестивой вдовы был сын, все ему хотелось уйти в монахи, два раза просился к Дуне, чтобы получить благословение в монастырь; она ему ни благословения не дала, ни самого его в келлию не пустила, а бабам сказала: «Пусть он не просится в монастырь, он все равно жить там не будет». А он и отвечал: «Что же это я, с такой верой иду, а потом и уйду?» А у него,

и правда, рвение было от юности. Он ушел в монахи и три года жил очень хорошо, примерный монах был, а затем ушел из монастыря и в Нижнем Новгороде стал коммунистом.

Бабы поначалу смущались, думали: «Вот так блаженная, неправду сказала»,— и только через три года узналось, что все было правдой.

Из деревни Куралово Аксинья была больна. Стала ходить к Дуне. Она дала ей хлеба, и Аксинья стала здорова, а до этого никакие врачи не помогали. Ее сноха Евдокия тоже была больна: отнялись ноги, полгода совсем не ходила, и врачи отказались от нее. Ее хозяин говорит: «Поезжай в Пузу, от притки* ворожи». Аксинья спрашивает ее: «Поедем в Пузу, к больной Дуне?» Она согласилась ехать, но от мужа украдкой. Они приехали к Дуне. Дуня и говорит ей: «Вы приехали к ворожее?» Они говорят: «Нет, мы, Дунюшка, к тебе». Дуня говорит: «Садись на стул». И дала ей две чашки чаю выпить, и сказала: «По вере вашей дастся вам». Привели больную под руки — из келлии вышла здорова, исцеление получила и больше не болела.

Село Верякуши, звали женщину Параскевой. У нее была внутренняя болезнь; ей нельзя было ржаной хлеб есть. Ела она немного белого хлеба, очень была больна. Она пришла к Дуне, Дуня расспросила про болезнь. Потом дала ей сухарь ржаной со своей постели. Прасковья сказала: «Дуня, мне нельзя ржаной сухарь есть». Дуня ответила: «Я сама больная, а ем ржаные сухари». Она съела — и здрава стала, и всякую пищу стала

* Народное название болезни, возникшей вследствие наговора, колдовства.

потреблять. Она была единственной дочерью у отца, а он был очень скупой. После исцеления он Дуниным хожалкам купил келлию и стал всем милостыню творить.

Две девушки села Верякуши, Наталия и Мария, пришли к Дуне и говорят: «Мы просфоры больше печь не будем, нам муки не дают, у нас только в кадушке. Где мы будем брать?» А Дуня говорит: «У вас не будет убывать, милость творите и Богу служите». И у них в кадушке мука не убывала. И стал их враг искушать: как до Дунина места дойдут, так у них ноги отнимаются, как топором тяпнут. И один раз не поняли этого искушения и воротились домой. Как воротились домой — и здравы стали. На праздник опять собрались. Как до этого места дошли, опять с ними так случилось, но все-таки они пришли к Дуне. И стали Дуне рассказывать. Дуня ответила: «Это враг наводит болезнь, ему не любо, что вы больного посещаете».

Пришла к Дуне одна женщина. Дуня велела ее пустить. Когда вошла она в келлию, Дуня стала ей говорить: «На тебе нет креста». А она говорит: «Есть». Дуня ей говорит, что нет, а она опять говорит: «Есть». Дуня заплакала и говорит, что нет креста. Потом и женщина заплакала и созналась, что, правда, нет, и стала просить у Дуни прощения. Дуня велела хожалкам дать ей крест.

Однажды один мужчина, Николай, пришел вечером и принес ей хлеб и стоял, пока пели стихиры. Дуня велела хожалкам взять хлеб. Потом после стихир велела обратно отдать: «Он тебе нужен». Он смиренно его взял и пошел домой. Ему встречается женщина среди ночи. Он спросил:

«Чего ты ходишь среди ночи?» Она сказала: «У меня сын пришел из солдат, болен, десять домов пробежала и нигде хлеба не нашла». Он ей отдал этот хлеб. Этот год был самым голодным, а женщина была очень бедна.

У сестры Елены была болезнь: ничего нельзя было есть, кроме пшена, а к пшену у нее было отвращение. Дуня дала Елене хлеб и сказала: «Отдай сестре, чтобы она ела и не брезговала». Елена отдала сестре хлеб, та съела — и выздоровела. Мать Еленина пришла к Дуне и говорит: «Дуня, Елена уезжает в Сибирь». Дуня ей говорит: «Не поедет, она ногу сломает». Так и случилось.

Муж с женой пришли помолиться к Дуне. Когда молились, среди пения, Дуня говорит: «Погодите петь, Никифор с Марфой уйдут домой». Они говорят: «Дуня, мы будем петь до конца». Дуня говорит: «Нет, вам надо идти домой». Они пошли домой, пришли, а у них теленок запутался в нацепку головой и едва не удавился. Еще бы пять минут и издох.

Пришли к Дуне из Кременок три женщины. Дуня хожалкам сказала: «Я их не пущу, мне жарко, скажите, чтобы они шли домой скорее, мне жарко». Вышли они из Пузово — загорелись Кременки.

У одной девушки Параскевы был хороший голос. Она ходила к Дуне на правило. И говорит: «Дуня, я ныне не приду». Дуня говорит: «Если не придешь, то тебя накажет Царица Небесная, голос пропадет». Она не послушалась — и наутро охрипла. Утром пришла к Дуне и говорит: «Дуня, прости меня, я совсем охрипла». Дуня дала ей



Преподобный Серафим Саровский
и всея России чудотворец.
Прижизненный портрет



Первоначальница
Серафимо-Дивеевского монастыря
монахиня Александра (Мельгунова)



Троицкий собор Дивеевской обители



Послушница София Булгакова —
будущая монахиня Серафима.
Дивеево, 1926 год

+

О Блаженной Марии Ивановне.
(Серафимы Дивеевской м-ра.)

О Блаженной Марии Ивановне я давно должна написать и никак не соберусь. Она далее меня во сне три дня укоряла, когда я вернулась после последней ссылки, в Дивеево я сблизилась с келейницей блаж. Прасковьи Ивановны. двух. матуш. Написала с ней со слов Пр. Ив. и много о ней, особенно в Москве, рассказывала. Вот и вижу во сне Мар. Иван. — она меня укоряет: „Все что все Праск. Ив., Праск. Иван!“ (а меня забываешь). При жизни блаж. Праск. Ив. меня привозили в монастырь не были 1-ю неделю в поста и не смели ее беспокоить, так я ее и не видела, а Мар. Иван. хорошо знала и до сих пор не написала, очень мало.

Вот я сначала напишу об Онисиме, т. к. они вместе связаны. Когда у Мар. Ив. [illegible] ночи еще [illegible] она ходила по монастырю [illegible].

Страница рукописи воспоминаний монахини Серафимы (Булгаковой)



Дивеевская блаженная Мария Ивановна



Схимонахиня Анатолия (Якубович)



Архиепископ Воронежский и Задонский
Петр (Зверев)



Схимонахиня Маргарита (Лахтионова).
Дивеево, 1996 год



Монахиня Таисия (Арцыбушева)



Монахиня Сергия (Комкова)
в день посвящения в игумении
Свято-Троицкого Дивеевского монастыря.
17 ноября 1991 года



Протоиерей Стефан Ляшевский



Митрополит Серафим (Чичагов)



Зоя Вениаминовна Пестова.
Углич, 1914 год



Сестры Дивеевской обители



Серафимо-Дивеевский монастырь и его окрестности. Карта-схема

сухарь со своей постели. Прасковья съела сухарь — и стала в этот же вечер петь стихиры.

Возвращаясь из церкви, она всегда заходила к Дуне. Однажды в праздник Дуня долго не давала ей есть. Хожалки вынесли ей в сени ватрушку, и она украдкой ее съела. Когда она вошла в келлию, Дуня сказала: «Прасковья, ты украдкой ватрушку съела, я теперь тебя оставлю ночевать, положу на полу, а захочешь пить, пей в лохани».

Пришла на Дунину могилку вдова по имени Анна. У нее были больные глаза. Она упала на могилку — и тут же глаза ее исцелились. Множество народа было свидетелем этого исцеления.

Из села Хозина пришли две девушки. Дуня их обличила, сказав: «Даша, скажи, как подружка подружку любит?»

Однажды пришел парень, она его обличила: «Зачем у матери украдкой молоко ешь?» Он отказался: «Я не ем». Она говорит: «А в погребе?» Он улыбнулся и сказал: «Кто тебе сказал?» — «А вон перед тобой кринка висит».— «Я только один раз — и забыл».

Из села Хозина шли пять женщин и одна девушка, несли яйца. Девушка сказала: «Давайте за труды возьмите по яйцу, а я два себе возьму за то, что несу». Пришли к Дуне. Дуня хожалке говорит: «Дай им по яйцу, Анне — два, Анна несла одна».

Пришли к Дуне один солдат и женщина. Дуня долго его не пускала, говоря: «Он идет не с хорошей думой». Женщина уговорила пустить. Только он вошел в келлию, Дуня стала ему говорить: «Выброс из головы все дурное. Твоя жена

очень умная и кроткая, ее зря поносят. А корову мать с сестрой продали, а говорят на нее». Сердце его охватило раскаяние, он заплакал и говорит: «А я шел убить ее».

Дуня велела напоить его чаем и накормить и благословила зайти к преподобному Серафиму в Саров и отслужить молебен.

В 1967 году Анна Силаева из села Бабина заболела болезнью мочевого пузыря. Болела восемь месяцев. Лечилась лекарствами, ходила и к знахаркам, но ничего не помогало. Взяла она тогда землицы с могилы Дуни, положила в воду, эту воду пила — и болезнь прошла.

В 1983 году на могилу к Дунечке вместе с певчими из села Бабина пришла Наталия О. Пели панихиду, просили Дунечкиных молитв. У Наталии уже несколько месяцев болела правая нога в колене. И когда они шли из Бабина в Пузово (это около семи километров), она особенно чувствовала свое нездоровье. Никогда прежде ей не приходилось обращаться с просьбой об исцелении на могилах праведников Божиих и она робела, не зная, как это сделать. А потом встала на колени у края могилы и попросила, чтобы Дунечка исцелила ей ногу. Потом прочли акафист Иверской Божией Матери и собрались в обратный путь. На полдороге она почувствовала, что идет легко, не прихрамывает, и нога не болит.





Схимонахиня Маргарита (Лахтионова)

«БУДЕТ ВАМ МОНАСТЫРЬ»

Многие годы после кончины преподобного Серафима сохранялся в Дивееве рассказ о том, как на праздник Рождества Богородицы батюшка Серафим сказал: «Придет время, и мои сиротки в Рождественские ворота, как горох, посыпятся».

— Какие же это ворота будут? — все спрашивали сестры.

В 1927 году, на наш престольный праздник — Рождество Богородицы, в два часа начиналась малая вечерня. Я в звонарях была. Подошла к двери на колокольне — меня хвать сверху!.. Красна шапка — милиционер! «Стой!» — не дает открывать.— «Как «стой»? Нам уже время!» — «Вам,— говорит,— время, а нам нет».

В недельный срок монастырь был закрыт.

И разлетелись мы кто куда. А дождик лил!.. Люди на нас и Господь на нас! Сестры вспомнили: «Батюшка Серафим, вот и «Рождественские ворота»! Власти нам предложили: можете оставаться, но только не надевайте монашескую одежду, будьте как все люди. И в мастерской, где работать, чтоб икон не было, а поставьте Ленина. На это никто не согласился. Был у нас тогда

тайно один архиерей. Он сказал: «Вот вас из монастыря выгонят, а монашество свое берегите».

Монастырь оказался за стенами обители, за Канавкой преподобного Серафима. Сестры расселились в округе, тайно собирались для службы, молитвенного правила не оставляли. Изредка странствующие священники, иеромонахи, а то и епископы служили по домам литургии. Так продолжалось десять лет, до 1937 года.

А в тридцать седьмом объявилась «тройка» — суд, судить нас. «Ходили в церковь?» — «Ходили».— «Значит, бродяги!» Давали кому по три годочка, кому по десяточке. Уже на пересылке один священник, тоже арестованный, смеялся: «Ну, батюшка Серафим целый этап монашек пригнал!» Была у нас, когда мы еще в Дивееве вокруг монастыря жили, блаженная — Мария Ивановна. Она при мне помирала, я за ней ухаживала. Тогда мы все у нее спрашивали: «Мамашенька, когда же обратно в монастырь?» — «Будет, будет вам монастырь, мы с матушкой казначеей (а матушка казначея к тому времени уже лет пять покойницей была) начнем вас в монастырь вызывать. Только называться вы будете не по именам, а по номерам. Вот тебя,— говорит,— Фрося, будут звать «триста тридцать восемь». Так и сказала: «Мы тебя позовем с казначеей: «Триста тридцать восемь!» Я это запомнила. А когда в тюрьму взяли, мне этот номер и дали. Вот тебе и монастырь! Охранники всякие были, были и хорошие. Везли нас в Ташкент в вагонах. Зима, а охранник наверху, холодно ему. Только поезд тронется, он нам стучит: «Запевайте «барыню». А какая «барыня»? Мы пели «Благослови, душе моя,

Господа», всенощную. А в Ташкенте уж другие нас встретили. Была «генеральная проверка». Там все поснимали. И когда сняли крестик, такое было чувство, будто перед тобой Сам Господь распятый... Как же без креста? Мы пряли на узбекских прялках, а в них вилки деревянные, чуть обрезать и крестик будет. Такие крестики мы и сделали. А когда пошли в баню, начальнику сразу доложили: монашки опять в крестиках. Но тут уж оставили нас, снимать не стали. Не знаю, как люди, а монашки так думали: все это Божие попущение — за грехи народа и пришло время потерпеть.

В лагере монастырь просуществовал до конца сороковых годов. Сроки заканчивались, и сестры постепенно снова собирались вокруг обители. Устраивались работать кто в колхозе, кто в Дивееве, который стал райцентром. Наступили хрущевские гонения. Собираться вместе для молитвы стало совсем опасно. Но Господь не оставлял: как раз в это время в городе жила последняя великая дивеевская блаженная Анна Бобкова.

Умирали старые монахини. На их место заступали новые. Молитвенная дивеевская жизнь все эти годы не прекращалась ни на день. В конце концов все вернулось на круги своя, к общине, подобной общинке первоначальницы матушки Александры: так же сестры, ищущие монашества, собираются в Дивееве для совместной подвижнической жизни. Кстати, сбылось еще одно из пророчеств преподобного Серафима о Дивееве. Он запрещал сестрам называть Казанскую церковь — ту, которая была еще при нем,— приходской, хотя и при жизни Преподобного, и до

самого закрытия в 1927 году эта церковь, в отличие от монастырских, была именно приходской. Батюшка говорил, что церковь эта будет монастырской, а мирская, тоже Казанская, будет в другом месте. Так и получилось. В 1988 году Дивеевский исполком выделил для строительства церкви дом прямо над источником Казанской Божией Матери. Новый храм освятили, конечно, в честь этой иконы 22 апреля, в Лазареву субботу, 1989 года. «Не хлопочите, и не доискивайтесь, и не просите монастыря,— говорил преподобный Серафим первым дивеевским сестрам,— придет время, без всяких хлопот прикажут вам быть монастырем, тогда не отказывайтесь». Так случилось и на этот раз. Председатель исполкома встретил на улице помощницу старосты и неожиданно сказал, чтобы община готовилась принимать монастырский Троицкий собор. Та прибежала к старосте и закричала с порога: «Катерина, храм отдали!»

В Дивееве сейчас две действующие церкви. 30 апреля 1990 года, на Похвалу Богородицы, при огромном стечении паломников со всей Руси архиепископом Нижегородским и Арзамасским Николаем был освящен Троицкий собор, а позже, в день преподобного Серафима, 1 августа, освящены приделы Серафимовский и иконы Божией Матери Умиление. Серафимо-Дивеевский монастырь возрождается.

1990





Моиахиня Таисия (Арцыбушева)

ЗАПИСКИ

Весиой 1924 года в Дивеево и Саров стали приезжать москвичи, да и из других городов знакомые, и моя свекровь многих принимала у себя. Знакомые посылали своих зиакомых, и дом у иас почти всегда был полои иародом. В тот год побывал у иас впервые о. Александр Гумановский, о. Филипп Чудовский и миогие другие. В конце мая приехал в Дивеево о. Владимир Богданов. Приезды гостей очеиь улучшали наш стол, так как из Москвы привозилось то, что в Дивееве достать было трудно: сахар, коифеты, пшеничная мука и т. д. Жить стало легче, и настроение улучшилось. Опять появилась духовиая забота, так как материальиая стала ие так остро чувствоваться.

О. Владимир Богданов остановился ие у иас, а в моиастыре у своих духовиых дочерей Галактиоиовых. Младшая из них, Екатерина Ивановна, была со мной в очень хороших отношениях и особеиио любила Алешу, которому в то время было четыре с половиной года. От Екатерины Ивановны и ее сестры моиахини Михаилы я много слышала

об о. Владимире, особенно о том, как он прекрасно исповедует.

У меня явилось желание поисповедаться у него. Подробной облегчительной исповеди у меня не было давно, грехов же накопилось много.

О. Владимир ответил мне, что уезжает в Саров, и если я тоже приеду туда, то он ничего не имеет против моей исповеди у него. Я с согласия моей свекрови отправилась в Саров. О. Владимир предложил мне пойти с ним гулять в лес, и во время прогулки я исповедалась. Исповедь была в форме беседы. Он не удовольствовался исповедью текущих грехов, а расспрашивал некоторые подробности за прошедшие годы. И я неожиданно вспомнила один грех, забытый мною, как в раздражении сказала Алеше, когда он был совсем маленьким, еще при жизни мужа: «Ах ты, проклятый мальчишка, успокоишься же ты наконец». Я забыла об этом грехе, когда приносила подробную исповедь, и вспомнила о нем случайно.

О. Владимир совершенно неожиданно для меня сказал мне, что этот грех он не может разрешить, так как его снять с меня может только соборование. Причем он прибавил, что не только я сама должна собороваться, но и дети, хотя оба были еще младенцы.

Соборовать нас о. Владимир отказался, а велел просить об этом о. Сергия Битюгова, который должен в непродолжительном времени быть в Дивееве. «Я его увижу в Москве и скажу ему,— сказал о. Владимир.— А вы, когда он приедет, напомните ему».

Очень я была поражена таким решением, но не спорила, наоборот, отнеслась очень серьезно к его словам и стала дожидаться о. Сергия.

Мы соборовались всей семьей. Перед соборованием о. Сергий велел мне у него исповедоваться, и на исповеди он мне сказал, что Патриарх, повидимому, вступает в общение с обновленцами и потому от его поминовения надо воздержаться, пока вопрос этот не выяснится. Ввиду того что в Дивеевском монастыре Патриарха поминают, о. Сергий велел мне воздержаться временно от причащения Святых Тайн, также и детей не причащать. Вопрос он поставил так, что раз я у него исповедуюсь и соборуюсь, то должна за послушание исполнить его совет. Он обещал дать знать о ходе событий, как только вернется в Москву.

Вскоре он уехал. Мне очень трудно было исполнить его требование незаметно. Весь монастырь знал, что я приобщать детей водила еженедельно. На исповеди я о. Сергию это говорила, но он просил меня потерпеть ради православия.

Нечего было делать, надо было исполнять и терпеть. А терпеть пришлось много. Произошло все это в конце июня, ряд праздников — Владимирской Божией Матери, Рождество Иоанна Предтечи — были в монастыре престольные. Толки среди дивеевских жительниц начались тотчас же. Все удивлялись, почему я перестала причащать детей. Помогла в этом моя свекровь. Думая сделать лучше, я ей передала слова о. Сергия. Я надеялась, что она поймет и согласится, что в данном случае я поступить иначе не могу. Но она не только не помогла мне, а, наоборот, рассказывала об этом всем. Она была возмущена, жаловалась на меня, укоряла меня, просила и тем удваивала трудность, которую я испытывала. Я считала, что послушанием я не погрешу, даже в случае

ошибки того, кто дал послушание. Непослушание же само по себе грех, н потому я решила терпеть.

Подошел праздннк святых апостолов Петра н Павла. К негодованню моей свекровн н в этот день я детей не причастила. В это же время у меня было еще тяжелое горе. Я получила известие о болезни брата Володи, а в самый день праздника телеграмму о его смерти. До сих пор я крепилась н не плакала, как тяжело мне ни было. Но получив телеграмму о смерти Володи, я дала волю слезам.

От отца Сергия ннкакого ответа о церковном деле не было. Отношення со свекровью все ухудшались. Наступали новые праздники: память преподобного Сергия н Казанской Божией Матерн. Я решила временно уехать нз Дивеева с детьми. В десяти верстах от нас жила знакомая семья священника, я переговорила с ними и просила меня принять погостить к себе, не объясняя причины.

Скрывая ото всех, я стала собирать н укладывать вещи и договорилась с возчнком. Уехать я хотела 5 или 6 июля. За день до назначенного дня отъезда, вечером, уложив детей спать, я со слезами стала молиться о том, чтобы Господь дал мне указание, что делать. «Господи, пошли мне кого-ннбудь для разрешення моего состояния. Ты все можешь. Еслн завтра до обеда Ты никого мне не пришлешь, то это будет означать, что мне надо уехать нз Дивеева, еслн же мне уезжать не надо, то завтра кто-ннбудь прнедет н прекратит мон мучення».

К нам все это время продолжали прнезжать гости, но пока нн один из них не привез мне разрешения мучающего меня вопроса. Моя свекровь

заводила со всеми разговор о церковных разногласиях, рассказывала всем, что я не причащаю детей, некоторые молчали, другие уговаривали меня, и все это было невыносимо тяжело.

На другой день после принятого мною решения ждать до обеда указания Божия я пошла в баню стирать белье, мне хотелось до вечера все успеть выстирать, высушить, чтобы не везти с собой ничего грязного. За мной пришли перед самым обедом. Я пришла домой и вышла в кухню за супом. И в эту минуту вошла к нам незнакомая мне особа с письмом к моей свекрови. В этот момент у меня из головы совершенно исчезло воспоминание о вчерашней молитве. Я взяла от нее письмо, приняла ее очень холодно и, не пригласив в комнаты, выслала к ней свекровь, сама же села обедать. Через минуту свекровь моя возвращается и говорит: «Опять гости. Это Наташа (ее племянница) пишет, просит принять ее духовного отца с двумя духовными дочерьми. Я откажу, довольно неприятностей в нашем доме. Я не в силах больше принимать всех». Как это ни странно, но и тут, узнав, что к нам приехало духовное лицо, которое, может быть, могло бы мне все разъяснить, то есть именно то лицо, о котором я накануне молилась, я все же не поняла этого. В душе я сочувствовала своей свекрови, так как большие приемы были мне уже в тягость, особенно ввиду всех моих переживаний.

Приезжая гостья продолжала просить принять их, и свекровь моя сдалась на ее просьбу и разрешила им прийти, но с условием, что им будет дан только приют, в услугах же она заранее отказала. Я была недовольна таким решением. Мне

хотелось, чтобы никого у нас не было посторонних, так как при гостях мне труднее было уехать незаметно. Приходилось отъезд отложить. Чтобы совершенно не участвовать в приеме гостей, я поспешила обратно к прерванной стирке.

Вспоминая все это сейчас, я удивляюсь, как в ту же минуту не поразила меня точность исполнения моей молитвы. Я просила прислать когонибудь до обеда, это было бы, как я просила, для меня знаком, что мне уезжать не надо. И даже не потрудилась узнать, кого Господь послал.

Часов в 8 вечера я вернулась домой. До меня днем дошли слухи в баню, что к нам приехал какой-то иеромонах с двумя духовными дочерьми, что свекровь моя уже хлопочет, чтобы их хорошенько принять, но почему она изменила свое намерение, я не знала и не особенно интересовалась, так как была очень усталая и недовольная. Я поужинала одна в кухне, не желая выходить к гостям, и собралась пройти в комнату к детям, уложить их спать, а затем лечь самой. В это время в кухню вошла свекровь моя со словами: «Ах, милая, если бы ты знала, как он красив, ты знаешь, что я не хотела его принимать. Ты слышала, как я резко приняла его духовную дочь, но она меня упросила, я согласилась с раздражением, а когда он пришел и сел и я поглядела на его измученное лицо — он мне показался до того похожим на Петечку, и я тут же про себя сказала: все тебе будет, все для тебя сама буду делать. Пожалуйста, выйди, Тасечка, познакомься, главное, погляди на него, как он красив».

Затем пришел в кухню мой свекор и тоже стал меня звать в столовую, говоря, что если я не выйду, то это будет неприлично с моей стороны.

Под его влиянием я решила выйти. Все же слова моей свекрови о красоте приезжего меня совершенно не заинтересовали. Наоборот, я, видя такой ее восторг, представила себе, что она уже ему все обо мне рассказала, нашла в нем себе союзника, и я внутренне приготовилась к новым неприятностям.

Выйдя с таким настроением, я, вероятно, имела вид очень неприятный, и воображаю, какое впечатление произвела на наших гостей. Приезжий оказался архимандрит Даниловского монастыря о. Серафим. Красота его меня не поразила, хотя, конечно, он был красив, особенно глаза с детским, чистым взглядом.

Я поздоровалась, села нарочно за самовар, не глядела на него и на вопросы отвечала неохотно.

Свекровь моя сказала, обращаясь ко мне: «А вот о. архимандрит говорит, что у них в монастыре поминают Патриарха».

«Ну, так и есть,— подумала я с досадой,— успели договориться». Вслух же я ничего ей не ответила, сделав вид, что не слышала ее слов.

Во время чая прибежала из монастыря недавно поступившая туда монашенка, специально, чтобы видеть о. Серафима (она его знала по Москве), и, уходя, сказала мне (я вышла ее проводить): «Это очень уважаемая личность, он очень известен в Москве». На это я с досадой подумала: «Все они уважаемые личности, а говорят все разное, которой же уважаемой личности верить?»

О. Серафим весь вечер упорно старался вызвать меня на разговор. В конце вечера, когда мои свекор и свекровь вышли из столовой, я проговорилась, что мне очень тяжело и я думаю уехать из Дивеева.

Только ночью у меня неожиданно явилось воспоминание о моей молитве и о том, что она в точности исполнилась. «Как я об этом сразу же не подумала,— удивлялась я.— Может быть, он и правда мне все объяснит, завтра непременно с ним поговорю и спрошу».

Утром к обедне я не ходила, гости же, вернувшись с моей свекровью из церкви, после чая собрались идти с нею по святым местам Дивеева.

Я улучила минуту, когда о. Серафим в ожидании своих спутниц остался один, подошла к нему и сказала, что мне очень надо с ним поговорить, но что дома у нас неудобно, а не может ли он встретиться со мной на кладбище у могилы моего мужа.

Он охотно согласился, и мы решили, что самое удобное время будет перед всенощной в 5 часов вечера.

Ровно в 5 часов я пришла на кладбище. Через несколько минут подошел ко мне о. Серафим и прямо спросил меня: «Что вас мучает?» — «Церковный вопрос, батюшка»,— ответила я и рассказала ему все мною пережитое за последние два месяца.

«Мы в Даниловском монастыре тоже очень мучились этим,— ответил он.— Три дня не поминали Святейшего, но потом все разъяснилось. Патриарх и не собирался вступать в общение с обновленцами, и мы, конечно, начали его снова поминать. Хорошо, что вас мучило это, я боялся, что что-нибудь другое, а в этом отношении совершенно успокойтесь и спокойно причаститесь сами и детей причастите».

У меня как гора свалилась с плеч, и я попросила его меня поисповедовать вечером. К великому

удивлению моей свекрови, на другой день я причастилась и причастила детей. Служил о. Серафим в церкви на кладбище.

С собой у о. Серафима была книга апостольских и канонических правил, по которой он мне много объяснял. То, что я оказала послушание о. Сергию Битюгову, он счел правильным.

Особенных подробностей о себе я ему не рассказывала, главное, говорила о переживаниях после исповеди у о. Сергия.

Моя свекровь, в высшей степени удивленная тем, что, по ее мнению, я так легко сдалась, решила, что личное обаяние о. Серафима подействовало на меня, и попыталась этим воспользоваться. Она тоже пошла исповедаться к о. Серафиму, причем рассказала ему о всех наших с ней разногласиях и в конце концов заставила его все это записать, чтобы повлиять на меня.

На следующий день о. Серафим попросил меня пойти с ним в сад и показал мне список моих обвинений.

Откровенно сказать, мне не очень приятно было его читать. Он стал уговаривать меня подчиниться моей свекрови, говорил о необходимости наладить наши отношения и спросил, не хочу ли я еще раз исповедоваться у него. Я согласилась, и вечером во время исповеди он предложил мне перейти под руководство к нему.

«С владыкой Николаем,— говорил он,— у вас общения почти не было, руководство же вам, вы сами понимаете, необходимо. Я беру на себя ответственность за вас перед Богом. По мере сил моих я буду вас поддерживать, помогать, но взамен требую полного откровения и послушания».

Вид у него был очень серьезный и даже суровый. «Необходимо полное отвержение от своей воли»,— несколько раз повторил он.

Я ответила, что должна подумать, соглашаюсь ли я на это.

«Если соглашаетесь, то напишите мне полную исповедь с семилетнего возраста,— сказал о. Серафим, — и завтра утром до литургии дайте мне ответ».

Я ушла к себе и здесь в продолжение нескольких часов испытывала громадную борьбу. Самоволие и самолюбие протестовали во мне сильно. Я чувствовала, что о. Серафим будет требовать полного подчинения свекрови, и из-за этого душа моя возмущалась, но, с другой стороны, мне было ясно, что продолжать так жить, как я жила, немыслимо. Я чувствовала, что без руководства я не спасаюсь, что что-то надо предпринимать, раз я вступила на путь духовной жизни. Я понимала, что мне предлагается путь, хотя и трудный, может быть жесткий, но истинный.

Внутренний голос твердил мне, что приезд о. Серафима был не простым, а точным ответом на мою молитву и что я должна на это обратить внимание и не уклоняться от Промысла Божия.

Результатом большой борьбы было то, что я решилась согласиться на предложение о. Серафима. Писать снова исповедь с семи лет мне не хотелось, мне казалось невозможным снова все вспомнить и снова испытывать стыд перед духовником, как я уже испытала в Ельце. Но о. Серафим сказал, что это необходимо. «Я должен о вас все знать»,— сказал он.

Пришлось снова писать полную исповедь. Исписала я уйму бумаги и, не перечитывая, отдала

ее о. Серафиму, который уходил в Саров. Исповедь мою он прочесть не успел, а взял ее с собой.

Ровно через неделю, 14 июля, пришла из Сарова его духовная дочь. Принесла мне от о. Серафима письмо, где он писал, что исповедь мою прочел, очень рад, что я так откровенно все написала, и звал меня в Саров.

Я ушла в Саров ко всенощной в тот же день. Вечером о. Серафим долго со мной говорил, прочитал мне разрешительную молитву, и наш союз духовный был закреплен. Во время этой исповеди я почувствовала громадную разницу между мирским священником и монахом-аскетом. Насколько в Ельце о. Владимир все выслушивал безучастно и снисходительно, настолько о. Серафим отнесся серьезно, внимательно, без всякого снисхождения и со многими указаниями. Соответственно этому и облегчение было неизмеримо больше.

Он скоро уехал в Москву, обязав меня писать ему ежедневное откровение и посылать его со случаями в Москву. Кроме того, дал правило пятисотницы.

С этого дня началась для меня новая жизнь.

Во-первых, я почувствовала над собою контроль. Теперь уже зря ничего делать было нельзя. Каждый поступок надо было записывать, и не только поступок, а каждое слово греховное, и анализировать мысли. Каждый вечер я должна была вспомнить проведенный день и записать грехи. Следствием этого явилось желание избегать всех лишних встреч, лишних разговоров.

Постепенно я так к этому привыкла, что откровение стало для меня насущной потребностью. О. Серафим на полях отвечал мне и возвращал

обратно запискн. В конце августа я поехала через Москву в Елец. После кончнны брата мне хотелось побывать на его могилке, видеть мамочку.

Когда я приехала в Москву, о. Серафим послал меня к о. Алексию, он считал необходимым, чтобы я получила от старца разрешенне и благословение на его руководство мною. Я поехала на другой день и была принята.

Я рассказала батюшке, как неудачно сложнлась для меня моя попытка получать руководство от владыки Николая, рассказала подробно о всех моих переживаниях, начиная с исповеди у о. Владнмира Богданова, о моей молнтве перед прнездом о. Серафима, его приезд, мой переход к нему, об ежедневном откровении, которое я ему посылаю, и в конце спросила: благословляет ли меня батюшка у него остаться.

О. Алексий с необыкновенным интересом слушал мой рассказ. Он сказал, что я была права, оказывая послушанне о. Сергию Бнтюгову, так как прн послушаннн ответ несет тот, кто дает послушанне, что приезд о. Серафима — это явная милость Божия, явное посланне Божие, и то, что я пользуюсь руководством о. Серафима, есть очевидная воля Божия. Батюшка благословил меня со словами: «Всю мою власть над тобою как духовный твой отец с шестнадцатилетнего возраста передаю о. Серафиму».

«А как же владыка Николай?» — спросила я.

«От него как высшей над нами иерархической власти тебе тоже надо получить на это благословение»,— ответил батюшка.

О. Серафим велел мне спросить у старца, как лучше руководить: строго или снисходнтельно.

Батюшка ответил: «Лучше строгость, но строгость умеренная, чтобы не довести до отчаяния».

С этими результатами вернулась я к о. Серафиму. Это было в августе 1924 года.

Побывав в Ельце недолго, я вернулась в Дивеево. До января жизнь текла обычным порядком. Я все время проводила в работе, занималась с детьми, писала откровения, посылала их со случаями и получала ответы.

С декабря 1924 года у меня начался опять процесс в легком. Температура по вечерам поднималась. Я очень похудела. Местный врач сказал, что, по его мнению, у меня серьезный процесс, и настойчиво советовал показаться специалисту. Слова врача взволновали мою свекровь, и она уговорила меня ехать в Москву.

Отношения мои с нею очень улучшились, так как меня заставлял о. Серафим ломать волю перед ней. Дело это было очень для меня трудное, и я справлялась с ним с трудом, но все же старалась.

Приехав в Москву после Крещения, я показалась врачам, которые назначили мне лечение и посоветовали пожить в Москве, чтобы быть под их наблюдением. Деньги на жизнь и на лечение прислала мне мамочка. Она продала свое котиковое пальто и поделилась со мной. Поселилась я у духовной дочери о. Серафима Софьи Михайловны (которая была с ним в Дивееве). Чтобы не обременять ее, я познакомилась со второй духовной дочерью о. Серафима Марусей Прозоровской, которая оказалась моей землячкой из Задонска. Так я и жила: неделю у Софьи Михайловны, неделю у Прозоровских.

В первые же дни моего пребывания в Москве о. Серафим послал меня к владыке Николаю, который незадолго до моего приезда вернулся в Москву.

Владыка Николай принял меня как родную дочь. Он был очень ласков, очень добр, заботлив. Полная противоположность обращению о. Серафима, который всегда принимал сухо и даже сурово. Я уже привыкла к такой его сухости, чувствовала от нее пользу и под внешней суровостью чувствовала заботу и любовь к душе своей. О его суровости я писала ему как-то в откровении, и на полях он ответил: «Да, но это суровость внешняя, а под этой суровостью — глубокое, глубокое желание спасения тебе». Я в это верила и чувствовала, потому его суровость не отталкивала, но все же прием Владыки, его ласка, забота, внимание невольно подчеркнули разницу между ними.

Я рассказала Владыке все подробно о себе. «Бедная моя детка, к кому ты все попадала»,— несколько раз повторил он во время моего рассказа. Когда я досказала ему об о. Серафиме и просила подтвердить благословение о. Алексия, Владыка ответил, что для этого должен с о. Серафимом познакомиться лично, и обещал в ближайшее воскресение побывать в Даниловском монастыре.

В этот день Владыка мне рассказал об одном случае из своей жизни, который имел влияние на укрепление в нем безусловной веры в загробную жизнь. После смерти отца-протоиерея в городе N мать их очень бедствовала, они терпели сильную материальную нужду. В самое трудное для них время мать получает денежное письмо. Письмо начиналось так: «Многоуважаемая Матушка.

Не знаю, правильно ли я пишу ваш адрес. Но сегодня ночью явился ко мне мой товарищ по семинарии — ваш покойный муж — и сказал мне: «Прошу тебя, помоги моей вдове с детьми, они очень бедствуют». И отчетливо произнес ваш адрес. В тот же миг я проснулся, записал услышанный адрес. Посылаю деньги...» «Этот случай,— сказал Владыка,— настолько врезался в мое сознание, что во всю жизнь ничто не могло поколебать во мне веру в загробную жизнь. Много мне пришлось слышать еретических и безбожных мнений, доказывающих, что никакой загробной жизни нет, но я уж с детства знал, что это ложь».

Ближайшее воскресенье совпадало с днем моего Ангела, 12 января. Владыка исполнил свое обещание, побывал в Даниловском монастыре. Я дожидалась его, он задержался, разговаривая с одним иеродьяконом. Мимо меня прошел о. Серафим, поздравил меня с днем Ангела и ничего больше не сказал.

Владыка же, проходя мимо, пригласил меня к себе. Когда я пришла, он не сразу высказал свое мнение. Видимо, он боялся меня огорчать, но наконец сказал, что о. Серафим ему не понравился, показался очень гордым.

«Я не запрещаю тебе пользоваться его руководством. Я нахожусь в таких условиях, что руководить тобою шаг за шагом, как это делает о. Серафим, я не могу, потому пользуйся им, но отдать тебя ему совсем я не хочу. Я оставляю за собою право отозвать тебя в любое время, когда ты мне понадобишься».

Другой раз он еще говорил так: «Его суровость мне непонятна, я считаю, что он не пони-

мает разннцу в натурах, в организмах. Он мерит всех по одной мерке. Он не поннмает, что есть органнзмы хрупкие, которые могут надломиться под напором».

«Я теперь понимаю, почему у тебя началась чахотка — от непосильных пережнваний. Разве можно так ломать человека сразу!».

Я передала о. Серафиму только то, что Владыка мне разрешает остаться у него под руководством, но отдает не совсем, то есть может меня отозвать. Все остальное я от о. Серафнма скрыла. Душа моя разрывалась между двумя. Приду к о. Серафнму, он как будто еще суровее, нсповедь принимал по-прежнему, но на вопросы отвечал очень скупо, н часто я читала на полях: «Не знаю, спросн это у Владыки».

Владыка принимал меня так ласково, так просто, что поневоле тянуло к нему. Он мне даже как-то сказал: «Еслн правила о. Серафнма тебе будут непосильны, не исполняй их. Даю тебе на это мое архиерейское разрешение, а ему не говорн об этом».

Я чувствовала внутренний разлад. Я выбилась из колеи, в которую вошла и за полгода привыкла. Уйти от о. Серафима мне было страшно. Я поннмала, что в Москве оставаться долго я не могу. Придется уехать. Писать Владыке нзо дня в день, как я писала о. Серафиму, я не могла бы. Редкне, короткие запискн от Владыкн не удовлетворяли бы меня после того, как от о. Серафима я получала ответ почти на каждую мысль.

Но с другой стороны, суровость о. Серафнма по сравненню с добротой н лаской Владыкн уже была заметнее. Невольно тянуло к ласке, вниманию, жалостн.

Несказанно тяготило меня и то, что я не была откровенна с о. Серафимом как всегда.

Недели три я была в таком состоянии и наконец решила ехать к о. Алексию.

Благословение на поездку я ни у кого не хотела просить, так как чувствовала в душе какое-то ожесточение от внутреннего разлада. Я пошла к литургии в Даниловский монастырь, и так как у меня было поручение к о. Серафиму от Софьи Михайловны, то после службы я поднялась наверх в корпус, где он жил. Он принимал нас иногда наверху в кухне. Я молча передала ему присланное и стала уходить. О. Серафим внимательно посмотрел на меня. «Что с тобой?» — спросил он. Я не смогла солгать ему. «Я еду к о. Алексию сейчас».— «Зачем?» — «Потому что я измучилась,— ответила я,— пусть о. Алексий решит окончательно, у кого из вас мне оставаться. Благословите меня». Он ничего не ответил, молча благословил меня, и я ушла.

О. Алексий в то время уже жил в Сергиеве Посаде, в маленьком беленьком домике. С ним жил и келейничал о. Макарий. Приехала я к батюшке в сумерках. О. Макарий надолго оставил меня в прихожей, перед комнатой батюшки. За дверью слышался разговор. По доносившимся до меня словам я понимала, что о. Макарий не хочет меня пускать, так как я слишком поздно приехала. Батюшка же отвечал, что он хорошо отдохнул днем. Так как о. Алексий слушался о. Макария, то я не знала, какое будет решение. Горела лампадка у маленькой иконки над дверью. Я стояла и молилась, чтобы Господь вразумил их меня допустить к батюшке.

Наконец о. Макарий вышел и сказал: «Ну иди, да только недолго, ишь как поздно приехала, разве так можно».

На этот раз я много поплакала. Сердце было слишком переполнено. Я рассказала ему все. Батюшка подробно, подробно расспрашивал о руководстве о. Серафима, интересовался каждым его указанием. В них главной нитью проходило отречение от своей воли, то, что Владыка называл ломкой. Я ничего не скрыла от батюшки — и мое раздвоенное состояние и тяготение к ласке Владыки, и о внешней суровости о. Серафима.

«Мое мнение и благословение,— сказал о. Алексий,— оставаться тебе у о. Серафима. От его руководства я вижу большую пользу. Польза же от владыки Николая сомнительна».

Это были буквальные слова батюшки. Уходя, я спросила, как сказать об этом Владыке. «На усмотрение о. Серафима,— ответил он,— если он найдет нужным, то пошлет тебя к Владыке или иначе как-нибудь сообщит».

Я вернулась с облегчением. Когда я все рассказала о. Серафиму, он велел мне самой пойти к Владыке и ему передать. Очень мне трудно было это исполнить, но я исполнила, смягчив несколько слова о. Алексия.

Владыка выслушал молча и, когда я кончила, быстро сказал: «Старец прав, старец прав».

С тех пор я его видала очень редко, раза два или три, не больше. Он уехал вскоре из Москвы и умер в апреле 1928 года.

Одна его духовная дочь, которая, так же как и я, ушла от него к о. Серафиму, передавала мне, что Владыка очень тепло отзывался обо мне

и жалел, что я ушла. «Как он вас любит,— говорила она,— как мать родная. Он велел вам передать, что если вам тяжело, то чтобы вернулись к нему, в любую минуту он примет вас обратно». Я не искала возвращения к Владыке. Я знала и чувствовала его доброе ко мне отношение, чисто материнскую любовь, но понимала, что он слишком снисходителен и что эта снисходительность была мне не полезна.

О. Серафим перестал меня посылать к владыке Николаю. Я ему открыла все то, что до сих пор скрывала, то есть о своем мучительном раздвоении между ним и Владыкой. Он выслушал все очень серьезно и сказал: «В этом утаивании и был весь корень твоих мучений. Надо открывать все до мельчайших подробностей, тогда никогда такой трудности не будешь переживать».

К этому времени относится обещание, данное мне о. Серафимом, не оставить в будущем моих детей. Я по его приказанию показалась еще одному врачу, который нашел мое состояние не улучшенным и высказал опасение, что может начаться скоротечная чахотка. Будучи под впечатлением его слов, я написала о. Серафиму просьбу после моей смерти не оставить детей. Тогда еще мой вопрос с владыкой Николаем не был разрешен, но у меня отчего-то больше желания было просить об этом о. Серафима. Он просто ответил мне: «Я обещаю тебе это».

Я уже писала о том, что частично во время моего двухмесячного пребывания в Москве я жила у Маруси Прозоровской. Она была старше меня лет на десять. Характер у нее был горячий, экзальтированный. Говорила она много, высказы-

вала самые свои сокровенные мысли. Она болела туберкулезом и считала себя на краю смерти.

Как-то раз, во время одного из наших с ней ночных разговоров, она мне сказала, что ее мечта — получить перед смертью постриг. Меня эта мысль поразила. Несмотря на то, что я несколько уже лет жила рядом с монастырем, мне и в голову не приходило, что можно получить постриг вне монастыря. Я даже не знала, каково значение пострига, думала, что необходима постепенность: сперва рясофор, затем мантия и наконец схима.

От Маруси Прозоровской я узнала, что постриг, подобно крещению, прощает все грехи мирской жизни; прочитав чин пострига, я подумала, что постриг ценно принять именно в молодых годах. «Какой смысл в старости давать обет целомудрия,— думала я.— Старики и без обета останутся целомудренными. На их целомудрие никто и не посягнет. Какая же это жертва ради Бога. В молодости же действительно чем-то жертвуешь, от чего-то отказываешься ради Господа».

Мысль эта очень заняла меня, но о. Серафиму я ее не открыла сразу. Вскоре после этого наступила масленица.

В среду в Даниловском монастыре была первая великопостная служба. Под впечатлением и разговоров с Прозоровской, и мнения врача, что мне грозит, может быть, скоротечная чахотка, отстояла я эту службу. Мне представлялось, что я скоро умру, что надо не терять времени, служить Господу. После службы подхожу к о. Серафиму и говорю: «Батюшка, у меня упорный помысел, что мне надо принять постриг». Он даже не удивился, а только спросил: «А как же

дети?» — «Дети не помешают».— «Я сам решить этого вопроса не могу,— ответил он,— поезжай к о. Алексию, что он скажет».— «Я так недавно у него была, он меня не примет,— сказала я.— Решите вы сами».— «Нет, не могу, этот вопрос слишком серьезный. Поезжай, если воля Божия на это есть, то ничто не помешает. Если не примет — значит, нет воли Божией. Только пусть о. Алексий сам откажет в приеме, если же о. Макарий, то старайся добиться».

На другой же день я поехала в Сергиев Посад. Приезжаю и встречаю суровый и непреклонный отказ от о. Макария. «Нет, нет, и не проси, ведь совсем недавно была, что за дела такие пошли, и докладывать старцу не буду, у него родные из Москвы. Уезжай, уезжай». Я ушла. Считать ли это указанием Божиим? Нет, это не о. Алексий отказал. Надо добиваться.

Мне пришло в голову пойти к наместнику Лавры о. Крониду, которого мы знали почти с детства. Он жил в двух верстах от Сергиева Посада в Черниговском скиту. Через час я сидела уже в приемной о. Кронида и ему рассказывала о своем деле. Все подробности о себе я не рассказывала, а лишь о болезни, страхе смерти, о желании принять постриг и о том, что о. Серафим хочет знать об этом решение о. Алексия. О. Кронид отнесся ко всему очень серьезно и сочувственно. Он успокоил меня, что батюшка меня непременно примет, что он сам пойдет хлопотать за меня перед о. Макарием и чтобы я пришла к пяти часам вечера к о. Алексию.

Ровно в 5 часов я пришла к дверям батюшкиного домика и от страха села на крылечке.

Я боялась постучаться. «Дождусь, когда о. Кронид выйдет»,— думала я.

Сидела я недолго. Открылась дверь, и я услышала ворчливый голос о. Макария, но уже с добродушным оттенком. «Ишь, непослушная, к наместнику пошла, нет чтобы Макария послушаться, надо наместника беспокоить. Ну уж иди, иди, нечего тут мерзнуть».

Я взошла в ту же прихожую. Слышу, что о. Кронид с батюшкой пьют чай и тихо о чем-то говорят. Слов я не слышала. О. Кронид вышел и сказал мне: «Идите к старцу, он вам все сам скажет». Батюшка, как обычно, лежал на своей кроватке. Через минуту вошел о. Макарий. «Убирай посуду,— сказал батюшка,— и уходи к хозяевам, она мне прислужит, если что понадобится».

«Ну, вот теперь можно спокойно поговорить»,— сказал он, когда я вернулась, закрыв за о. Макарием дверь.

Он сперва пытался меня отговорить. Говорил о трудности правила монашеского, о том, что накладывается на постриженного. Что, живя в миру, мне очень трудно будет не нарушить монашеского правила. Сперва я что-то отвечала, а после замолчала и плакала. Я почувствовала страх, так как увидела, что батюшка говорит о постриге в мантию, я же думала о рясофоре. Потом батюшка начал говорить о том, какое счастье в молодости послужить Господу, похвалил мое это желание и снова говорил, что это будет для меня трудно. «Ну, что же, батюшка,— сказала я,— значит, нет на это для меня воли Божией!»

Тогда батюшка решительно сказал: «Ну как уж Господь решит. Дай мне вон ту книгу»,— и он

указал мне на тоненькую книжку в переплете, лежащую на аналое. Я подала требуемую книжку и стояла молча, глядя на него. Батюшка быстро открыл книжку и стал читать про себя. Лицо его необычайно просияло. Он сел на кровати и сказал: «Подойди ко мне, я тебя благословлю на принятие монашеского пострига». Благословив, он прибавил: «Дай Бог тебе быть хорошей монахиней и хорошей матерью. Не оставляй детей». Я спросила у о. Алексия об имени монашеском, он ответил: «Это уж какое о. Серафим даст».

После, еще недолго поговорив со мной, он отпустил меня. Я поспела на вечерний поезд. По дороге я записала все слова батюшки и по приезде передала их о. Серафиму. На другой день о. Серафим подробно расспрашивал меня обо всем, с интересом слушал, но ничего определенного не сказал.

Через два дня начинался Великий пост. По разрешению о. Серафима я стояла все службы и постилась. И несмотря на это, здоровье мое заметно стало поправляться. Я перестала кашлять. Температура спустилась. На четвертой неделе Поста я показалась врачу, который сказал, что все явления в легких у меня затихли и я могу ехать домой, но с тем, чтобы там продолжать тот же режим. Я обещала, но не сказала ему, какой «режим» был у меня последний месяц.

О. Серафим, узнав о словах врача, очень был доволен и велел мне уезжать. «А как же постриг?» — спросила я, удивленная. Но он спокойно сказал: «О. Алексий поручил это дело мне, сейчас я не собираюсь тебе постриг давать. Если решу, то напишу тебе».

Я была огорчена, но, как всегда, от меня требовалось отсечение воли. Сейчас особенно. Я уехала с обычным благословением о. Серафима писать ежедневно. На этот раз он требовал это настойчивее.

Вернувшись в Дивеево, я продолжала прерванную жизнь с детьми, за мое отсутствие умер мой свекор. С детьми возни было меньше, они уже отболели всеми детскими болезнями и были этот год совершенно здоровы. Время незаметно прошло до лета. За это время у меня было лишь одно смущение. Приезжал к нам о. Александр Гумановский и, узнав, что я пишу откровение о. Серафиму, стал уверять, что для о. Серафима это неполезно и потому он бы советовал мне прекратить. Я в порядке откровения об этом о. Серафиму написала, он ответил, что не надо обращать внимания на то, что говорят, а что с о. Александром он переговорит по этому поводу.

В июне месяце, в самый праздник Владимирской Божией Матери, поздно вечером к нам приехала одна духовная дочь о. Серафима, она привезла мне мои записки, где на полях было написано: «Приезжай, постриг дам».

Я прочла эти слова поздно ночью и совсем заснуть уже не могла от волнения.

Перед этим за несколько дней мне пришлось быть у легочника-врача в сорока верстах от Дивеева с одной больной женщиной. Врач, Сперанский А. В., в свое время лечил моего мужа и поинтересовался моим здоровьем. Надо сказать, что результаты лечения в Москве к весне у меня сошли почти на нет. Я снова кашляла и температура опять поднималась. Выслушав меня, Сперанский

сказал: «У вас значительно процесс спустился, теперь уже не только верхушка легкого задета, но и под лопаткой. Надо вам опять лечиться». Но мне лечиться уже не хотелось. Я предавала себя в волю Божию, так как видела, что лечение помогает ненадолго.

Предстояла мне большая трудность. Достать монашескую одежду, но так, чтобы никто не догадался, что это для меня. В начале июля я поехала в Саров и там по дороге в ближнюю пустыньку у часовенки с иконой Божией Матери Владимирской молилась о помощи в этом деле. Вернувшись, я начала доставать одежду и все получила в неделю. Единственного человека я посвятила в это: Елену — келейницу блаженной Марии. Она мне все помогла достать, как будто для себя. Блаженная в то время меня хоронила. Она по ночам просыпалась и начинала петь по мне заупокойные молитвы. Об этом знали все, и так как я болела, то все были уверены, что я скоро умру, да я и сама так думала. Но Господь судил иначе. О. Серафим написал мне, что уезжает в отпуск, но к первому августа приедет, чтобы я к этому дню приезжала. На этот раз с трудом я отпросилась у своей свекрови. Она не хотела меня отпускать и отпустила с условием, что я скоро вернусь.

Приезжаю в Москву числа 3-го. Узнаю, что о. Серафима нет и есть слух, что он не вернется до сентября. Что делать? Если бы не условие, данное моей свекровью, я бы терпеливо ждала, но мне надо было возвращаться. Я так и решила, что уеду, так как к тому времени страх у меня к постригу возрос необыкновенно. Но все же я не решилась поступить самочинно и поехала

к о. Алексию. Он не разрешил мне уезжать, а надумал, что я могу от его имени обратиться к владыке Пахомию.

Я, вернувшись от батюшки, пошла к владыке Пахомию, который сказал, что по благословению батюшки он не отказывается, и пока велел мне у него исповедоваться. Назначил день. Мне очень не хотелось этого. Еле-еле пересилила себя, пошла, но по дороге все молилась, чтобы Господь отвел от этого. владыка Пахомий оказался занятым и отказал мне, и когда я пришла на другой день в Даниловский, то узнала, что о. Серафим приехал.

Я у него исповедалась и рассказала, что была у о. Алексия и что он ввиду отсутствия его велел обратиться к владыке Пахомию.

О. Серафим через несколько дней сказал мне, что раз о. Алексий назначил мне владыку Пахомия, то пусть владыка Пахомий и дает мне постриг. Как я ни умоляла, как я ни доказывала, что речь о владыке Пахомии зашла только из-за отсутствия о. Серафима, батюшка был неумолим. Я исповедовалась у него ежедневно, он много говорил со мной, но дня пострига пока не назначал. Один вечер я сказала ему, что у меня такой страх перед постригом, что я отказываюсь от него. «Как отказываешься? — гневно сказал о. Серафим.— Хотела, просила, получила благословение, а теперь отказываешься? Нет, добивалась и теперь неси». Потом он прибавил: «Завтра же иди к владыке Пахомию и проси его назначить день».

Все это было сказано так решительно, так сурово, что я не посмела ослушаться. Это было

20 августа. Владыка назначил на 22 число утром до литургии.

Накануне вечером после службы я подошла к о. Серафиму. Он не исповедовал меня в этот день, но немного поговорил. Меня поразило, что он был в этот вечер мягкий и даже ласковый. Благословляя меня, он встал и, глядя задумчиво на икону Божией Матери, сказал: «Не бойся, мы поручим тебя Царице Небесной».

Эти слова, сказанные так задушевно, так тепло, на всю жизнь остались у меня в памяти.

Постриг совершился утром 22 августа 1925 года в старом соборе Даниловского монастыря между ранней и поздней литургией. В храме, кроме владыки Пахомия, о. Серафима и меня, никого не было.

О. Серафим подводил меня и покрывал своей мантией, а владыка Пахомий постригал и сам пел.

Было что-то необыкновенно трогательное во всем этом. У о. Серафима на глазах я видела слезы. И у меня на душе было тихо и хорошо. После пострига оба благословили меня, и Владыка сказал мне слово в предостережение от прелести. Сейчас, спустя много лет, вспоминая и переживая вновь то время, я вижу во всем глубокий смысл. Тогда мне хотелось, чтобы постригал меня о. Серафим. Теперь же в том, что он меня подводил, я вижу особое значение. Он как бы вел к Богу душу, которой он руководил и довел до желания посвятить себя Господу.

Я пробыла в Москве до 11 сентября и ежедневно причащалась. 13-го ко всенощной под Воздвижение креста Господня я приехала в Дивеево. Настроение у меня было чудесное. Я полна

была желанием служить Богу и детей воспитывать для Него Единого. Мне казалось, что это совместимо вполне. Мне было определено правило. Жизнь около монастыря с новым чувством, с новыми внутренними обязанностями, о которых никто не должен был знать, казалась мне раем. Но не успела я провести так и двух дней, как получила телеграмму от сестры Кати, что у мамочки случился удар. Доктора считали, что больше десяти дней она не проживет. Сестра спешно меня вызывала. Я послала телеграмму о. Серафиму через Прозоровскую, спрашивая, что мне делать. Он ответил, чтобы я ехала. Я опять пустилась в путешествие. В Москве я была от поезда до поезда, так как торопилась в Елец. Маму застала в очень тяжелом положении. Кроме кровоизлияния, лишившего ее всей левой стороны, было и какое-то психическое расстройство. Она чувствовала руку и ногу с копытом. Перед ударом во сне она говорила с каким-то гадом, гнала его от себя, а он ответил: «Уйду, но не совсем». Ежедневно ей казалось, что она умирает. Сильные боли во всей отнятой стороне требовали ежедневно наркотических средств. Я провела около нее до 8 октября и наконец, отчаявшись в какой-либо возможности улучшения, стала ее уговаривать принять постриг. Мне казалось, что постриг снимет все грехи и ей сразу станет легче. О моем постриге она ничего не знала. К моему удивлению, она нисколько не удивилась моим словам, а просто сказала: «Я согласна, только надо получить благословение о. Алексия. Поезжай к нему и спроси».

Я 9-го отправилась в Москву. Приезжаю к о. Серафиму, рассказываю ему все. Он мне сказал,

что за последнее время о. Алексий перестал принимать, а если кого и примет, то делает вид, что не узнает. Пошел слух, что батюшка впал в детство. «Но ты не смущайся,— научил меня о. Серафим,— а скажи ему: «Батюшка, не притворяйтесь, у меня очень важное дело».

Так в точности и случилось. О. Алексий сделал вид, что видит меня в первый раз, но когда я повторила фразу о. Серафима, батюшка рассмеялся и спросил: «Кто тебя научил так сказать?»

Мы говорили с батюшкой долго и серьезно. Он расспрашивал обо мне, потом о маме. Сказал, что он совершенно не знает сейчас ее устроения и хотел бы кому-нибудь поручить это дело. Но кому, никак не мог придумать. Наконец остановился на о. Серафиме. Он велел мне просить о. Серафима съездить со мною в Елец и чтобы батюшка на месте решил, можно маму постригать или нет. «Всю мою власть над рабой Божией Анастасией передаю о. Серафиму»,— сказал батюшка.

В это мое свидание батюшка очень строго говорил о необходимости исполнения правила. Он сказал: «Монахиня, не исполняющая правило, не монахиня, а хабалка».

Как часто впоследствии я вспоминала батюшкины слова, укоряя себя.

Вернувшись в Даниловский монастырь, я получила согласие о. Серафима на поездку к маме тотчас же, но начальство его не сразу разрешило ему поехать. Только 18-го числа уехали мы с ним в Елец. Маму застали точно в таком же положении. То же умирание, то же ощущение копыт и наркотики.

В первый же день приезда о. Серафим ее исповедовал часа три. После мама говорила, что за всю жизнь никогда так не исповедовалась. Он причащал ее три дня подряд, соборовал и наконец 21-го, под праздник Казанской Царицы Небесной, постриг с именем Митрофания в честь св. Митрофания Воронежского. После праздника Казанской Божией Матери на праздник Скорбящей Царицы Небесной я ездила с о. Серафимом в Задонск, где он никогда не был. Вернувшись, он прожил у нас в Ельце еще несколько дней и вернулся в Москву один. Я же осталась ухаживать за больной. Сразу после пострига прошли у нее все психические явления. Прошло ощущение копыт, прошло умирание, прошли боли, так что наркотики все отменили, но паралич остался. Мама прожила после семь лет и скончалась тихо-тихо, жизнь ее последние два или три года была праведная и скончалась она необыкновенно светло. Таково было мнение всех живших с нею и за нею ухаживавших.

Я прожила в Ельце до Рождества, накануне сочельника я была уже в Дивееве. О. Серафим торопил меня к детям на этот праздник.

На святках я была с детьми в Сарове. Говела там и приобщалась у саровского духовника о. Гурия. Он понравился мне очень, но о постриге я ему ничего не говорила. Он был очень простой, малограмотный, и мне казалось, что он не одобрит пострига вне монастыря, и я не решилась ему сказать.

За то время, что я была в Ельце, я показалась всем елецким врачам, и они единогласно нашли у меня следы глубокого процесса под

лопаткой, но совершенно зарубцевавшегося. Не было сомнения для меня, что это было исцеление после пострига, так как в июне перед постригом процесс, по уверению специалиста Сперанского, был в разгаре. С тех пор все явления в легких у меня прошли. Рентген всегда показывает очаг плотного затемнения (старый процесс), который напоминает мне о явном чуде надо мной по милости Божией.

В конце января меня опять вызвали в Елец, но когда я доехала до Москвы, о. Серафим сказал мне, что он списался с моими, не могут ли они обойтись без меня. Он не хотел, чтобы я опять покидала детей. В день моего приезда он получил ответ от моей сестры, что я могу не ехать.

Он расспрашивал меня о том, где я говела, и, узнав, что в Сарове у о. Гурия, благословил продолжать у него говеть, но о постриге, соглашаясь со мной, говорить не велел.

Я уехала домой. Говела у о. Гурия, а о. Серафиму продолжала писать как обычно. В конце февраля я получила от него письмо, что он передает меня о. Гурию и велит мне прекратить посылать ему ежедневные исповеди, а все это отдавать о. Гурию. «Я тебя не отдаю совсем, а как директор поручает дела помощнику, так и я поручаю тебя о. Г. От времени до времени буду контролировать тебя,— писал он.— Что скажет тебе о. Г., то говорит тебе Бог...» Это было очень неожиданно для меня и трудно. О постриге говорить о. Гурию было нельзя, исповедоваться поэтому было трудно. Писать ему приходилось крупными буквами, мои обычные записи для него не годились. Но делать нечего, надо было отсекать свою волю.

В начале 1926 года заболел Алеша скарлатиной. Его взяли в монастырскую больницу вместе со мной. Через пять дней я заболела сама. К нам приставили сиделку, так как я болела очень сильно. Десять дней я была между жизнью и смертью. Врач считала мое положение очень тяжелым, но по милости Божией я осталась жива.

В день, когда мне особенно было плохо, мать игуменья Дивеевского монастыря разослала сказать по послушаниям, что я умираю и кто жалеет сирот, пусть помолится ночью 150 раз Богородице. На эту просьбу матушки откликнулся почти весь монастырь. Об этом я узнала уже после. Записываю это для детей, чтобы воспоминание их о дивеевских сестрах было с благодарностью.

Поправляться я стала быстро, но шелушение шло медленно, так что меня продержали в больнице больше двух месяцев. Алешу же выпустили раньше. От о. Серафима за время моей болезни я получила два письма. Отвечала я ему коротко, так как сама писать не могла, а диктовала письма через Екатерину Ивановну Галактионову, которая ежедневно подходила ко мне под окошко. От нее я узнавала все внешние новости. Между прочим узнала о том, что в Дивеево как бы на поселение приезжают два епископа: еп. Филипп и еп. Серафим (Звездинский). Я, сидя в своем невольном заточении, много читала духовных книг и без конца писала всякие мысленные грехи. Накопилась толстая тетрадь. О. Серафиму послать ее было нельзя, так как его не было в Москве. Он уехал в отпуск на три месяца. О. Гурию отдать ее тоже было нельзя, так как надо было бы все переписать крупными буквами. У меня на

это не хватило ни энергии, ни бумаги. Так я эту тетрадь и спрятала, но, привыкнув на каждую мысль получать разрешение, я чувствовала, как эта спрятанная тетрадь тяготит меня.

Домой я вернулась 4 июля. В этот же день приехали в Дивеево оба епископа, а к нам в дом прибыл гость — племянник некоего князя, фамилию его я не помню. Во время моей болезни хорошие знакомые Петиной матери приезжали с князем в Дивеево и останавливались у нас. А племянник уже по следам дядюшки к нам приехал позднее. Этот молодой человек особенное внимание уделил мне; проведя у нас несколько дней, он от меня не отходил. Вероятно, нужно было мне пройти это искушение. Сам он мне не нравился, но речи его были очень искусительны. По вечерам мы с ним сидели чуть ли не до утра, и он всегда начинал задушевные беседы, во время которых усиленно звал меня обратно в столицу, убеждал не погребать себя в провинции и т. д. К несчастью, его слова падали на благодарную почву. Я приняла помысел, что я слишком поспешно решилась на шаг, отрешавший меня от мира, что он прав: ради детей я должна переехать в столицу и жить иначе. Меня охватила тоска по миру, с одной стороны, с другой — ужас, что я мысленно нарушаю обеты. По привычке записывая откровение по вечерам, я подумала, что мне некому их исповедовать: о. Гурий о монашестве моем ничего не знал, о. Серафима не было в Москве. Мой искуситель ушел от нас в Саров, а через день пошла туда и я. Подсознательно у меня было желание его еще видеть и послушать лишний раз его речи. Не могу этого скрыть, так как такое мое состояние повлияло на перемену в моей жизни.

Исповедь у о. Гурия на этот раз ничего не дала, до сих пор у меня еще не было переживаний, связанных с постригом и данными обетами, поэтому я говорила о. Гурию все и получала облегчение, но на этот раз искушение было связано с мысленным нарушением обетов. Без этого не было в моем желании уехать особого греха, даже если бы я пожелала выйти замуж — это не могло считаться тяжким грехом для мирской, светской женщины, какой меня считал о. Гурий. Он так и ответил мне, что мое желание уехать вполне понятно в моем возрасте.

Я не виню его, ведь он же не знал о моем монашестве — что же другое он мог сказать?

Я вернулась из Сарова без облегчения, с жаждой подробного откровения. Но к кому идти? Я передана была о. Гурию. Без его разрешения я ни к кому не имела права идти на исповедь. Но под каким предлогом испрашивать на это разрешение о. Гурия? Мне помогло в этом случае состояние моего здоровья.

Скарлатина дала осложнение на сердце, у меня опухли ноги. Ссылаясь на это, я написала о. Гурию просьбу разрешить мне исповедоваться у одного из вновь прибывших епископов. Я называла сама владыку Филиппа, так как он был знаком с моей свекровью, знал покойного мужа и несколько раз уже у нас был. Мне казался он доступнее для меня. Мое письмо в Саров понесла Анна Григорьевна. Ответ она мне принесла накануне праздника Умиления Божией Матери, 27 июля. О. Гурий не сразу ответил на мое письмо, он его прочел, а за ответом велел ей прийти перед ее уходом из Сарова. Когда она пришла, он сказал:

«Передай ей: Бог благословит ее к владыке Серафиму».

Ответ о. Гурия очень был мне не по душе. За это время было уже несколько архиерейских служб в Дивееве, и владыка Серафим не произвел на меня никакого впечатления. Близко я его не знала, слышала, что он приехал с двумя духовными дочерьми. Я воображала себе трудность проникнуть к нему, так как мне говорили, что он никого не принимает. владыка Филипп мне нравился все больше и больше.

В день возвращения Анны Григорьевны из Сарова приехал к нам снова о. Александр Гумановский. Во время всенощной, глядя на служащего владыку Серафима, у меня все больше и больше являлось нежелание к нему идти и пришла мысль испытать еще раз волю Божию, переспросить у о. Александра Гумановского. «Он знает хорошо о. Серафима, он мне скажет, не обижу ли я его тем, что пойду к епископу Серафиму»,— думала я. У меня была тайная надежда, что о. Александр отговорит меня, я знала, что он уже был в хороших отношениях с о. Серафимом, и он сам сказал мне, что берет свои слова назад, насчет моего откровения о. Серафиму. У меня была даже мысль: лучше ни к кому не пойду, только не к этому Владыке. Подсознательное чувство было и то, что если я пойду к нему, то ему надо говорить все. Это не о. Гурий, которому душу можно открыть наполовину. Между тем по внешнему виду Владыки душа моя к нему не тянулась.

Я так и сделала, как хотела. Переспросила о. Александра. Он мне, не задумываясь, ответил, что, по его мнению, о. Серафим не только не

обидится, но будет очень рад. «Вам громадная польза будет от общения с Владыкой. Ведь это же исключительный человек. Я помогу вам в этом. Напишите письмо Владыке, попросите его вас принять, а я письмо передам и со своей стороны попрошу».

Слова о. Александра прекратили мое колебание. Я написала письмо, которое он передал Владыке 30 июля. Владыка не особенно охотно и лишь под влиянием просьбы о. Александра согласился и назначил мне прийти к нему 3 августа в понедельник к часу дня. 31-го о. Александр уезжал от нас и попросил меня сопутствовать ему по святым местам Дивеева, а также провести его в больницу монастыря, где он обещал побывать. По дороге мы издали увидали владыку Серафима. Он гулял около могил дивеевских блаженных. «Подойдите к нему,— попросила я,— познакомьте меня с ним, мне легче будет пойти к нему в понедельник».— «На обратном пути»,— ответил он.— «Он же уйдет».— «Не уйдет, я его перекрещу»,— и с этими словами о. Александр осенил издали Владыку крестным знамением: «Владыка святый, погуляй здесь до нашего возвращения».

Мы шли назад часа через два, так как о. Александр очень задержался в больнице; Владыка гулял на том же месте. «Вот видите, я вам говорил»,— торжествовал о. Александр. Мы подошли, и он представил меня Владыке. Тот благословил меня и молча на меня смотрел.

«Владыка,— сказала я,— вы мне назначили прийти в понедельник в час, а нельзя ли в 11 часов утра? В час дня у нас обед».

«Можно,— ответил он,— в 11 часов».

Он смотрел на меня пристально, как будто читал что-то в моей душе. Когда мы отошли, я подумала: «Да, если пойду к нему, то надо говорить все или ничего». В этот миг у меня что-то сжалось в сердце и вспомнился о. Серафим. «Имею ли я право так делать?» — подумала я. «Что скажет тебе о. Гурий — то говорит тебе Бог»,— вспомнились слова батюшки в письме. Этим я успокоила себя.

О. Александр уехал в этот же день. Я с детьми ходила его провожать далеко в поле. Он просил меня не колеблясь идти к Владыке.

«Вы не можете себе представить, какую пользу вы от него получите. Вы будете мне благодарны»,— говорил он.

«Не думаю»,— уныло ответила я, а про себя подумала: «Господи, если бы была надежда на скорое возвращение о. Серафима, ни к кому бы я не пошла». Незадолго перед этим я получила от о. Серафима письмо из Киева, где он писал, что заболел и задерживается, когда вернется, не знает.

«А я уверен, что будете очень благодарны»,— сказал о. Александр.

Он уехал, а я два дня мучилась внутренним разногласием. Бесчисленное количество раз я передумывала, то я решалась идти, то твердо решала, что не пойду. В воскресенье я была у обедни, издали видела Владыку, но к нему не подошла.

В понедельник всю литургию я промучилась от мыслей. Во время евхаристического канона я взмолилась о вразумлении свыше и неожиданно для себя помолилась так: «Царица Небесная, Ты видишь мое мучение, Ты видишь, что мне сейчас не у кого спросить. Поэтому молю Тебя, укажи

мне Сама. Я после обедни дождусь Владыку, если он мне переменит день или хотя бы час назначенный, то это будет для меня знаком того, что мне идти к нему не надо. Если не переменит, то значит Тебе угодно, чтобы я пошла к нему и говорила все». Эта молитва сразу успокоила меня, и после литургии я осталась дожидаться выхода Владыки. Он не служил в этот день, а молился в алтаре.

Скоро храм опустел, требы все кончились, церковницы успели подмести и прибрать собор, а Владыка все не выходил. Я дожидалась, но начинала волноваться. Было уже около десяти часов, к 11 часам мне надо было идти к Владыке, а перед этим необходимо было вернуться домой к детям, накормить их, отпустить гулять.

«Зачем я жду? — думала я.— Через час я все равно буду у него и узнаю, отменил он мой прием или нет, тогда и узнаю волю Божию». «Нет, дождись,— говорил мне внутренний голос,— ты сказала, что здесь дождешься».

Несколько раз я подходила к выходной двери с желанием уйти, но опять возвращалась к боковым дверям, через которые всегда выходил Владыка. Наконец он вышел, благословил подошедших к нему двух церковниц, потом с улыбкой подошел ко мне и произнес: «Не раздумали?» — «Нет, Владыка,— ответила я,— а вы?» — «Нет, не раздумал, в 11 часов я вас жду, ровно в 11 часов»,— подчеркнул он. «Что это? — мелькнуло у меня в голове.— Неужели он узнал мои мысли?»

В 11 часов я была у него. Он встретил меня серьезно, даже несколько сурово и с первых же слов стал отговаривать меня от исповеди ему.

Он сидел в кресле у стола, а я стояла рядом. «Я человек здесь случайный,— говорил он,— я могу не сегодня-завтра уехать. Какой будет для вас смысл от обращения ко мне?» Он говорил долго, наконец я сказала: «Ну что же, Владыка, прикажите мне уйти, тогда я уйду». Он быстро встал с кресла: «Грядущего ко мне не изжену вон,— произнес он с силой,— начинай исповедь».

Я исповедовалась полностью. Я рассказала все, что накопилось у меня на душе, всю мою внутреннюю борьбу последнего времени, с тоской о мире (о монашестве я ему сказала сразу), почему я чувствовала потребность в полной исповеди, о моем отношении к о. Серафиму и к о. Гурию. Рассказала и о внутреннем разногласии, идти ли к нему или нет. Когда я передавала ему об утреннем моем обращении к Царице Небесной с молитвой указать мне, идти ли мне к нему, Владыка прервал меня словами:

«И я тебе открою свои помыслы. Мне не хотелось тебя принимать. Сегодня, причастившись, я думал о тебе и тоже просил указания Божия и решил так: если ты меня дождешься в храме после литургии, то я тебя приму, приму без оглядки, а если ты не дождешься, а просто придешь к 11 часам ко мне, то я тебе откажу». И еще сказал: «Я сразу понял, когда первый раз тебя увидал с о. Александром, что ты монахиня, и если бы ты утаила от меня, то я бы спросил при разрешительной молитве, как твое монашеское имя».

«Отчего же вы узнали это?» — спросила я. Он улыбнулся и ничего не сказал. После он часто говорил мне: «Сегодня причащаться ты подходила в шляпе, громадной шляпе с пером, я не хотел

тебя причащать». Другой раз говорил: «Сегодня ты в мантии подходила, я на тебя радовался».

На следующий день, 4 августа, он служил в церкви на Дивеевском кладбище и я причастилась у него. Долго я испытывала внутреннее раздвоение. Первое время мне казалось, что я изменила о. Серафиму, что я неправильно поступила; я открывала эти мысли Владыке, и тот уверял меня, что от о. Серафима он меня не отнимает: «Придет время,— говорил он,— я посажу тебя в лодку, дам в руки два весла и отправлю к о. Серафиму». О. Серафиму я написала обо всем, и когда он вернулся из Киева, ему мое письмо передали. В конце августа я получила от него письмо: «Очень рад за тебя,— писал он,— что ты попала к владыке Серафиму. Это большой выигрыш для тебя. Владыка великий старец откровения. Будь с ним откровенна во всем. Земно кланяюсь Владыке и прошу за тебя».

Это письмо меня совершенно успокоило, и я начала ходить к Владыке безо всякого смущения.

Чем чаще я у него была, чем больше я слышала от него живых слов, тем сильнее я к нему привязывалась. В конце концов я почувствовала, что он стал для меня выше о. Серафима. Но как и тогда, когда было надо мною двоевластие о. Серафима и владыки Николая, я мучилась, так и теперь меня мучило сознание двоевластия надо мной. Вопреки совету Владыки, который говорил, что время все покажет, что не надо ставить точек над «и», я написала письмо духовной дочери о. Серафима Софье Михайловне. В нем я писала, что очень счастлива тем, что имею в лице Владыки, и лучшего не хочу, и сама от этого счастия не

уйду. Не знаю, показала ли она это письмо о. Серафиму. Как-то в это же время я получила письмо от другой его духовной дочери Елены. Она мне писала, что слух о моем уходе от о. Серафима проник в Даниловский и что, по ее мнению, на о. Серафима это произвело тяжелое впечатление. Но я продолжала молчать и ничего самому о. Серафиму не писала. Я ушла молчком и угрызений совести уже не чувствовала.

Мои записки не есть откровение помыслов, я просто записываю, как в духовном отношении шла моя жизнь. Оттого анализировать свои мысли и чувства, какие были в то время, не хочу. Думаю все же, что все, со мной случившееся, было не без Промысла Божия. Верно, так нужно было.

Владыка был в Дивеево ровно год и два месяца. Он мне разрешил бывать через день у него на домашней службе вечером. К литургии до 8 ноября он ходил в храм, а с 8 ноября ему дали отдельную церковь, где он ежедневно служил литургию почти уединенно. До февраля мне не было разрешено туда ходить, а с февраля 1927 года до дня его отъезда из Дивеева — 8 сентября того же года — я ходила к его литургии ежедневно. К семи часам утра у него уже кончалась служба. Когда я приходила домой, дети еще спали. Мне это было очень удобно.

По его благословению я приобщалась раз в неделю. Исповедовалась у него накануне. После вечерней службы у себя он оставлял меня почти каждый раз, а иногда днем разрешал прийти и тогда говорил со мной дольше. С того времени, как я стала ходить к его литургии, он принимал меня реже. «Литургия старца,— говорил он,— это океан

милости Божией. Все можно у Господа вымолить за этой литургией». После каждой литургии он говорил небольшое слово. Я очень подробно записывала их, но, к сожалению, тетради мои были сожжены. Осталась лишь тетрадь записей того, что он говорил мне на исповеди. Эту тетрадку вместе с записками оставляю, если Бог даст, Алеше.

Алеше в 1926 году в сентябре исполнилось семь лет. Первая его исповедь была у Владыки. Заодно с Алешей и Серафима он согласился исповедовать. В день Ангела Алеши, 5 октября, была и первая исповедь Алеши. Владыка подарил ему книжку жития св. Алексия с надписью: «Моему самому маленькому духовному сыну в день первой исповеди. Будь маленьким всегда на зло, расти большим на добро».

Из Дивеева Владыка переехал в город Меленки по Казанской железной дороге. Я была у него там несколько раз в период 1927–1930 годов. Последний раз я была у него 26 сентября 1930 года. С тех пор я его не видала, но переписывалась. Все три года я, хотя ездила к нему не очень часто, но писала ежедневные откровения и посылала ему со случаями, которые были, кроме моих поездок. Со мной были у него два раза дети.

13 декабря 1930 года я уехала из Дивеева и поселилась в городе Муроме. Оттуда я еще имела возможность переписываться с Владыкой, посылать ему исповеди, но сама у него уже не была. Один раз оттуда к нему ездил Серафим с моим поручением.

Владыка Серафим был сын единоверческого священника о. Иоанна. Мать его умерла, когда

он был совсем маленький. Отец воспитывал его очень строго и в благоговении к храму. Особенный трепет внушался ему к Божественной литургии и принятию Святых Тайн. Двадцати восьми лет он сильно болел и получил исцеление от изображения непрославленного еще тогда преподобного Серафима Саровского. Вскоре он поступил в монастырь. Кажется, в 27 лет получил постриг, 27 сентября (совпадение с днем рождения Алеши). В 1921 году получил архиерейство и назначение в Дмитров. Из Дмитрова был сослан в Зырянский край, оттуда в Аносовский женский монастырь, где пробыл год, а в 1926 году — в Дивеево.

Особое отношение было у Владыки к литургии. Служение литургии было для него основным делом всей жизни.

Он написал мне надпись на акафисте своего сочинения (Благодарение по принятию Святых Тайн). Там были слова «Для Божественной литургии и солнце светит, и луна и звезды тихий свет свой посылают, и земля дает плод свой — да будет Св. Агнец на престоле. Весь смысл жизни сей земной не в чем ином, как в постоянном приуготовлении себя к принятию Св. Тайн Христовых, молитвенном подвиге, воздержании, чистосердечном покаянии. В таковом приготовлении к Св. Тайнам и в самом причащении Св. Животворящих Тайн Христовых заключается весь смысл жизни христианина. Христианин должен причащаться наивозможно чаще».

В этом была основа его руководства: «Каждую минуту своей жизни помни, что ты готовишься к принятию Святых Тайн. Что бы ты ни делала,

делай с мыслию, что ты скоро будешь причащаться. Надо почувствовать себя черной тучей, чтобы озариться молнией Святого Причащения».

Владыка очень высоко ставил монашество. «Это святые стогны, политые потом, кровью и слезами преподобных»,— говорил он. Он не был против монашества в миру. Наоборот, он всячески укреплял, поддерживал, возбуждал ревность и желание служить Богу. «Ведь не правда ли,— говорил он мне,— мы с тобой за свое монашество с радостью отдадим жизнь». О старчестве он говорил как об особом даре Божием. Не каждый духовный отец является старцем для чад своих. Бывает так, что у духовного отца много чад духовных, а старцем он для одного-двух. Это дается Богом. «Я не умею объяснить, почему это так»,— говорил Владыка. «Ты хочешь познать эту тайну,— говорил он мне,— ты ходишь кругом да около старчества, но еще не проникла в эту тайну». «Когда ты получишь старца, ты будешь его чувствовать около себя всегда».

Другой раз он говорил мне: «Ты познаешь старчество, когда крест твой войдет в рамки терпения и смирения». Он учил, что кто искренно предает себя в послушание духовному отцу, тот каждое слово его считает словом Божиим. «Духовный отец по отношению к такому чаду ничего не делает и не говорит без внушения Божия». Подобное есть и у епископа Феофана в «Пути ко спасению»: «Руководитель дает всегда точное и верное руководство, как скоро руководимый предается ему всей душой и верою,— Сам Господь блюдет такого преданника». Владыка говорил, что в истинном отношении к отцу не может

быть ни зависти, ни ревности, ни обиды, так как все принимается как от руки Господа. Если есть что-либо подобное — значит, нет настоящего отношения.

Он говорил, что чем откровеннее духовное чадо с отцом, чем глубже открывает раны свои, тем ближе оно делает духовного отца. Подобно матери, для которой самое неудачное, убогое дитя дороже здоровых. «Никогда не стыдись открывать грехи,— говорил он,— чем безжалостнее будешь обличать себя, тем больше будет облегчение».

Несколько раз за те четыре года, что я была под руководством Владыки, он говорил мне, что за меня перед Богом будет отвечать не он, а о. Серафим. Я не придавала значения этим его словам. Я так внимательно записывала почти каждое его слово, а эти слова умышленно не писала, считая, что он шутит.

В предпоследний раз, когда я была у него в Меленках, он, задумчиво глядя на меня, сказал: «Ты отойдешь от меня... перейдешь к третьему Серафиму и с ним спасешься». Я не поняла тогда, что он хотел сказать, но переспросить не захотела. Тогда мне было больно от мысли, что я отойду от него.

Он любил говорить образами, торжественно, часто мистически, таинственно. Иногда необыкновенно сильно, иногда отечески, ласково. Иногда обличал и говорил: «Я навожу на тебя прожектор, чтобы ты видела, какая ты должна быть и какая есть». Иногда он поражал меня вопросом: «Что ты делала в таком-то часу, я слышал то и то»,— и так именно и было.

Однажды я забыла ему сказать один грех, он долго просил меня подумать, вспомнить, нет ли еще чего, затем встал, накрыл мою голову омофором и сказал: «Ну, повторяй за мной, прости меня Господи за...» — и назвал мой грех со всеми подробностями.

«Мне велено тебе сказать...» — часто говорил он, и от этих слов делалось жутко.

Раз он вышел после литургии из алтаря и, подойдя ко мне, сказал: «Мне велено тебе сказать, как она, которая причащается еженедельно, не находит в себе Божественной Росы для того, чтобы смочить порох, а наоборот, поджигает его подобно спичке. Взыщу и с пороха и со спички, но со спички больше» (это говорилось об отношениях с матерью Пети).

Другой раз вышел из алтаря с сияющим лицом и, подойдя ко мне, сказал: «Ликуй, Таисия, ликуй, пой Христос Воскресе, мне был голос о тебе, что ты спасешься!»

Он всегда говорил мне, что раз Господь, допустив мой постриг, оставил при мне детей, значит, и главное мое дело — воспитание их.

«Тебе даны две корзиночки, наполни их цветами любви к Богу, веры, христианского воспитания»,— говорил он.

Как-то раз я пришла к Владыке утром с обоими детьми. Он молча взял Алешу за руку и повел к себе в моленную, поставил перед иконами и начал облачать в полное монашеское одеяние. Дал в руки крест и зажженную свечу. Все это он делал с необыкновенно торжественным видом, соблюдая полное молчание. Алеша, в то время семилетний ребенок, стоял очень смирно.

Присутствовали при этом только я и Серафим. Детям казалось, что Владыка шутит с ними, Серафим попросил его: «И меня». Владыка ответил: «А тебя — нет». Я же почувствовала во всем этом, конечно, не шутку, а глубокое предсказание. На глазах у меня были слезы, которые я скрыть не могла. Другой раз Владыка велел Алеше принести ему ножницы и трижды отрезал ему волосы, потом наклонился и на ухо сказал: «А имя тебе будет... только не говори никому, даже маме». Алеша после сознался мне, что не расслышал. На исповеди Владыка мне сказал, объясняя предсказание блаженной Марии об Алеше, что он умрет на Пасху: «Неужели ты не понимаешь, что это значит... Алеша будет монахом...», потом еще прибавил одну фразу, но ее я не могу сказать. Он писал мне: «Следи за детьми, блюди их в строгости, ответ за них дашь, особенно за младшего».

Много он еще мне говорил, и его слова почти все уже исполнились. Я твердо уверена, что и то, что он предсказал об Алеше, сбудется. Потому прошу его не затруднять исполнение воли Божией над собой. Не срывать с себя руки Божией, избравшей его на служение Себе.

На важные вопросы Владыка иногда отвечал не сразу. Помолчит, а потом ответит, и уже решительно, как будто получил внутреннее указание. Эта решительность очень успокоительно действовала на душу. Много любви и заботы я видела от него. Он говорил: «Ты пришла ко мне с сердцем, и я отдаю тебе кусочки сердца моего с кровью».

Как-то раз в Меленках я была у Владыки, и он сказал мне: «Знаешь, я видел тебя. Вижу, будто подхожу я к воротам Царствия Небесного. У входа

стоит экспресс, почтовый поезд, автомобили, рысаки и среди них старая, белая кляча, запряженная в таратайку. Подивился я, иду дальше, вхожу и что же я вижу? Тебя, ты сидишь и облизываешься — видно, уже наелась. «Здравствуйте, Владыка»,— говоришь ты мне. А я тебе: «Как ты сюда попала?» А ты отвечаешь: «А вы видели, у ворот старая, белая кляча в таратайке стоит, так вот я на ней и приехала».

После я спросила Владыку: «Владыка, вот вы часто даете мне надежду, что я спасусь. Как же это будет, ведь я все время столько грешу? Неужели я изменюсь?» Он не сразу ответил, а долго молчал, глядя на меня. Потом сказал: «Ты спасешься покаянием... Грешить ты будешь до самой смерти... но покаяние тебя спасет».

Другой раз в Меленках он в полном облачении после службы сказал мне (при этом правая рука у него была на сердце): «Даю тебе слово, что перед смертью ты будешь причащаться каждый день. Я упросил Господа об этом для тебя. Поверь мне, это так будет. Я не знаю, как и где это будет, но это будет. Видишь, я говорю это тебе, облаченный в полное архиерейское облачение после литургии. В залог того, что я тебе говорю правду, вот тебе веточка» — и он вынес мне зеленую веточку из алтаря. (Веточку эту я сохранила, она лежит засушенная в тетради, где я записывала слова Владыки.)

Он заповедал мне молиться о материальных нуждах святому пророку Илье. «Молись просто и проси, что тебе нужно. Пророк Илья тебе подаст все, что тебе надо».

С 27 сентября 1930 года я его не видала. В ян-

варе 1931 года в Муроме я получила от него письмо, где он мне написал: «Я помолился за тебя: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пошли чаду моему монахине Таисии старца по сердцу ея. Ей, ей, буди». И на полях было написано: «Милостивый Господь пошлет тебе старца по сердцу твоему, который тебе все объяснит».





Монахиня Серафима (Осоргина)

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ В ЖИЗНИ МАТУШКИ ФАМАРИ

Хочется мне теперь вновь перенестись мыслями в Перхушково, в те далекие солнечные, морозные дни, которые я провела там, когда вся природа, весь лес вокруг дома застыли в ослепительном снежном сиянии, а ночью звезды, казавшиеся огромными, шевелились на темном небе, и от сильного мороза иногда раздавались как будто сильные удары в стены: это давали трещины бревна деревянных стен от замерзавшей в них влаги.

Переношусь мыслями в келлию матушки Фамари, когда я по утрам сидела у нее и слушала ее рассказы. Из этих рассказов я узнала, почему скит назывался Серафимо-Знаменским, узнала, какую роль играл в жизни матушки преподобный Серафим.

Постараюсь как можно точнее передать рассказы матушки.

После разговора с игуменией Бодбийского монастыря, когда матушка, тогда еще княжна Тамара Марджанова, высказала свое желание стать монахиней, игумения Ювеналия дала ей две

книжки: Авву Дорофея и краткое жизнеописание преподобного Серафима, тогда еще не прославленного. Это была первая «встреча» матушки с Саровским подвижником, он впервые овладел ее вниманием, вошел в ее сердце.

В 1903 году, когда в Сарове готовились к торжественному открытию мощей преподобного Серафима, матушка, тогда уже игуменья Бодбийского монастыря, посылая одну из своих монахинь со сбором для монастыря по разным городам России, поручила ей непременно быть в Сарове в день открытия мощей и привезти ей иконку, освященную на раке. Посланная монахиня была в Сарове и присутствовала на торжестве прославления преподобного Серафима, но когда она, скромная и смиренная, одна из последних среди огромной толпы богомольцев подошла приложиться к раке с мощами, все иконки были уже разобраны, и ей ничего не досталось. Почти все уже разошлись, а она все стояла перед ракой Преподобного и плакала оттого, что не исполнила поручения своей игумении. Из алтаря вышел монах, увидел плачущую монахиню и спросил ее, о чем она плачет. Поняв ее горе, он вынес из алтаря маленькую иконку преподобного Серафима, освятил ее на раке и передал ее для матушки.

С радостью вернулась сестра в Бодбийский монастырь и привезла иконку матушке. Это была простая деревянная икона с поясным изображением преподобного Серафима, размером приблизительно 12 x 15 сантиметров. Матушка хранила ее у себя в келлии.

Через некоторое время к матушке приехала в гости ее близкая родственница с мальчиком

лет шести-семи. Муж ее был известный хирург. Вскоре после приезда в моиастырь у мальчика случился острый приступ аппендицита. По мнеиию моиастырского доктора, иадо было немедлеиио делать операцию; боли были сильные, температура держалась высокая, иа животе появилась красиота. Послали телеграмму отцу, срочно вызывая его в Бодби. Матушка и раньше звала его приехать вместе с жеиой и сыиом, ио ои был очень занят и ие мог освободиться. Послав телеграмму, матушка сказала своей родствеииице: «Ну вот, мы сделали все, что могли в человеческом плане, теперь давай по нашему моиастырскому обычаю помолимся».

Призвали священника. Матушка приесла икоиу преподобного Серафима и положила иа грудь мальчику. Он был в бреду и метался. Отслужили молебен. Можио было себе представить, как молились матушка и мать ребенка,— жизиь его была в опасности. Во время молебна мальчик затих и спокойио заснул.

Вечером приехал отец и сразу прошел в комнату больного. Матушка с матерью оставались в соседией комиате. Через некоторое время отец-хирург вышел с расстроенным и недовольным лицом:

— Зачем вы меня вызывали телеграммой? Что вы, шутки шутите? Вы знаете, как я занят!

Жеиа бросилась к иему, ие понимая его слов, его недовольиого тоиа.

— Мальчик совершенно здоров,— объявил хирург.

Это была правда: температура упала, красиота на животе исчезла, не было никакой чувствительности в области аппендикса, ребенок был

совершенно здоров. Это было первое чудо, совершившееся от иконы преподобного Серафима.

Вскоре после этого произошло второе чудо исцеления. Заболела монахиня, мать регентша; у нее определили рак горла. Она уже почти не могла глотать, не могла говорить. Отслужили молебен перед иконой преподобного Серафима, и с этого момента монахиня почувствовала, что ей лучше. После молебна она проглотила кусочек просвиры со святой водой. Она начала поправляться и *совсем* выздоровела от своей страшной и, казалось, безнадежной болезни. Мать регентша просила матушку оставить у нее икону преподобного Серафима.

— Икона осталась у нее,— говорила матушка,— я еще как-то тогда не вполне сознавала, что это действительно чудотворная икона.

Помню живо, как матушка мне все это рассказывала, помню ее голос, помню, как она волновалась, рассказывая о третьем, самом поразительном чуде.

Была в монастыре послушница Ульяша. Послушанием ее было носить на монастырскую кухню дрова, которые были сложены в большом сарае в несколько сажен высоты. Один раз, когда Ульяша брала дрова, они посыпались на нее, и вдруг обрушилась вся дровяная стена, завалив горой несчастную Ульяшу. Когда ее наконец вытащили, она была без памяти. Вызвали доктора, который осмотрел ее. Она была совершенно искалечена, переломаны были руки, ноги, ребра, грудная клетка сдавлена, внутренние органы смещены,— но она была еще жива, сердце билось. Доктор сказал матушке, что Ульяша в таком

виде, что помочь ей, сделать что-нибудь нельзя. В общем, из слов доктора матушка поняла, что положение безнадежно.

Ульяша лежала в монастырской больнице, где доктор бывал ежедневно. Она так и не приходила в сознание, но продолжала дышать. Прошло два-три дня, а она все еще была жива, но страшно изменилась: лицо как-то скривилось и посинело. Доктор зашел к матушке после обхода больных и сказал, что, по его мнению, Ульяша этой ночью скончается: пульса уже почти не было, и доктор удивлялся живучести этого несчастного, раздавленного, исковерканного существа.

Вечером, после вечерних молитв, матушка позвала свою молодую послушницу Фиму и сказала ей:

— Доктор думает, что Ульяша скончается сегодня ночью. Я не хочу будить сестер ночью для панихиды, отслужим утром. А ты пойди сейчас к матери регентше, попроси ее дать икону преподобного Серафима, отнеси ее Ульяше, положи ей на грудь и положи поклон, чтобы Господь взял ее душу без страданий.

Фима ушла, матушка одна в своей келлии молилась.

— Вдруг,— рассказывает матушка,— слышу топот ног, кто-то бежит и прямо врывается ко мне в келлию. Это Фима, она задыхается, бросается ко мне:

— Матушка, матушка, Ульяша...

— Что, Ульяша скончалась? Я же тебе говорила, что мы не будем сестер будить!

— Нет, матушка, Ульяша... встала!

— Что-о?!

Матушка, как услыхала эти слова, в одну минуту была на дворе и сама почти бежала к больничному корпусу. Видно было, что невероятная весть уже разнеслась по монастырю; везде в окнах зажигался свет, сестры выбегали и спешили к больнице. А когда матушка бегом поднялась по ступенькам больничного крыльца и направилась в комнату больной, в дверях ее встретила сама Ульяша, крепко стоявшая на ногах и державшая в руках икону преподобного Серафима. Увидав матушку, Ульяша поставила икону на подоконник и сказала: «Матушка, акафист!» (это были первые слова, которые она произнесла) — и положила земной поклон перед иконой. Во время чтения акафиста собралось множество сестер, многие плакали. Невозможно передать радость и умиление всех при виде исцеленной Ульяши. Настроение было, как на Пасху.

Ульяша рассказала потом матушке все, что с ней было. Последнее, что она помнит, это как она пошла в сарай и страшный грохот свалившихся на нее дров. Потом сразу увидела себя в большом сосновом лесу. Надо сказать, что Ульяша, родившаяся и выросшая на Кавказе, никогда соснового леса, который ей привиделся, не видала. Она говорила, что шла по этому лесу и увидела перед собой согнутую фигуру старичка в белой ряске с палочкой, который уходил от нее. Она спешила, ей так хотелось догнать его, она побежала за ним и... встала, держа в руках икону с изображением этого самого старичка, преподобного Серафима.

А когда матушка стала расспрашивать Фиму, та рассказала, что она, по поручению матушки,

пошла к матери регентше, взяла у нее икону и понесла в больницу. Фима боялась одна войти к Ульяше — «она такая страшная лежала, лицо все синее» — и позвала с собой другую послушницу. Они вошли, положили икону на грудь умирающей, и вдруг им показалось, что Ульяша вздрогнула. С перепугу молоденькие сестры выскочили из комнаты и стали в щелку смотреть на Ульяшу. Они видели, как сперва тихонько, а потом все сильнее Ульяша начала дышать, а потом понемногу стала двигать руками и ногами, потом вдруг крепко взялась руками за лежавшую на ее груди икону, села на кровати, спустила ноги и встала... Тут Фима сломя голову помчалась к матушке.

На следующий день в обычный час приехал доктор. Матушка велела прямо провести его к ней и ничего ему не говорить. Когда он вошел, матушка сказала, что хочет вместе с ним пройти в больницу посмотреть Ульяшу.

— Как, неужели она еще не скончалась? — спросил доктор и прибавил, что он никогда не видал, чтобы так долго держалась жизнь в совершенно искалеченном теле.

Матушка ничего ему не сказала. Они вместе вошли в больницу и направились в комнату Ульяши. Сама Ульяша открыла им дверь и низко поклонилась доктору. Матушка говорила, что никогда не забудет его лица: он побледнел и невольно попятился. Когда она все рассказала ему по порядку, доктор хотел уйти и только как-то смущенно сказал:

— Ну что же, мне здесь больше делать нечего!

Но Ульяша сама остановила его:

— Доктор, меня исцелил Господь по молитвам преподобного Серафима, но вы старались мне помочь, когда я была без памяти. Я вам очень благодарна. А теперь очень прошу вас еще раз меня осмотреть.

Матушка тоже настаивала на этом, и доктор внимательно осмотрел Ульяшу. Он нашел, что она *совершенно* здорова, не было ни одного перелома, сердце, легкие, все внутренние органы работали нормально.

Матушка рассказала мне, что этот доктор раньше был неверующим человеком и что после чуда, совершившегося с Ульяшей, он пришел к вере.

С тех пор матушка никогда не расставалась с иконой преподобного Серафима.

Один раз, в последний год своего игуменства в Бодбийском монастыре, матушка ездила в Тифлис по делам монастыря с одной из сестер и послушницей. Вдруг на безлюдной дороге в горах на карету напала вооруженная толпа горцев, начали стрелять. Одна лошадь была убита, кучер ранен. Матушка держала обеими руками на своей груди икону преподобного Серафима. К счастью, в это время подоспел отряд казаков, который должен был эскортировать карету. Они появились как раз в тот момент, когда карета с одной убитой лошадью и тяжело раненным кучером стояла на дороге под обстрелом. Казакам скоро удалось прогнать горцев. Когда стрельба прекратилась, офицер, соскочив с лошади, подошел и открыл дверцу кареты, которая буквально была изрешечена пулями. Матушка сидела, держа икону преподобного Серафима. Не только она и ни одна

из сестер не были ранены, но даже одежды их нигде не были прострелены — а на полу кареты казачий офицер набрал целую пригоршню пуль. Так преподобный Серафим защитил матушку и спас ее.

Напомню, что, будучи настоятельницей Покровской общины в Москве, матушка очень сблизилась с Великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Когда у маленького наследника Алексея Николаевича открылась страшная болезнь, гемофилия, Великая княгиня Елизавета Феодоровна стала просить матушку послать ему чудотворную икону преподобного Серафима. Как ни трудно было матушке расставаться с этой иконой, но в таком случае она, конечно, не могла отказать и отдала икону Великой княгине для передачи Государыне Александре Феодоровне.

И никогда больше матушка этой иконы не видала! Она знала, что икона стояла у изголовья Наследника, но что сталось с ней, когда Царская Семья в 1917 году была арестована, никто не знал и никогда не узнал...

Это была совсем простая деревянная иконка, похожая на множество подобных икон, но матушка говорила: «Я бы ее из тысячи икон узнала!»

После первых чудес, сотворенных иконой на Кавказе, матушка вставила ее в узенькую серебряную рамочку.

* * *

Мысль создать новый скит явилась у матушки, когда она ездила в Саров и когда молилась перед иконой Знамения Божией Матери. Действительно, сама Божия Матерь внушила ей эту мысль, как бы

поручила ей создание скита. И вот почему матушка Фамарь так хотела создать скит, посвященный Богоматери и преподобному Серафиму.

Много, много чудес совершил еще преподобный Серафим в жизни матушки. Здесь я рассказала только о тех, самых выдающихся, которые мне запомнились по рассказам матушки.

И в Перхушково, уже после разрушения Серафимо-Знаменского скита, когда матушка жила с десятью сестрами под постоянной угрозой ареста, преподобный Серафим не оставлял ее своей заботой. Ничто не обеспечивало материально жизнь матушки с сестрами, но они жили не только не голодно, но помогали многим приезжавшим к ним. Бывали, конечно, и у них более трудные времена.

Раз зимой матушка сильно заболела. У нее был плеврит, она едва не умерла и страшно ослабела. Матушка была великая постница, ела обычно так мало, что можно было только удивляться, чем она жива. Так, например, обед ее состоял обычно из двух печеных картофелин или из одного печеного яблока. А тут, ослабев от болезни, ей вдруг захотелось подкрепиться, и она сказала, что съела бы рыбы. Где было взять свежую рыбу зимой в деревне, в то время когда и картофель с трудом доставали! Поехать в Москву за рыбой было невозможно — денег на это не было. Сестры ужасно горевали, что вот «матушке рыбы захотелось», а достать негде.

Днем две сестры пошли с ведрами за водой на речку. Они шли по узкой тропинке, протоптанной в снегу, и молились преподобному Серафиму: «Батюшка, преподобный Серафим, пошли рыбки нашей матушке».

9 Зак. 67336

Пришли они на речку и видят — в проруби две щуки в воде играют. Это совершенно необычайное явление зимой! Сестры побросали ведра и бросились бежать домой, так как нечем было выловить щук. Прибежали к батюшке, отцу Филарету. Он схватил сачок и поспешил с ними на речку. А щуки как бы дожидаются и все играют в проруби. Отец Филарет поймал сачком одну щуку, и как же были счастливы сестры, что сумели исполнить желание своей матушки!

Этот случай, да и вся жизнь матушки с сестрами напоминают мне рассказ из «Дивеевской летописи», где видно, как Божия Матерь и преподобный Серафим заботились о самых простых, ежедневных нуждах сестер. И в Перхушкове чувствовалось непрестанное реальное общение с небесным миром. Потому и настроение общее, вся атмосфера была всегда светлая и радостная, несмотря на исключительно трудные и тяжелые времена.

25 августа/7 сентября 1970 г.
Бюсси (Франция)



РАЗДЕЛ II

ПАЛОМНИКИ



Протоиерей Стефан Ляшевский

ДИВЕЕВ МОНАСТЫРЬ В МЯТЕЖНЫЕ ГОДЫ

Более полувека тому назад, в 1924 году, митрополит Петербургский Серафим (Чичагов) заповедал мне продолжить его знаменитую «Летопись». Я тогда был молод, все мне казалось возможным и я с радостью согласился. «Летопись» дивеевскую я уже знал хорошо, бывал в Дивеевском монастыре, много слышал от матушки игумении Александры, надеялся, что скоро гонения прекратятся и тогда можно будет свободно писать, но вдруг у меня мелькнула мысль: «А почему же Владыка митрополит сам не хочет ее продолжить?» Но Владыка, увидев на моем лице мгновенное недоумение, сказал: «Я не доживу до того времени». Действительно, годы шли, гонения только увеличивались и в 1937 году великий митрополит и священномученик закончил свою жизнь в страшном Лефортовском застенке, откуда никто тогда не выходил[1]. Но до его гибели в течение 14 лет я часто с ним встречался и он мне многое поведал с тем, чтобы я в свое время все это передал всем любящим Дивеев. И когда

я перед своим арестом и концлагерем прощался с моим наставником и благодетелем на праздник Богоявления в 1936 году в покоях Блаженнейшего митрополита Сергия, владыка Серафим плакал многими слезами, обнимая меня и целуя еще раз, при этом напомнил мне о его завещании и благословил на служение Церкви в будущем.

Владыка знал, что мы больше уже не увидимся, то же высказал и митрополит Сергий, повторив несколько раз: «Неужели мы больше никогда не увидимся здесь, на земле?». Через два месяца я был арестован с группой духовенства и епископов на юге России и начался мой крестный путь. Владыку Серафима арестовали в этот страшный 1936 год, и, просидев больше года, он был замучен в Лефортовском застенке. Но священномученическую кончину задолго до этого предсказал ему сам старец Серафим Саровский, в видении в Дивееве в 1902 году. Об этом Владыка сам мне рассказал в одной из наших бесед и думаю, что, по смирению своему, он только мне одному и поведал об этом видении: «По окончании Летописи,— сказал Владыка,— я сидел в своей комнатке в мезонине, в одном из дивеевских корпусов и радовался, что закончен наконец труднейший период подбора материалов книги по архивным записям современников преподобного Серафима. В этот момент в келлию вошел Преподобный — и я увидел его как живого. «Понимаешь,— обратился Владыка ко мне,— ни на одну секунду у меня не мелькнула мысль, что это видение, так все было просто и реально, но как же было велико мое удивление, когда батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал:

«Спасибо тебе за Летопись. Проси у меня все, что хочешь, за нее»,— с этими словами он подошел ко мне вплотную и положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю: «Батюшка дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только так всегда быть около вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим. Только тогда я сообразил, что это было видение. Радости моей не было конца»,— закончил Владыка.

Батюшка Серафим обещал исполнить всякую просьбу, значит, и то, что владыка Серафим будет всегда в Царстве Небесном на тех же высоких сферах вместе с ним.

Каким бы ни был владыка Серафим великим святителем, Божиим архиереем, но надо было еще дополнить чем-то таким, чтобы быть там, в Царстве Небесном, около преподобного Серафима,— и он пошел на подвиг священномученичества, чтобы со священномученическим венцом быть там около преподобного Серафима.

Не об этом ли велел передать преподобный Серафим через матушку Евпраксию, перед своей смертью: «Передай тому архимандриту Серафиму, который будет распорядителем во время моего прославления». На мой вопрос Владыке — что же именно, Владыка ответил: «Об этом буду знать только я».

Владыка Серафим застал в живых некоторых стариц, современниц преподобного Серафима, как, например, Ксению Васильевну, назначенную им церковницей Рождественских храмов, она же была ближайшей келейницей Великой госпожи дивеевской Елены Васильевны Мантуровой.

В Дивеевском архиве хранилось много записей современников: 60 рукописных и 17 печатных. Все это было Владыкой тщательно изучено и собрано воедино в его «Летописи», написанной за год до прославления преподобного Серафима.

Молитвами священномученика Серафима помоги мне, Господи, продолжить Летопись, по его завещанию мне.

1978 г. США

Торжества

Прежде чем приступить к продолжению Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря, хочу сказать коротко о том, что написано в «Летописи», изданной в 1903 году [второй раз], перед самым прославлением. Вся церковная Россия тогда ждала прославления преподобного Серафима, многие, многие. Сотни свидетельств об исцелениях, полученных людьми от батюшки Серафима, с запросами, когда же он будет причислен к лику святых, буквально стучались в Святейший Синод ускорить его канонизацию. Как ни бился совоспитанник благочестивейшего Государя, из знатного рода, Леонид Чичагов, накануне своего губернаторства оставивший все и принявший священный сан, доказывая, что Россия ждет такой канонизации,— решение о прославлении все откладывалось, пока Государь Николай II, ознакомившись с докладом протоиерея Чичагова, дал повеление: «Немедленно прославить!» Исполнилось предречение преподобного Серафима: «Того Царя, который меня прославит,— я прославлю». Об этом и я слышал десятки раз от дивеевских сестер, так как были

еще живы при написании «Летописи» монахини, современницы батюшки Серафима.

Священник Леонид Чичагов (впоследствии владыка Серафим) привел в «Летописи» множество свидетельств о чудесах Преподобного. И люди поняли, что старец Серафим — святой, что было ко времени.

Повеление Государя о прославлении старца Серафима не подлежало никакому промедлению, и началась грандиозная подготовка к торжествам. Прежде всего надо было обеспокоиться принять и обеспечить довольствием массы паломников. Владыка Серафим рассказывал мне: «Я знал, что со всей России прибудет колоссальное количество паломников, поэтому построил шесть четырехэтажных корпусов, конечно только для части паломников: духовенства, иночествующих и господ, потому что для всех невозможно было, ведь пришло и приехало на торжества прославления 300 тысяч паломников, которые расположились на всех свободных от леса участках вокруг монастыря».

Государь объявил, что он прибудет с Великими князьями. Три митрополита поспешили сообщить о своем присутствии на прославлении. Архиереев и духовенства притекло несчетное число. Государь на свои средства заказал неописуемой красоты сень над гробницей Преподобного. Четыре колонны, украшенные малахитом, яшмой, золотом, а рядом великолепные драгоценные лампады, все разные, именные; капители колонн сверху были украшены ликами. В общем, все украшено по-царски.

Подобного Саровским торжествам события в России не было. Когда начался крестный ход с мощами Преподобного вокруг храма, весь народ плакал от радости, видя, как все Великие князья во главе с Государем, во всей парадной форме, несли на своих плечах гроб великого Угодника Божия, а самый лучший в России церковный хор воспевал гимны в честь прославляемого святого.

При этом сколько произошло исцелений — счету нет. Опишу только одно из них, о котором мне рассказал наш иеродиакон, у самой раки. Подвели к ступенькам гробницы человека, согнутого в дугу, так что голова его была недалеко от колен. Воцарилась гробовая тишина. Взоры были устремлены на страдальца. И вот подвели его и поставили на первую ступеньку сени, и он начал выпрямляться, в гробовой тишине раздался треск костей позвоночника, и больной стал выпрямляться во весь свой рост. Ужас объял предстоящих, раздалось неудержимое рыдание, так потрясло чудо. Болящий наклонился к главе батюшки Серафима, приложился и самостоятельно пошел. Люди целовали его одежды, ведь человека коснулась благодать Всесвятого Духа, целящего его по молитвенному предстательству преподобного Серафима.

И начались бесконечные паломничества в Саров и Дивеев. Монахи, помнящие это торжество, рассказывали мне, что они трое суток не спали и спать не хотелось, такое было состояние духовной радости. В Дивееве спасалось более тысячи инокинь, игуменией в ту пору была незабвенная Мария Ушакова[2], украшенная четырьмя наперсными крестами, один — из Кабинета Его Вели-

чества. Дождавшись прославления батюшки Серафима, она вскоре отошла ко Господу, благословив на игуменство свою любимую келейницу и помощницу по управлению монастырем матушку Александру[3], про которую Феофан Затворник сказал, что «она — орел». Подлинно так! Орел поднебесный и по жизни и по управлению монастырем, поставленный Самой Царицей Небесной.

Чудотворный портрет матушки первоначальницы Александры

Вот что об этом портрете писал архимандрит Серафим, будучи сам прекрасным иконописцем: «Дивеевский собор украшался удивительной живописью собственной монастырской работы, нигде не встречаемой в других обителях во всей России. По молитвам преподобного Серафима Господь послал в Дивеевскую обитель нескольких сестер, между которыми в особенности отличалась и поныне стоит во главе Живописного корпуса мать Серафима. Ее кисть чрезвычайно нежна, дает настоящий свет и выражение ликам святых праведников и может быть всегда отличима от встречаемых других иконописных образов».

«В келлии матушки первоначальницы находился портрет ее, сходство с которым удостоверяла ее послушница Евдокия Мартыновна, и еще ее портрет, скопированный дивеевскими монахинями, замечательный тем, что как сестры обители, так и посторонние лица видели, как он по временам оживает, улыбается, глаза блестят или, наоборот, делаются суровыми, грозными, тускнеют. Этот портрет, по бывшим при нем исцелениям,

считается в обители чудотворным» («Летопись». С. 732). Так писал архимандрит Серафим. Могу засвидетельствовать и я, что этому портрету дана благодать «живого образа», к которому подводили нас, чтобы узнать, как надо встречать того или иного паломника.

Архимандрит Серафим писал, что нигде не встречаются такие «живые обрáза», а во время обновления икон в 1922–23 годах, как, например, в Таганроге, когда образ Спасителя в рост человека обновился и был настолько живым, что люди падали на колени, подходя к нему. Помню, упал на колени и я и простоял долго, и слезы лились безудержно — Спаситель стоял живой, каким он был в Святой Земле, воскрешая мертвых. Впечатления передать нельзя никакими словами — все земное не существует и вы чувствуете, что перед вами Творец мира, звездных миров, Господь всего сущего и на земле и на небе. Потом, когда сняли серебряную ризу с иконы, образ оставался прекрасным, но уже далеко не таким, каким был во время обновления. Вот оно, проявление законов неземных.

Таков и живой дивеевский образ преподобного Серафима в главном соборе, к которому вели семь ступенек. Он был в серебряной ризе, что не мешало облику Преподобного,— он был таким, какой батюшка Серафим теперь в Царствии Божием — непередаваемый. Кстати, когда я увидел этот образ в Муроме (Дивеев был под запретом), небесный образ Преподобного казался скорбным, под стать настроению сестер, живших уже в миру.

В один из моих приездов в Дивеев, в 1923 году,

мне привелось жить, по благословению матушки игумении Александры, в очень хорошем доме у Наталии Давидовны, рядом с домом М. В. Мантурова. Она же готовила и обед на всю приехавшую «братию». Каждое утро я шел к дорогим могилкам у Казанской церкви и часто заходил в незабываемую келлию матушки первоначальницы.

Войдя в келлию и поцеловав по обычаю матушкин портрет, раз встречаю начальницу этого корпуса монахиню Эмилию, она взволнованно говорит: «Ах, какие милые молодые супруги только что ушли отсюда, видно было — очень любят друг друга, но молодая госпожа была какая-то странная, похоже, одержима злым духом. Мы ее подвели к портрету матушки, она поцеловала и, закричав, стала падать. Подхватив, отнесли ее на матушкину лежанку около печки, там она затихла, как бы уснула. Пролежав некоторое время, поднялась и стала совершенно здоровой, бодрой, радостной. Сказала: «Теперь все прошло!» Да это и видно было, и они начали от радости неудержимо плакать и рыдать, благодаря матушку Александру за исцеление. Плакала и я с ними,— продолжала матушка Эмилия, — говорю им: «Теперь идите, будете читать в знак благодарности житие матушки». Оно было короткое, в синем бархатном переплете с золотым крестом. Не могли дочитать до конца, хотя и читали попеременно, слезы душили их. Воистину портрет этот матушкин был чудотворным.

Царь в Дивееве

Подробности этого посещения Дивеева рассказала мне матушка игумения Александра. Во

время пребывания Их Величеств в Дивееве, при осмотре величественного собора и высказанного ими одобрения всего виденного, сестрами были пропеты тропарь и кондак преподобному Серафиму на чудеснейший дивеевский распев, композиции монахини Веры Чичаговой, управлявшей дивеевским хором из 40 инокинь. А он отличался поразительной гармоничностью, в нем совершенно не было слышно отдельных голосов. Игумения, будучи знатоком церковных композиций, восхищалась дивеевскими распевами больше других — киевским, знаменным и т. д. Она подходила к хору, который на некоторые песнопения выходил к самому амвону, и пыталась услышать отдельные голоса, но не могла — их не было слышно. «Это ангельское пение»,— сказала игумения. Дивеевское пение наложило отпечаток и на матушкино церковно-певческое творчество.

Весьма понравилась Их Величествам дивеевская церковная живопись и иконопись — собор был расписан сестрами во главе с начальницей иконописной мастерской. Государь, создатель Комитета церковной живописи, ценил ведь не только академическую иконопись.

Дивеевский главный собор — Свято-Троицкий, правый придел в честь иконы Царицы Небесной Умиление, а левый, после прославления преподобного Серафима, был посвящен новоявленному угоднику Божию.

Во время прославления в Дивееве жила знаменитая на всю Россию Христа ради юродивая блаженная Паша Саровская, которую очень почитал архимандрит Серафим. Государь был осведомлен о Паше Саровской. Когда его экипаж

подъехал к келлии блаженной Паши, оттуда вынесли все стулья, на полу был расстелен ковер. Их Величества, князья н митрополиты едва смогли войти в келлию. Параскева Ивановна сидела на кровати. Посмотрев на Государя, она сказала: «Пусть только Царь с Царицей останутся». Государь извиняюще посмотрел на остальных, попросил оставить его и Государыню однн, видимо, предстоял серьезный разговор. Все вышли н сели в свои экипажи, ожидая выхода Их Величеств. Матушка игумения выходила из келлии последняя, но послушница осталась. Вдруг игумения слышит, как Параскева Ивановна, обращаясь к Царям, сказала: «Садитесь». Государь оглянулся и, увидев, что негде сесть,— смутился, а Блаженная свое: «Садитесь на пол». Вспомннм, что Государь был арестован на станции Дно! В великом смирении Государь и Государыня опустились на ковер, иначе бы не устояли от ужаса, который им преподнесла Параскева Ивановна. Она им сказала все, что потом исполнилось: гибель России, Династии, разгром Церкви и море крови. Беседа продолжалась долго, Их Величества ужасались, Государыня была близка к обмороку. Наконец она сказала: «Я вам не верю, этого не может быть!» Происходила встреча за год до рождения Наследника, которого так хотела Царская Чета. Параскева Ивановна достала с кровати кусок красной материи и говорит Государыне: «Это твоему сынишке на штанишки. Когда он родится — поверишь тому, о чем я говорила».

С того момента Государь начал считать себя обреченным на крестные муки, и позже говорил не раз: «Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти Россию».

Не об этом ли самом и предупреждал отец Иоанн Кронштадтский. Он буквально не говорил, а кричал: «Вы не можете себе представить, что грядет на Россию!»

В Дивееве мы еще застали в живых казначею матушку Людмилу. Она нам сказала: «В катастрофе, происшедшей в России, виновны все: от Царя до последнего нищего!» Все сословия вели себя безрассудно, несмотря на многие предупреждения.

Жизнь монастыря до революции

Как ни величественны были годы начала XX столетия для расцвета благосостояния России, внешнего устроения Серафимо-Дивеевского монастыря, глубоко внутри страны таились злые силы атеизма, разнузданности, царило полное непонимание обществом назреваемых революционных событий. Что называется, ели, пили, веселились без меры, пока не разразилась страшная катастрофа.

И лишь благословенный Дивеев молча стоял перед своим большим Распятием на фоне черного сукна запрестольной стены в алтаре главного собора, чего не было нигде. Здесь как бы предчувствовали общую Голгофу всей России. Батюшка Серафим говорил своим дивеевским сиротам: «Страшное время идет на Россию,— я молил Господа отвести эту страшную беду, но Господь не услышал убогого Серафима». В записках князя Путятина, человека, очень близкого Дивееву, сохранилась запись о том, что, когда Н. А. Мотовилов спросил батюшку Серафима: «Когда же будет самое

страшное время?», — он ответил: «Немного позже чем через сто лет после моей смерти».

«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» огромна по своему содержанию, на ее 850 страницах архимандрит Серафим собрал все: житие преподобного Серафима, события, начиная с жизнеустроения обители первоначальницей Александрой, замечательные начертания житий будущих святых дивеевских: схимонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой. Вошли в «Летопись» бесчисленные чудеса по молитвам преподобного Серафима, дивеевских блаженных, Христа ради юродивых — Пелагеи Ивановны, Параскевы Ивановны и Наталии Ивановны. Приведены письма митрополита Филарета, защищавшего Дивеев от происков Ивана Тихонова, много другого интересного материала. Это ведь не просто история монастыря, а история Четвертого удела Царицы Небесной.

Много в «Летописи» прекрасного, но и много скорбного, подвижнического.

Сестры монастыря при жизни батюшки Серафима терпели всякие притеснения как от саровских настоятелей, так и от лжеученика Серафимова Ивана Тихонова, от бедности монастыря, от нижегородского епархиального архиерея Нектария и многое другое. Конечно, монашеская жизнь не сладкая, а уж после смерти батюшки Серафима его дивеевские последовательницы стали полными сиротами. Только в настоятельство игумении Марии Ушаковой и стал Дивеев монастырь полным мира и радости для его насельниц. Ее преемнице, матушке Александре, выпала горестная доля после революции, при ней закрыли

монастырь в 1927 году, и Дивеев «ушел в мир» под ее водительством, и во многом благодаря ей продолжал существовать.

Страшные испытания и подвиги сестер во время революции

За беззакония людей началась катастрофа. Безумцы ломали дом, в котором жили, совершенно не предвидя, чем все это кончится.

Сильно пострадал и Дивеевский монастырь: были отобраны земли, питающие обитель, начался голод. Сестрам нечем стало заработать себе на хлеб. Остановились мастерские: художественные, рукодельные,— никому это не было нужно, все стали бедными. Прекратились паломничества и помощь благодетелей. Как же добыть пропитание? Обменивали у крестьян свои вещи, но надолго их хватить не могло. Монастырь начал таять. Матушка игумения пыталась спасти монастырские драгоценности, зарыв их ночью около игуменского корпуса и насадив на этом месте кусты. Но тщетно, комиссар-латыш пришел и объявил, что ему все известно. Ценности потеряны. Обессиленные голодом сестры шли по деревням, обменивая на кусок хлеба то немногое, что они имели.

Как в таких условиях поддерживать монастырские порядки? Но ничего не было нарушено: ни продолжительные службы, ни чтение Псалтири в Рождественском храме, ни повечерия, параклисы и многое другое. Потом нэп, подвиги теперь были не по силам, кое-как дотянули до нэпа. Казалось, наступило постепенное возрождение: вновь стали работать и рукодельные мастерские, и живописные,

и сельскохозяйственные. Появились первые богомольцы-паломники. Одними из первых, как нам говорили, приехали мы, Таганрогское молодежное братство.

Церковные события 1921–22 годов

Московский Церковный Собор, заседавший в 1917–18 годах, предвидя страшное разорение Церкви, призвал к жизни создание братств — ревнителей церковного благосостояния, в том числе и молодежные братства, которые были совершенно новым явлением в русской жизни того страшного времени.

Кровь лилась везде и всюду непрерывно. Расстреливались крестные ходы, таких случаев насчитывалось больше тысячи. Русь покрылась могилами священномучеников и исповедников. Ужас объял Русскую землю. Люди стали колебаться и отходить от своих устоев. Пошатнулась и Церковь, появились обновленцы и раскольники. Господь поддерживал веру православных людей многими знамениями: обновлялись кресты на церквах и иконы в храмах. Были явлены примеры мужественного стояния в истине, на личном примере Святейшего Патриарха Тихона и других исповедников. Живоцерковники, поддерживаемые властями, захватили во многих городах абсолютно все храмы. Тихоновцы остались без храмов и кое-где совершались лишь тайные богослужения.

Святейший Патриарх был арестован и находился под стражей в одной из башен Донского монастыря. Печальна и участь многих архиереев, которые не подчинились живоцерковному Высшему

церковному управлению. В провинции шли судебные процессы над архиереями и духовенством. Ярким примером этого был процесс епископа Арсения Ростовского и Таганрогского. Он, как и Святейший Тихон просил считать во всем виновным только его и не осуждать духовенство, которое выполняло его указы. На суде обвинитель кричал: «Тихон в Москве, а Арсений на Дону» — и требовал расстрела. Суд вынес решение: епископа Арсения расстрелять. Но поднялся такой страшный крик и в суде и в огромной толпе возле суда, что за этим последовало: «Но принимая во внимание и т. д. — заменить 5-ю годами лагеря в Соловках».

Со Святейшим они так поступить не решились, так как в это самое время последовал ультиматум лорда Керзона: «Или прекратите гонения и освободите Патриарха, или будет немедленная интервенция». Такой язык звери понимали, и Святейший был освобожден. Но вернуться уже на Троицкое подворье в Москве ему не разрешили, и он остался под домашним арестом в одной из башен Донского монастыря.

Вскоре после его освобождения я имел счастье побывать в этой башне. Я привез Патриарху живописную картину алтаря нашей подземной тайной церкви и показал ему. Святейший поцеловал это изображение и сказал: «Господня земля и исполнение ея». После довольно длительной беседы Патриарх спросил: «Сколько человек посещает ваш храм?» Я ответил, что около 20 человек. «А что же должен делать весь народ? Нет, дорогой мой, как это ни героично, но надо думать о всем народе. Как бы ни было там хорошо, но

наверху — лучше». Святейший был отец всего народа, а не отдельных групп.

По возвращении из Москвы побывал я в тюрьме и у владыки нашего Арсения. В Ростове у нас было полное смятение, никто ничего не понимал. Во главе епархии стоял прежний епископ Феофилакт, и многим казалось это вполне нормальным. Но то, что в это же время в тюрьме сидел владыка Арсений, смущало далеко не всех. Не смущало это и прозорливого старца Иоанна Домовского, строителя и настоятеля великолепного Александро-Невского собора. Владыка Арсений во время моего посещения сказал мне: «Пойдите к о. Иоанну и скажите ему от моего имени, что он не может так поступать. Живоцерковники — не православные».

Страшно было идти к о. Иоанну с таким поручением, так как он был не только прозорливец, но и целитель многих. Войдя в келлию о. Иоанна, я остановился и сказал: «Отец Иоанн, я пришел сказать вам то, что поручил владыка Арсений». Когда я передал ему буквально слова Владыки, о. Иоанн начал плакать и рыдать. «Передайте Владыке, что я не знал всего, я хочу умереть православным»,— сказал он в ответ. Вот какие страшные времена тогда были.

Владыка Арсений, получив 5 лет, был сослан на Соловки.

Не все архиереи так мужественно вели себя. Нижегородский епископ Евдоким молчал и ничем себя не проявлял и не протестовал, но тайно дал согласие на сотрудничество. В Дивееве об этом прослышали, и один из священников монастыря потребовал, чтобы общение с Евдокимом было

порвано. Матушка игумения отлично понимала, что это означало бы немедленное закрытие монастыря. К счастью для монастыря, она нашла полную поддержку соседнего Тамбовского архиерея Зиновия[4], человека совершенно непреклонного. И он приехал в Дивеев, не посчитался в такое страшное время с прежними каноническими нормами поведения епархиальных архиереев, и убедил матушку не предпринимать никаких шагов в этом деле. Положение было весьма неопределенное. Как раз в это время Святейший Тихон был освобожден, и я попросил его послать матушке игумении тот образ преподобного Серафима, который я принес с собой, с его надписью, что он посылает этот образ именно Дивееву. Матушка поставила эту простую икону преподобного Серафима в свой святой угол, показав его предварительно всем. Этим был нанесен сокрушительный удар части сестер, сторонниц раскола, во главе с протоиереем о. Павлом. Официально раскола не было, все шло по-старому, но о. Павел не принимал никакого участия в жизни монастыря, и какая-то часть сестер так и осталась в оппозиции.

На чем же настаивал о. Павел? Ни больше ни меньше как на тайных монастырских богослужениях, что в монастыре было совершенно невозможно.

Как раз тут-то мы и приехали летом и привезли картину тайной своей церкви, просили снять с нее живописную копию, что и было сделано. Эта новость сразу же облетела весь монастырь и утишила пыл и о. Павла, и сочувствующих ему сестер, так как всем стало ясно, что

мы всецело преданы матушке игумении и что Святейший Патриарх считает, что все нормально.

После освобождения Святейшего Патриарха он назначил на Нижегородскую кафедру митрополита Сергия, который приехал в Дивеев и вместе с епископом Зиновием служил в Дивеевском соборе. Здесь я впервые и познакомился с митрополитом Сергием, будущим Святейшим Патриархом.

Как во времена иоасафовской смуты Дивеев перешел под власть Тамбовского епископа Феофана Затворника, так и теперь повторился тот же переход под покровительство Тамбовского Зиновия — великого архиерея, преданного сына матушки игумении Александры. Границы епархий во времена гонений могут нарушаться, и их территории могут переходить к православному архиерею. Подобный случай был во время Диоклетиановых гонений: в Тавриде не было ни одного живого епископа, и тогда архиепископ, не имевший никакого отношения к Тавриде, прислал архиерея.

Икона Царицы Небесной Умиление

Икона Царицы Небесной Умиление, перед которой скончался преподобный Серафим, есть часть Благовещения, т. е. того высочайшего момента, когда *Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя* (Лк. 1, 35).

Эта икона сразу же после смерти батюшки Серафима была послана в утешение сиротам дивеевским саровским игуменом Нифонтом. С тех пор икона была всегда в храмах Дивеева на

главном месте справа. При первой же возможности была сделана драгоценная риза с каменьями. Прекрасная копия этой иконы довольно большого размера находилась на Дивеевском подворье (Мещанская улица в Москве). Точнейшая же копия, сделанная той же начальницей живописного корпуса матушкой Серафимой, но уже в уменьшенном размере, находилась в нгуменском корпусе. Когда после революции н всяких притесненнй матушке игумении пришлось сократить размеры своего корпуса, эта икона была перенесена на хоры Троицкого собора. В ннзу этой нконы в рамке есть надпись славянскими буквами: «Подобне святыя чудотворныя иконы Божней Матерн Умиленне, перед которой в молитвенном подвиге скончался приснопамятный старец Саровской пустыни нероионах Серафнм 1833 г. января 2-го дня».

Нимб был сделан на рнзе в виде расходящихся лучей сняния, состоявшего из драгоценных камней н жемчуга. Этот нимб был весьма искусно нарнсован на совершенно черном фоне, на таком же, как и фон на большом Распятин в алтаре главного собора.

Эта игуменская копия была среди других икон вставлена в общий киот на уровне человеческих глаз, если стать перед ней на колени. Не знаю почему я в тот день во время литургии пошел на хоры, где никого не было, и стал на колени. Стал как раз около этой иконы и вдруг увидел ее. Сердце мое затрепетало, это был такой прекрасный образ, каких я до того времени никогда не видал. Странная, ни на чем не основанная мысль у меня была в то время,— что это моя икона, икона всей моей жизни. Я просил

Царицу Небесную даровать мне эту дивную икону, хотя я отлично понимал, что эту драгоценную икону я не могу даже помыслить просить у матушки игумении. После литургии я пошел к матушке игумении и еле выговорил свою просьбу. Матушка сказала, что это ее икона, и больше никаких слов не произнесла. Сердце у меня упало, но оставалась маленькая надежда, что, может быть, я получу эту икону в день своего Ангела, через несколько дней, в день преподобного Серафима. С трепетом ждал я этого дня. Был на литургии, получил от матушки большую просфору и приглашение на чай после литургии. Были там и другие богомольцы, настроение держалось праздничное, но я не смел повторить своей просьбы. Попрощался и ушел с еще меньшей надеждой, что, может быть, получу икону в день ее празднования — 28 июля. После того дня я должен был уезжать, а моя супруга и ее подруга Нина должны были еще остаться в Дивееве на целый месяц по приглашению матушки игумении и на ее иждивении (наши деньги кончились). И вот в день празднования этой иконы я пошел попрощаться с матушкой казначеей Людмилой. Узнав, что я сейчас уезжаю, она ужасно заволновалась, сказав, что я должен остаться в Дивееве еще на три дня: «Пойдите к матушке игумении и скажите, что я прошу, чтобы вы остались еще на три дня», что я и сделал и получил благословение еще на три дня. Наступил день отъезда, 1 августа — праздник Креста Господня. Накануне на всенощной владыка Зиновий постригал в рясофор 20 молодых послушниц и я впервые видел такой постриг. Наутро после литургии

я попрощался с матушкой игуменией и матушкой казначеей и пошел прощаться с блаженной Марией Ивановной. Она благословила, но сказала: «Через час Царица Небесная будет в Дивееве». Я посмотрел на часы, чтобы запомнить. Пошел прощаться в рукодельный корпус. Там меня встретили очень приветливо, восемьдесят сестер встали и пропели мне в дорогу тропарь батюшке Серафиму и немного задержали меня разговорами. После этого я пошел в корпус дантисток прощаться, где нас всегда особенно привечали. Когда я там был, то увидел, что из игуменского корпуса идет послушница матушки и что-то несет, покрытое белым покрывалом. Мы все насторожились. Нюша, теперешняя игумения Мария [Баринова], открывает покрывало, и я вижу наконец мою любимую и просимую икону, и говорит: «Это вам от матушки игумении». Я падаю ниц и целую икону. Вот уж истинно: «Прошел ровно час, Царица Небесная сейчас в Дивееве!»

Вне себя я мчусь к матушке игумении, делаю земной поклон, благодарю, а матушка говорит: «Где бы вы ни были, до самого конца вашей жизни эта икона должна быть неразлучно с вами». С благоговением обещаю исполнить поручение, не зная, что таким образом эта икона будет сохранена и вернется в свое время в Дивеев.

Возвращаюсь в зубоврачебный корпус, где все сестры в восторге от иконы. Даша, святая душа, говорит: «Чудотворная икона». Я, возвращаясь в Таганрог, боюсь выпустить из рук икону, вкладываю ее в походную мою подушечку и в усталости засыпаю. В Москве, на Дивеевском подворье, говорю матушке Анфии: «Вот какую драго-

ценность я получил». Открываю и, о ужас! — бумажная икона прилипла к живописной иконе Умиление как раз по щеке Богоматери и по Ее руке. Я пробовал отдирать бумагу, не получается. Понимаю, что до Таганрога так оставить нельзя, надо сейчас что-то сделать. Сердце у меня разрывалось: отдираются мелкие частицы краски со щеки и руки Богоматери. Я плакал, но должен был продолжать это делать, надеясь: приеду домой, Нина, наша художница, замажет эти выщерблинки и искусно поновит икону. Приехал в Таганрог, дома собрались все наши, я со слезами рассказываю все, как было, вынимаю икону и глазам своим не верю — ни малейших следов повреждения, все зажило, как на живом. Оказывается, иконы могут быть живыми! Все мои были потрясены.

Прошло 56 лет. Икона все время неразлучно была со мной во всех непростых путешествиях по Европе и Америке. Надеюсь, что она сохранится до конца нашего изгнания, а потом возвратится в Дивеев. Когда она была написана матушкой Серафимой, у меня нет сведений, наверно, когда кончилась смута в прошлом веке и начались работы в иконописной мастерской, то есть в семидесятых или восьмидесятых годах. Вероятней всего, что это был подарок к 25-летнему юбилею игуменства матушки Марии и потом по наследству оставленный ее преемнице, матушке Александре Траковской.

Когда в 1927 году благословенный Дивеев, как и другие монастыри, был порушен и начался полный разгром Церкви, то мне показалось, что близок конец мира, хотя блаженная Мария Ивановна

предупреждала меня за несколько лет до этого, чтобы я не спешил с таким умонастроением («еще не кончились сроки»), но страшный разгром Церкви, закрытие монастырей и глумление над мощами угодников Божиих — разве могли быть другие настроения? Это был страшный период антицерковных гонений, продолжающийся и доныне. Так называемые раскулачивания, когда гибли десятки миллионов тружеников, когда вымирали целые деревни,— разве не летели мы в пропасть? Все эти ужасы коснулись и нас: наши братчики, и я в том числе, были арестованы и вместе с епископами и священниками отправлены в концлагери. Русская Церковь взошла на Голгофу, неотвратимую, страшную. Полная тьма водворилась вокруг.

По выходе из концлагеря в 1939 году я вернулся к своей инженерной работе. В конце войны, в 1943 году, я был посвящен в сан священника и начал поминать на ектениях — точно монастырский священник: «Еще молимся о здравии и спасении матери нашей игумении Александры, а после ее кончины — игумении Марии со всеми ее сестрами». Считал себя дивеевским священником в изгнании, поминал в храме иногда тихо, иногда громко и абсолютно всегда на домашних вечернях, совершая их довольно часто во всю свою священническую жизнь.

Дивеев полвека был в миру. В страшное время гонений не угасла свеча и для монахинь, и для большинства русского народа.

Чудотворная икона Умиление, или Радость всех радостей, как называл ее преподобный Серафим, сохранялась все время у матушки игумении в Муроме. Судьба ее наместницы, оставав-

шейся в Москве, мне неизвестна, сохранявшаяся у меня игуменская копия ждет своего возвращения в возобновленный Дивеев.

Дивеев ушел в мир, и этот период существования был подобен тому периоду, когда матушка первоначальница Александра, монахиня в миру, жила со своими сестрами возле приходской Казанской церкви.

Когда в США появилась возможность увеличить цветную фотографию до больших церковных размеров, я заказал увеличить таким способом иконы Умиление и преподобного Серафима и поместил их в том храме, где настоятельствовал, так же точно, как в Дивеевском соборе: Умиление перед солеей справа, а икону преподобного Серафима так же слева, на соответствующих возвышениях, как они были в Дивееве. Это было как бы далекое Дивеевское подворье, в лице его настоятеля и моей матушки, будущей инокини Марии, как регента хора с дивеевскими распевами. Нечто подобное было на Дивеевских подворьях: в Москве, Нижнем Новгороде, Арзамасе и, конечно главным образом, в Муроме, во главе с матушкой игуменией Марией.

Попутно упомяну и о Казанской иконе Божией Матери — фамильной матушки первоначальницы Мельгуновой, которая потом была отдана в Казанскую церковь, когда матушка Александра перестроила ее из деревянной в каменную.

Когда разоряли Дивеев в 1927 году, блаженная Мария Ивановна сказала, чтобы Казанскую икону отдали иеромонаху Серафиму (Смыкову), пребывавшему в то время в Дивееве, после чего он ушел в полнейший затвор в Краснодаре до

1942 года. После его бегства за границу в 1943 году он взял эту икону с собой и по дороге остановился у нас в Таганроге, где я и видел ее и хорошо запомнил. Она была в золотой ризе, с 16-ю настоящими уральскими изумрудами (смарагдами), низана жемчугом и украшена одним, на груди, синим сапфиром, в короне виднелись бриллианты и крупный рубин. Рубины поменьше были еще и в шести других местах иконы. В нимб вделаны еще 16 прямоугольных изумрудов и много рассыпано других мелких камней. Вообще это была поразительной красоты драгоценнейшая риза, так как имения, принадлежавшие матушке первоначальнице, были огромные — находились на территории трех губерний. Добравшись до Югославии, уже в сане архимандрита, о. Серафим был там по приходе Красной армии арестован, икону отобрали. Затем она попала в руки торговцев, ее оценили в полмиллиона долларов. Православные люди пытались ее выкупить и объявили сбор, но ничего не вышло. Через много лет ее продали Фатимскому католическому монастырю за 3 миллиона долларов, и в настоящее время она является главной святыней Фатимского монастыря. Там ошибочно считают, что эта икона из Казанского собора в Петербурге только потому, что риза на ней драгоценная. Когда цветная фотография иконы, находящейся теперь в Фатимском монастыре, попала мне в руки в 1976 году, я сразу ее узнал по хорошо мне запомнившейся драгоценной ризе. Ошибки здесь быть не могло. В печати промелькнуло сообщение, что когда Россия воскреснет, эта икона будет монастырем возвращена в Россию. Вряд ли![5].

Камень, на котором 1000 ночей молился преподобный Серафим

По кончине батюшки Серафима все его вещи перенесли в Серафимо-Дивеевскую обитель. Туда же перевезли и обе его пустыньки: ближнюю и дальнюю. Дальнюю пустыньку обратили в алтарь Преображенской церкви. В Дивеев перевезли большой гранитный валун, на котором три года молился батюшка Серафим. В Дивееве он был разбит на части, и значительная его часть была отправлена в Москву на Дивеевское подворье, вмонтирована в стену часовни, на которой изобразили в натуральную величину моление Батюшки на камне, причем камень был не нарисованный, а тот, подлинный. К нему вели ступеньки, и можно было видеть, как люди, прильнув к камню, просили помощи у угодника Божия.

Когда разбивали этот валун, получилось много больших и малых осколков, на которых сестры нарисовали чудеснейшие миниатюры: моление на камне преподобного Серафима[6]. Мне достался камушек из рук матушки игумении Александры. Известны чудесные случаи исцеления от воды, в которую опустили такой камушек. Например, из Ставрополя написали в Дивеев, что одна девица долго мучилась глазами, так что могла потерять зрение. Увидев у знакомой камушек батюшки Серафима, мать болящей стала просить дать ей на время камушек, чтобы, облив его водой, помочить глаза страждущей. Через неделю девица выздоровела и могла работать. А какое-то время спустя в том же городе заболел ребенок: умыли его водой от камушка и он выздоровел. Его мать

увидела сон, в котором преподобный Серафим сказал ей: «Сын твой исцелен, но не от лекарства, а от той воды, которой умыла его твоя родственница». Эта вода Преподобного была так же целебна, как и вода из его источника в Сарове.

Любовь народа к камушкам Старца свидетельствует о многих случаях исцелений — не все же могли поехать на Саровский святой источник. Серафимовы камушки развозили паломники по всей России.

Чудеса молитвенных исцелений по большей части связаны не с одними только молитвами, но и с каким-либо действием. Как может человек решить, что исцеление его произошло только по молитве, а не с помощью воды преподобного Серафима? За тысячу дней молитвы на камне батюшка Серафим много собрал благодатных даров, которые потом щедро раздавал, раздает и теперь.

Написание житийных икон великих первоначальниц

Батюшка Серафим не раз говорил своим сиротам, что четверо мощей будут открыты со временем в Дивееве. В одно из наших посещений обители мы привезли большую житийную икону матушки первоначальницы Александры, написанную художницей Ниной Никаноровной Казинцевой. В центре иконы была изображена первоначальница, во многом повторяя тот образ, что украшал ее келлию и считался чудотворным. Житийные сюжеты, а их было шесть — вверху явление Божией Матери Агафии Мельгуновой в Киеве (на фоне Великой лаврской церкви матушка ко-

леннопреклоненно получает благословение от Царицы Небесной на основание Четвертого удела Пресвятой Богородицы). Наверху справа — явление Царицы Небесной в Дивееве, у паперти деревянной Казанской церкви. На среднем ярусе слева — на фоне Казанской церкви, около келлии матушки, она учит крестьянских детей вере в Бога. Справа — в темной келейке матушка молится у большого Распятия. Пятый сюжет — матушка получает икону первомученика Стефана, в честь которого она устраивает придел в Казанской церкви. Последняя житийная картина — в крохотной спаленке матушки, лежащей на смертном одре, на коленях предстоят инок Серафим и игумен Пахомий. Матушка поручает своих сирот преподобному Серафиму.

На этой житийной иконе взору паломников представлены все великие события из жизни матушки Александры. Эта житийная икона была нами подарена игумении, которая распорядилась укрепить ее на стене в келлии первоначальницы. Тогда же этот образ был сфотографирован и размножен в 100 экземплярах, раздали монахиням и светским людям. Время ведь было дикое и издать изображение литографским способом не представлялось возможным.

Моя супруга Капитолина Захаровна, будущая монахиня Мария, тоже изограф, написала две житийные иконы — схимонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой.

Житийный образ схимонахини Марфы — Марии Семеновны Мелюковой — копировал точный облик ее, написанный сестрами сразу же после ее смерти в схиме (лицо ангельское). Напомню,

схимонахиня умерла в 19 лет. Моменты из ее жития следующие: 1. Схимонахиня Марфа носит кирпичи наверх строящейся Рождественской церкви. 2. Батюшка Серафим постригает ее в схиму. 3. Батюшка Серафим с ней и другой инокиней с зажженными свечами молится о Дивееве. 4. Восхождение души схимонахини Марфы к Престолу Божию. 5. Царица Небесная и схимонахиня Марфа в видении в церкви. 6. Святые три могилки.

Житийный образ монахини Елены Васильевны Мантуровой в центре изображал сцену: Царица Небесная показывает Елене Васильевне Небесный Дивеев, со множеством сестер в золотых венцах. Другие сюжеты: 1. Диавол в виде дракона нападает на Елену Васильевну в дороге, бросаясь к карете. 2. Устрашение бесами Елены Васильевны во время чтения Псалтири в храме ночью. 3. Батюшка Серафим благословляет Елену Васильевну умереть за брата. 4. Видение святых перед ее кончиной. 5. Елена Васильевна трижды улыбнулась в гробу. 6. Елена Васильевна видит благодетелей дивеевских в Небесном Дивееве.

Житийных икон, как известно, Византия почти не знала, это чисто русское создание, возрожденное в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне и в наше время возвращенное в Ново-Дивеево, а оттуда перенесено в Европу и в Германское братство в Америку. Повсюду это было дело рук моей матушки Капитолины Захаровны, под конец своей жизни принявшей постриг с именем Мария. Теперь в Германии можно услышать акафист блаженному Прокопию Любекскому Чудю, написанный мной и изданный в 1948 году. А в Америке в день прославления

преподобного Германа (1968) сонм архиереев пел ему акафист, написанный тоже мной и изданный на русском и английском языке, и в тысяче оттенков распространялся его житийный образ, написанный матушкой Капитолиной. Так мы несем дивеевское послушание в изгнании, оставаясь верными Матери-Церкви.

Знаменательная встреча с медведем в Саровском лесу

Эта встреча с медведем наших братчиков осталась в памяти Саровской и Дивеевской обителей, об этом сестры долго рассказывали притекавшим паломникам.

Трое наших братчиков шли по дороге из Сарова в Дальнюю пустыньку и вспоминали рассказы из «Летописи», как батюшка Серафим кормил из рук страшного медведя. Один из наших братчиков сказал: «Вот было бы хорошо, если бы батюшка Серафим и нам показал бы медведя на воле». Прошло несколько минут, и страшный медведь вышел на дорогу, смотрит на них. И что же — испугались они и бросились бежать? Да, бросились бежать, только не от него, а к нему с криком: «Мишенька, ты послушался батюшку Серафима и вышел к нам навстречу!». А Мишенька побежал от них в гущу леса, они остановились и на коленях благодарили батюшку Серафима, что он исполнил их, можно сказать, детскую просьбу — показать медведя.

Старожили уверяли, что медведи весьма редко появлялись перед людьми в Саровском лесу.

После паломничества наших братчиков, на следующий год, приехали другие из нашего Братства, побывали у о. Афанасия в Дальней пустыньке. Он рассказывал им: «После того случая с медведем я подумал: вот приехали молодые люди и батюшка им показал медведя, а я вот живу тут 40 лет и батюшка никогда мне медведя не показал. И что ж получилось. Пошел я поздней осенью собирать ладан с кедров и заблудился. Кругом топь болотная, а уже темнеет. Взобрался я на поваленную большую сосну и иду, засмотрелся и поскользнулся у вывороченного корня и... упал прямо на спавшего медведя в берлоге. Медведь от страха страшно заревел, бросился на меня. Я пробежал до конца ствола, кругом топь, остановился и кричу: «Батюшка Серафим, спасите!» А медведь добежал до меня и ревет мне прямо в лицо, да так страшно. Я стою ни жив ни мертв, только молюсь: «Спасите, Батюшка!» Обойдя несколько раз вокруг меня, медведь ушел в лес, и я, весь дрожа от страха, добрался до пустыньки и там вспомнил: это мне за обиду на Батюшку, что до того времени он не показал мне медведя».

Чтение житий первоначальниц в келлии матушки Александры

Начиная с 1922 года, как уже упоминал, началось великое паломничество в Дивеев. Этому сильно способствовало послабление Церкви при нэпе, и люди со всех концов России хлынули к оставшимся святыням.

Много архиереев, живших в это время в Мо-

скве по вызовам ГПУ, спешили побывать в Сарове и Дивееве, испросить там заступничества преподобного Серафима. Некоторые архиереи, особенно из близлежащих городов, побывали в Дивееве по нескольку раз. Почти в каждый наш приезд на неделю и больше мы сподоблялись чудесных архиерейских богослужений, а иногда их было и два, и три. Часто можно было видеть митрополита Сергия Нижегородского и епископа Зиновия Тамбовского. Видели мы там и Филиппа Звенигородского, и Серафима (Звездинского), и многих других. А духовенству — не было счету.

Чувствовала Русь православная, что надвигаются страшные времена и как бы спешила побывать в святых местах. Но самое поразительное явление той поры — паломничества молодежных братств, так что наше Братство не было исключением. В Дивееве мы перезнакомились и с Киевским молодежным братством во главе с его руководителем о. Анатолием Жураковским, и с Нижегородским, и с другими.

Притекли молодые паломники воспеть славу батюшке Серафиму, матушке Александре, воспеть великую славу Четвертому уделу Царицы Небесной, этому земному отображению Небесного Иерусалима, пришли не в старости, убедившись в тщетности всех земных ценностей, а в расцвете своих молодых сил, чтобы поклониться до земли богоносцам. Среди паломников немало было таких, кто хотел бы избрать монашеский путь, если благословит Царица Небесная,— кому среди сестер обители, а кому быть монахами и монахинями в миру.

В основном все это была студенческая молодежь, невиданная раньше среди паломников,

полная смирения, любви к Господу и к ближним своим — братьям и сестрам. «Неужели,— удивлялись насельницы обители,— кроме вас и эти юные мальчики пришли сюда ради любви к Господу и Его монашескому миру?» Да, можно было бы ответить теперь! Один из них, Вася Потапов, был истинным монахом в миру, не женился, потом стал доцентом Авиационного института в Москве и умер 30-ти лет в Туркестане, завещав похоронить его со священником, на удивление всем своим студентам. Другой Вася, Степыкин, был сослан в концлагерь как член нашего Братства и умер в лагере.

Вечная память третьему таганрогскому нашему брату, Афанасию, написавшему гимн Дивееву и расстрелянному немцами в войну. Четвертый наш брат — Николай Куркумели принял мученическую кончину в лагере. Все они своей смертью и жизнью засвидетельствовали свою верность Христу Спасителю.

Как жаль, что во время гонений 1937 года погибла Летопись Таганрогского (молодежного) братства. Многое в ней было захватывающе интересно, так как вся она была написана в высоко духовных тонах. Одно только утешение, что ее прочли матушка игумения и многие дивеевские сестры, когда мы привозили ее в Дивеев, и напрасно потом взяли назад — у сестер, может быть, она лучше бы сохранилась. В ней были описаны все наши поездки в благословенный Дивеев, так как наше Братство тесно связано с Дивеевом. Как нам радостно было услышать из уст блаженной Марии Ивановны: «Они не свои, они Царицы Небесной Умиления. И еще однажды:

«Батюшка Серафим и матушка Александра пошли провожать своих мужичков (т. е. нас) до Мантуровской рощи».

А когда умер в Таганроге наш брат Боря, 19-ти лет от туберкулеза, и мы, будучи в Дивееве, сообщили об этом матушке игумении, то она дала распоряжение поминать его во всех местах Дивеева, где шли чтения Псалтири. Блаженная Мария Ивановна тогда сказала нам: «Боря похоронен не в Таганроге, а в Дивееве, он своей болезнью и чистым сердцем заработал себе золотой венец». Да, чистая, золотая душа была у Бори. Умирая, он приподнялся на постели и глаза его засветились великой радостью. Он протянул руки, по-видимому к батюшке Серафиму, и скончался.

Но самый лучший жребий выпал на долю моей матушки Капитолины, которая удостоилась за две недели до своей кончины быть постриженной как сестра Серафимо-Дивеевского монастыря, с именем Мария. Ведь именно ей матушка игумения предрекла быть сестрой благословенного Дивеева. День Ангела ее стал 22 июля, память равноапостольной Марии Магдалины. Она всю жизнь была истинной монахиней в миру.

Как некогда пришли мудрецы с Востока, чтобы поклониться Младенцу Христу, и принесли дары: злато, смирну и ливан, так и эта молодежь, когда-то далекая от Церкви, пришла в Дивеев, чтобы поклониться Граду Царицы Небесной, и принесла сюда свои дары: любовь и почитание. Другого они ничего не имели. А любовь у них выразилась в том, что они старались делать все, что

от них зависело: принесли житийные иконы первоначальниц, свою любовь к Дивееву, которую высказал брат наш Афанасий в послании, прощаясь с Дивеевом. Когда я его прочел в собрании молодых интеллигентных сестер, то они громко разрыдались. Был и еще один дар, о котором тоже упомяну.

Когда мы читали в «Летописи» жизнеописание великих первоначальниц, то слезы неудержимо катились из наших глаз. И вот мы что надумали: поручили нашим младшим сестрам сделать выписки из «Летописи», переплели их в особую книжечку, чтобы и другие паломники, читая наши выписки, могли поплакать.

И вот младшие наши сестры начали выписывать понравившиеся места на хорошей бумаге, красивыми большими буквами, чтобы легче было читать. Переплели книжечку в бархатный переплет с золотым крестом и повесили, по благословению игумении, возле житийных образов первоначальниц, чтобы руководители групп паломников, обычно священники, тут же их вслух читали, усевшись кто на ступеньках входа в матушкину келлию, кто просто на полу, а некоторые стоя. Матушка Эмилия, начальница этого корпуса, заботилась об организации таких чтений.

На этих чтениях некоторые незаметно смахивали слезы, потом начинали тихонько плакать, плач подхватывали другие и чтение приостанавливалось — невозможно было слышать из-за плача. Делали перерыв, чтобы немного успокоиться, а затем продолжить чтение. Эта особенность Дивеева не исчезала до самого закрытия монастыря. Такие сладкие слезы запоминались надолго.

Домик матушки Александры

Незабываем домик матушки Александры, где она начала полагать создание первого монастыря. Если этот домик будет разрушен, я восстановлю его по памяти с малейшими деталями, потому что все последующие годы, то есть 55 лет, я мысленно всегда бывал в этом драгоценнейшем для меня месте и помню все точные размеры и детали, а житийный образ Матушки всегда висел над моей кроватью.

Незабываемо было для меня, но и не удивляло, когда я читал о том, как настоятель Казанской церкви о. Василий Садовский, обдумывая детали ремонта храма, вдруг увидел: в алтарь вошла матушка первоначальница. А ведь после ее смерти прошло очень много времени. Отец Василий ни на минуту не подумал, что этого же не может быть и три часа они обсуждали, что и как делать. О том, что это было видение, отец Василий понял лишь когда оно исчезло.

В домике матушки Александры потом жили и схимонахиня Марфа, и монахиня Елена Васильевна, хотя и числилась настоятельницей Девической киновии в пределах Канавки. Не захотела подвижница покидать это благодатное место. Матушка Александра прожила в этом своем домике год и умерла в нем в 1789 году.

Матушка Александра была тайной монахиней почти всю свою жизнь и по совету киевских старцев именовалась своим светским именем — Агафией Семеновной. Только за неделю или две до смерти была пострижена в великий ангельский образ — схиму во время вечерни казначеем

Саровской обители о. Исайей, с именем Александра.

Нужно понять то страшное для монастырей время, когда при Екатерине было закрыто 500 монастырей и насельники были совершенно бесправны.

В Дивееве постоянное присутствие матушки Александры так же ощутительно, как и батюшки Серафима. Почти в каждой келлии имелся ее или живописный, или литографический портрет. Прием паломников всегда начинался с приведения их к портрету матушки. Посещение ее могилки было неопустительное. Даже когда настало время назначить новую начальницу ее корпуса, после смерти предыдущей, то сама матушка Эмилия рассказывала мне: матушка игумения накануне видела сон, что собрались все сестры, и матушка первоначальница говорит: «Где же моя Эмилия, мне нужно монахиню Эмилию». Она и была назначена начальницей, и это оказалось очень удачно.

Теперь приведем несколько случаев, когда матушка Александра являлась людям и как она исцеляла многих. Мы уже приводили случай с отцом Василием Садовским. Всего не перечислить. Но видение матушки Александры затворнику иеромонаху Серафиму (Смыкову) в Краснодаре в 1942 году мне хотелось бы привести. Отец Серафим только что вышел из 12-летнего затвора, и я, узнав об этом, отправился к нему. Очень духовно мы побеседовали. Через некоторое время я опять зашел к нему, и он прямо кинулся ко мне и говорит: «Как вы счастливы!» — «Чем же, отец Серафим?» — «Сегодня ночью я видел матушку Александру в видении и она говорила мне о вас.

Я в страшном удивлении воскликнул: «Матушка, вы знаете Степана Николаевича?» Я спросил о. Серафима: «Что же матушка ответила?» — «Этого матушка не велела говорить!» Так и осталось тайной. Отец Серафим, уже в сане архимандрита, присутствовал на моем рукоположении.

Вспоминается и такой случай. Когда наши таганрогские братчики в духовном восторге рассказывали батюшке архимандриту Иосии о наших поездках в Дивеев, то батюшка сказал, что в следующий раз поедет вместе с нами. До этого о. Иосия так хотел вернуться на Афон, столь им любимый, но не мог. А ведь Дивеев — такой же Удел Божией Матери, как и Афон, и он, взяв меня с собой, зимой отправился в Дивеев и Саров. Был январь месяц, зима держалась снежная. Спешили мы очень. В Ардатове наняли деревенские сани, под вечер отправились. И в снежную метель заблудились и замерзли основательно. Не знаем, куда ехать, все замело. Остановились и, о ужас! — волки, вот натерпелись страху. А один волк вдруг залаял, оказалось, это собаки, и мы были счастливы остановиться в той деревне.

В Дивееве нас встретили с большой радостью и любовью. Отца Иосию приглашали наперебой все, принимали жителя Второго удела Божией Матери как своего и близкого. Остановились мы в Казначейском корпусе, и батюшка Иосия, очутившись в родной монашеской обстановке, был счастлив.

В Дивееве все с радостью слушали батюшкины рассказы о наших тайных службах, так как в Таганроге в это время все храмы были захвачены живоцерковниками. Всенощная шла в теплом

Тихвинском храме Дивеева и так чудесно пел большой дивеевский хор «Честнейшую Херувим», что забыть нельзя.

Преемство жребиев Пресвятой Богородицы

Когда Христос Спаситель возносился на небо, Он повелел апостолам, чтобы они шли и научили все народы, наченше от Иерусалима,— крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостолы бросили жребии: кому в какую страну идти. Пресвятая Богородица тоже взяла свой жребий, и Ей выпала земля Иверская, которую Она и просветила, послав туда вместо Себя юную девицу Нину, просветительницу Грузии.

При избрании Богоматерью Афонской горы Своим Вторым жребием Иверский монастырь и Иверская икона Пресвятой Богородицы были первоначальными святынями Афона. Когда Царица Небесная основывала Свой Третий жребий — Киев, то вывела из Афона Антония и послала его в Киев, как Она Сама сказала об этом матушке первоначальнице: «Я пришла возвестить тебе волю Мою: не здесь хочу Я, чтобы ты окончила жизнь твою, но так как Я раба Моего Антония вывела из Афонского жребия Моего, Святой горы Моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал новый жребий Мой — лавру Киевскую, так тебе ныне глаголю: изыди отсюда и иди в землю, которую Я покажу тебе. Иди на север России и обходи все великорусские места святых обителей Моих, и будет место, где Я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и прославлю имя Мое там, ибо в месте жительства твоего Я осную такую

обитель великую Мою, на которую низведу все благословения Божии и Мои, со всех трех жребиев Моих на Земле: с Иверии, Афона и Киева». И преста видение.

Четвертый избранный удел Божией Матери есть последний перед концом мира. От него, по воскресении России, засияет свет по многим местам возрождающейся России. Россия ведь — Дом Пресвятой Богородицы — была, есть и будет до скончания века, только формы страны меняются. Россия была после избрания глубоко монашеская — не только киево-печерские подвижники были непревзойденными светочами народу русскому, не только они дали святых святителей на многие кафедры. Игумен всея Руси преподобный Сергий Радонежский излучал святость во все концы крепнущего государства. А в наше время на крови новомучеников крепнет вера.

Что же будет при возобновлении Дивеева?

В жизни Серафимо-Дивеевской обители, как и в жизни государства и даже отдельных людей, бывают периоды большого подъема и периоды упадка. Этот общий закон не был чужд и благословенному Дивееву.

Еще в далекие времена матушки первоначальницы ей были даны Богородицей великие обетования о будущей славе и величии этого Четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве.

Если войти в келлию матушки Александры, в ее убогую избушку в Дивееве, около церкви

Казанской иконы Божией Матери, то сразу станет ясным трудный и скорбный путь этой великой избранницы Царицы Небесной. В доме были две комнатки и две каморки. В одной каморке находилась около печки небольшая лежанка, сложенная из кирпичей, около лежанки оставалось место только чтобы в свое время там у умиравшей матушки мог стать настоятель Пахомий, приехавший из Сарова причастить ее Святых Тайн, и на коленях перед матушкой иеродиакон Серафим, получивший от нее благословение заботиться о дивеевских сестрах. Больше там не было места. Тут же была дверь в темную каморку-молельню матушкину, где уже могла поместиться на молитве одна матушка перед большим Распятием с затепленной перед ним лампадой. Окна в этой молельне не было.

Молитвенное созерцание матушкино перед Распятием наложило отпечаток на весь дух жизни дивеевских сестер. Молитва на мысленной Голгофе, сострадание Распятому Христу — самая глубокая из молитв, отблески ее видят все православные христиане в Страстной четверг вечером и в пятницу на Плащанице.

Как только была построена первая монастырская церковь Рождества Христова, еще при жизни батюшки Серафима, на Царских вратах, возможно по его указанию, было вделано большое Распятие по всей величине этих высоких врат. Перед Распятием день и ночь горела лампадка и неусыпно читалась Псалтирь. Когда же построили большой летний собор, то всю заалтарную стену в нем занимало на фоне черного сукна большое Распятие. Ничего другого на заалтарной стене

не было. Изображение Голгофы было видно со всех мест собора. Такого зрелища никогда нигде не было во всей России. Это напоминало предстояние на Голгофе Божией Матери, Иоанна Богослова, равноапостольной Марии Магдалины и других жен-мироносиц. Такое сочетание меня поразило больше всего. На этих молитвенных подвигах матушки Александры перед Распятием, а затем и всех ее сестер создавался благословенный Дивеев. Поучительна и добровольная нищета матушки, которая построила Казанскую каменную церковь, на ее же средства закончилась и постройка саровского Успенского собора, и во многих местах были матушкой построены храмы Божии. Сама же она приняла подвиг добровольной нищеты Христа ради. В Екатерининскую эпоху разорения монастырей нищета всюду была страшная. Россия переживала свою голгофскую эпоху, потому и молитва была голгофская.

В один из наших приездов в Дивеев я привез около 20 совсем миниатюрных Распятий, которые сделал сам: купив много иконок Голгофы на Афонском подворье в Таганроге, наклеил их на фанеру и лобзиком аккуратно выпилил изображенные фигуры. Выпиленные места покрасил в тот цвет, какой был там же на иконке: цвет креста, одежды Богоматери и Иоанна Богослова. К каждой иконке сделал подставку. Получилось красиво, и главное, можно было поставить Распятие в святой угол. Матушка игумения очень обрадовалась этому подарку, поставила это маленькое Распятие в свой святой угол, остальные раздала сестрам. Я не мог понять восторга матушки, так она обрадовалась подарку,

и только позже понял, что это же изображение в духе их молитвенных подвигов. То было за несколько лет до закрытия монастыря и ухода всех сестер в мир на свою Голгофу.

Я приехал в Нижний Новгород по приглашению тамошнего молодежного братства, подобного нашему, и не застал возглавителя — был в отъезде. Его пустовавшая комната была предоставлена мне для ночлега. Каково же было мое удивление, когда на его письменном столе я увидел прекрасно исполненное дивеевскими сестрами Распятие, стоявшее прямо на столе. Та же дивеевская идея молитв у Голгофы! Этим духом было проникнуто все нижегородское братство, глубоко монашеское братство в миру.

Построение нового собора

Когда в 1922 году мы впервые попали в Дивеев, то увидели почти законченный новый великолепный собор, которому предстояло великое будущее. Недоставало лишь внутренней отделки. Этот собор особенной красоты, красивей которого мы нигде еще не видели. Он устремлен ввысь, как бы приготовился вознестись на небо, о чем батюшка Серафим и предсказывал, что когда придет антихрист и подойдет к собору, то он вознесется на небо, а кто в нем будут недостойные — те будут падать на землю. То будет уже перед Страшным Судом, как одно из последних апокалиптических чудес. Собор это предречение святого Серафима и воспроизводил своим видом. Все в нем было гармонично прекрасно. Все! Даже его строитель, г. Долгинцев, отдав-

ший все свое богатство на строительство собора, а его единственная дочь стала схимницей матушкой Серафимой,— духовное украшение монастыря. Когда ее пришли арестовывать, она попросила только разрешения взять с собой маленькую иконку преподобного Серафима. Редко кто видел эту матушку, она была почти затворница, но все о ней знали и любили и чтили ее. Мы ее уже не застали в Дивееве, была ли она уже на небесах или продолжала свой крестный путь – не ведал никто.

Собор стоял у Канавки Царицы Небесной. Он был по величине такой же, как и летний холодный Свято-Троицкий собор, и создавал великолепный монастырский ансамбль града Царицы Небесной, обнесенного белой стеной. Все это напоминало городок древней Святой Руси. Ведь в Дивееве в ту пору жило более тысячи монахинь. Духовенство жило за оградой монастыря. А священников было три, не считая отщепенца о. Павла, который днем никогда в монастыре не появлялся.

Если б не мятежные годы, то, наверное, не было бы и мгновения, чтобы где-нибудь не совершалась служба. Церквей ведь было много: Свято-Троицкий собор, Тихвинская зимняя церковь, Преображенская кладбищенская церковь, первоначальные церкви Рождества Христова и Рождества Божией Матери, церковь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, построенная еще матушкой Александрой. Это была бы обитель неусыпающих, какая имелась в Царьграде.

Тихим летним вечером можно было видеть, как сестры, выйдя на крыльцо своего корпуса,

читают повечерие, устремив взор прямо на небо, как батюшка Серафим молился в лесу.

Новый собор внешне уже был достроен, даже большие золоченые кресты украшали уже его главы, кресты эти — дар петербуржцев, среди которых были собраны пожертвования братьями Арцыбушевыми: Михаилом Петровичем и Петром Петровичем.

С сердечным трепетом вошел я внутрь этого собора, там шли какие-то плотничьи работы, стены еще были белые, но какой восторг вызывала сама архитектура собора, устремленного в небеса! Я погрузился в раздумья — какие здесь будут во времена антихриста события? Мысль уносилась в недоступные времена. Я припомнил, как я бывал в древнейших храмах: в Великой церкви в Киеве, построенной по повелению Богоматери как Третий Ее удел. Там начиналась Русская Церковь, а здесь она кончится. Был на службе в пещерной церкви Киево-Печерской лавры, в той крохотной церкви, где молились преподобные Антоний и Феодосий: святое место сильно возвышало душу и создавало непередаваемую духовность. Не забыть никогда! Но самое сильное чувство было в храме в Керчи (древний Боспор), который посетил святитель Иоанн Златоуст, описав свои впечатления в письме к диаконисе Олимпиаде. Храм тот древний, древнее, чем Святая София Цареградская, построенная в 534 году. В Боспорском храме на одной из колонн имеется надпись: «Здесь похоронен священник (по нашему летосчислению) в 303 году». Служба здесь шла, как и тогда, на греческом языке, и грек-священник после службы давал мне объяснения.

Чувства, которые я переживал в новом дивеевском соборе, были схожи с теми, которые я имел при посещении этих древних храмов.

Канавка Царицы Небесной в Дивееве

Что представляла собой Канавка вокруг киновии? Она была создана в последние годы жизни старца Серафима. Батюшка очень торопил с устройством этой Канавки, то есть той дорожки, по которой прошла Царица Небесная. Батюшка прислал цветочных семян для украшения Канавки. Позже внутри Канавки на территории киновии были посажены деревья, и в 1922 году они были уже могучими и красивыми.

Какое это было благодатное чудо: идти по Канавке с четками в руках, читая 150 раз молитву «Богородице Дево, радуйся!» Особенно под вечер, когда стихает вся дневная озабоченность и наступает полная тишина и небо становится как-то ближе к земле, когда медленно движутся молящиеся по Канавке, как будто бы это происходит не в наш суматошный век, а в древней Святой Руси. Русь создала сказание о Китежеграде, это была ее вековечная мечта — уйти от грешного мира. Но здесь была не мечта, а истинная реальность, здесь было истинное богообщение небожителей с людьми. На Канавке бывали истинные видения батюшки Серафима и других святых и праведных людей, здесь все жили духовной жизнью и духовными радостями. Здесь небо сходилось с землей! Здесь «шла брань с духами злобы поднебесной», которые всячески пугали подвижниц и тех, которые хотели следовать

их путем. Даже паломники были стращаемы при темноте бесовскими явлениями, но всех ограждала благодать Божия, по молитвам батюшки Серафима и матушки Александры. Наш дорогой братчик однажды ночью встретил на Канавке фигуру в два этажа ростом и ужаснулся, но тотчас ужас сменился полным миром душевным — батюшка Серафим никого в обиду не давал.

По Канавке шли паломники, повторяя путь Богоматери, шли монахини, священники и архиереи, шли умиротворенные, одухотворенные, набравшиеся духовных сил для трудного жизненного пути в то страшное время. Шли с незабываемыми впечатлениями на всю жизнь. Многие брали горсточку земли с Канавки, и иногда она их ограждала от вражьих нападений.

Канавка была сделана четырехугольником, и на углах нами были сделаны, по древнему обычаю, на столбах красивые резные башенки со вставленными в них иконами Богоматери, идущей по этой Канавке. Башенки были съемные и на ночь снимались сестрами. Подходя к ним, паломники крестились и кланялись. Это было им видимое напоминание, что здесь прошла Царица Небесная. Как трогательно все это!

Блаженная Мария Ивановна

Батюшка Серафим говорил, что блаженные никогда не переведутся в Дивееве. Так оно и получилось. Когда была близка кончина Пелагеи Ивановны, в Дивеев пришла Параскева Ивановна, но блаженная Пелагея, выглянув в окно, погрозила ей кулаком. Параскева спросила: «Что,

еще рано, матушка?» И последовал ответ: «Еще рано».

Когда мы были у Марии Ивановны, то ее послушница рассказывала нам, как блаженные сменяют друг друга. Вот когда Параскева Ивановна умерла, ей на смену пришла Мария Ивановна. Слушая наш разговор, Мария Ивановна заявила: «Да, я тогда и заявилась». Это было в 1915 году, в год смерти Параскевы Ивановны, известной Паши Саровской.

Рассказывали сестры, что в ночь с 4-го на 5-е июля 1918 года, то есть в ночь мученической кончины Царской Семьи, Мария Ивановна страшно бушевала и кричала: «Царевен штыками! Проклятые жиды!» Неистовствовала страшно, и только потом выяснилось, о чем она кричала. Значит, она знала, кто приказывал и кто был исполнителем этого чудовищного преступления, искупление за которое до сих пор несет русский народ, допустивший это!

Про Марию Ивановну говорили, что она сорок лет прожила под мостом в непрестанной молитве перед приходом в Дивеев.

Матушка игумения Александра часто посылала спрашивать Марию Ивановну по разным недоуменным вопросам. Сестры ее очень почитали, не только потому, что имели в своей обители опыт трех предшествовавших блаженных. Я видел, как от нее выходил какой-то партийный, крестился со страхом и говорил: «Великая раба Божия!»

Со страхом и мы входили первый раз к Марии Ивановне. Я шел последним, и Мария Ивановна, приподнявшись, указала рукой на меня:

«Вот тот высокий парень на моего свояка похож!» Послушница говорит: «У тебя никакого свояка нет».— «Ты там много знаешь»,— ответила она. Только позже выяснилось, о чем говорила Мария Ивановна. Обнимая мою супругу Капитолину Захаровну, она произнесла: «Машенька, доченька!» Тем самым предрекала ее монашеское имя. Если она доченька, то ее муж вроде бы как свояк. Так это или не так, у блаженных ведь не допросишься.

Однажды мы пришли, а Мария Ивановна молчит. Келейница и говорит: «Ты бы что-нибудь, мамашенька, сказала бы». Молчит. «Ты вот пела владыке Тихону Уральскому, спой и им».— «Он скорбный, потому и пела» (после Дивеева владыка Тихон поехал в Москву и след его пропал). Желая вызвать Марию Ивановну на разговор, келейница в ответ: «Они тоже скорбные». Блаженная махнула рукой: «Какие у них скорби, что чемодан сперли в дороге». Факт такой в действительности был в прошлый приезд.

Но никогда не забуду ее золотые слова, сказанные о нас: «Батюшка Серафим и матушка Александра пошли провожать своих мужичков даже до самой Мантуровской рощи». Больше, чем на батюшкиных и матушкиных «мужичков» мы и не претендовали.

И еще незабываемые слова Марии Ивановны: «Боря похоронен в Дивееве, он заработал себе золотой венец» (о нашем братчике).

Был еще пример большой ее прозорливости. Произошло это после того, как наш батюшка о. Иосия побывал в Дивееве. О чем он говорил с Марией Ивановной, нам не известно. Но когда

мы очередной раз были в Дивееве, пришло сообщение, что наш батюшка о. Иосия арестован. Мы прибежали к Марии Ивановне сказать об этом и просить ее молитв. Она пришла в страшный гнев, подняла руки кверху и закричала: «Ах они проклятые, да какое они имеют право, а Иверская икона на что? Еще не вышел такой декрет». «Декрет» вышел только через 12 лет, когда батюшка был арестован и сослан в Зырянский глухой край. Мария Ивановна заметно успокоилась и сказала, что все обойдется благополучно. Так и получилось, батюшку продержали только два дня. Иверская икона (Афонская) всегда покровительствовала о. Иосии: было предзнаменование, что батюшка уйдет на небо именно в день Иверской иконы. Так и случилось — 12 февраля 1939 года он скончался в ссылке, а на третий день душа его прилетела в Таганрог прощаться. Он благословил свою духовную дочь Капитолину, прервав ее сон. Был такой помолодевший, такой сияющий радостью и удалился светлым путем прямо на небо. Так молитвами Марии Ивановны отец Иосия получил большую отсрочку его ссылки.

Я не знаю точно, когда Мария Ивановна скончалась. Но когда мы посетили матушку игумению, уже в миру (Муром, 1933), то в храме древнем, где бывали сестры, мне показали ее преемницу блаженную Серафиму Ивановну. Она подошла ко мне и пристально на меня посмотрела. Я поклонился. Вне храма я ее не видел.

Слова старца Серафима, что «блаженные в Дивееве не переведутся», исполнялись и тогда, когда Дивеев был в миру на своем крестном пути.

Дивеев в миру с центром в городе Муроме

В 1927 году были закрыты последние монастыри в России, в их числе и Дивеев. Всю свою ярость богоборческая власть обрушила на обители, дав некоторую видимость облегчения для приходских церквей. Саров закрыли на полгода раньше Дивеева. Таким образом, дивеевские сестры получили время для подготовки к уходу в мир. Все, что можно было взять с собой, сестры взяли. Причем матушка игумения приказала, чтобы все главные святыни обители были взяты не в одно место, а хранились среди разных сестер,— только так можно что-то сохранить.

В Дивееве крепко помнили предсказание батюшки Серафима, что придет время, когда всем сестрам придется на время уйти в мир. А на какое время, Батюшка не сказал — как Бог даст. Были и такие мнения, что близка кончина мира. Но прозорливые старцы, особенно Оптинские, говорили, что будет еще период благодати Божией на Руси. Во всяком случае, сестры уходили с крепкой верой, что уходят только на время, что Дивеев, как и вся Русская Церковь, вновь возродится. Эти надежды сестер слышали мы от многих, когда монастырь еще существовал и слухов о его разгоне не было. Но готовиться к этому неизбежному приходилось.

Матушка игумения Александра после 1927 года приказала сестрам разъезжаться в разные города и села. Для себя же и наиболее близких ей сестер выбрала город Муром, где и поселились все, занимаясь цветоводством. Часть сестер перебралась в Москву, на Дивеевское подворье. Но

сразу же их оттуда в 1927 году всех и выслали. То же было и в Нижнем Новгороде. Трудно было приспосабливаться к новым условиям жизни, но другого выхода не оставалось.

Когда нэп кончился и с еще большей силой начался террор, некоторые молодые сестры были арестованы. Дивеев дал не только подвижниц, но и исповедниц и даже мучениц — скончались в лагерях, получив двойные венцы: исповеднические и мученнческие. Со временем имена их будут установлены и почитаемы. Одна из них — молоденькая инокиня Анна из больничного корпуса заболела в лагере туберкулезом, была актирована и, еле добравшись к своим, скончалась. Я только услышал ее голос, обращенный ко мне, когда стоял в алтаре Свято-Николаевского храма в Таганроге, но я ее не видел после лагеря.

Тяжкий подвиг выпал на долю игумении Марии. В те страшные годы она ведь была совсем молодой сослана в лагеря на три года. Когда мы навещали матушку игумению Александру в Муроме, то видели и ее будущую преемницу, недавно возвратившуюся из лагеря. Матушка сказала мне: «Что ей, бедной, пришлось перенести, я узнала только после ее возвращения из лагеря. А если бы узнала, когда она была еще в лагере, то я, наверно, умерла бы с горя!» Я ужаснулся и страданиям Нюши (так звали в миру матушку Марию) и не меньшими страданиями за нее игумении. Ведь игумения готовила ее в свои преемницы, как наместницу в Дивееве Царицы Небесной, которую не выбирают, а благословляет Сама Пречистая. «Я умерла бы с горя!» — сказано истинной матерью духовной.

За муромский период изгнания многие дивеевские инокини перешли в Небесный Дивеев, который видела Великая госпожа дивеевская Елена Васильевна Мантурова, почти все молодые сестры, наши с матушкой сверстницы, поумирали, как и более старшие сестры из тех, кого мы знали с матушкой, но осталась только любимая духовная дочь матушки игумении, которую мы видели в Муроме в 1933 году, когда ей было уже около 24 лет. Вторично я поехал в Муром в 1939 году, возвратившись из концлагеря, но матушку игумению не видел, а только мне рассказывали о ней инокиня Мария Прусакова и инокиня Дария, которые жили в городе Коврове. Хотел поехать повидать матушку игумению в Муроме, но не знал, можно ли мне ехать, боясь повредить ей моим приездом. Колебался, сел даже в поезд (провожала меня инокиня Мария), но перед самым отходом поезда побоялся ехать и слез с поезда. Матушка игумения жила, окруженная близкими ей сестрами: ее личным врачом Еленой и другими. В 1941 году началась война, всякая связь была потеряна. Мы с матушкой, после моего посвящения в священнический сан, уехали за границу.





Игумен Серафим (Путятин)

ЛИСТКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Прозорливица Параскева

Преподобным Серафимом еще при жизни было написано по откровению Божию собственноручно письмо к тому царю, которому будет суждено приехать в Саров и Дивеев, передав его своему другу Мотовилову [1], последний передал это письмо покойной игумении Марии, которая вручила его лично Государю Николаю II, в Дивееве, 20 июля 1903 года. Что было написано в письме, осталось тайной. Только можно предполагать, что святой прозорливец ясно видел все грядущее, а потому предохранял от какой-либо ошибки и предупреждал о грядущих грозных событиях, укрепляя в вере, что все это совершится не случайно, а по предопределению Предвечного Небесного Совета, дабы в трудные минуты тяжелых испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца.

Своим провидящим духом прозревал мученическую кончину Царя и современный великий праведник батюшка отец Иоанн Кронштадтский, говоривший: Царь у нас праведной

и благочестивой жизни, Богом послан ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду, как сказано Тайновидцем судеб Божиих: *Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю* (Апок. 3, 19). Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок; Бог отнимет у них благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых жестоких самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами.

Современная великая подвижница-прозорливица Саровская Параскева Ивановна, жившая последние годы жизни в Дивееве, а до того несколько десятков лет в лесу, начавшая свои подвиги еще при жизни преподобного Серафима; та, которая предсказала Государю и Государыне за год рождение сына, но не на радость, а на скорбь родится этот царственный птенчик, невинная святая кровь которого будет вопиять на небо. Она в последние дни земной жизни, в своих условных, но ясных поступках и словах предсказывала надвигающуюся грозу на Россию. Портреты Царя, Царицы и Семьи она ставила в передний угол с иконами и молилась на них наравне с иконами, взывая: «Святые царственные мученики, молите Бога о нас». В 1915 году, в августе, я приезжал с фронта в Москву, а затем в Саров и Дивеев, где сам лично в этом убедился. Помню, как я служил литургию в праздник Успения Божией Матери в Дивееве, а затем прямо из церкви зашел к старице Параскеве Ивановне, пробыв у нее больше часа, внимательно слушая ее грядущие грозные предсказания, хотя выражаемые притчами, но все мы с ее келейницей хорошо пони-

мали и расшифровывали неясное. Многое она мне тогда открыла, которое я понимал не так, как нужно было в совершающихся мировых событиях. Она мне еще тогда сказала, что войну затеяли наши враги с целью свергнуть Царя и разорвать Россию на части. За кого сражались и на кого надеялись, те нам изменят и будут радоваться нашему горю, но радость их будет не надолго, ибо у самих будет то же горе.

Прозорливица при мне несколько раз целовала портреты Царя и Семьи, ставила их с иконами, молясь им как святым мученикам. Потом горько заплакала. Эти иносказательные поступки понимались мною тогда, как переживаемые великие скорби Царя и Семьи, связанные с войной, ибо хотя они не были растерзаны гранатой и ранены свинцовой пулей, но их любящие сердца были истерзаны беспримерными скорбями и истекали кровью. Они были действительно бескровные мученики. Как Божия Матерь не была изъязвлена орудиями пытки, но при виде страданий Своего Божественного Сына, по слову праведного Симеона, в сердце Ее прошло оружие. Затем старица взяла иконки Божией Матери Умиления, пред которой скончался преподобный Серафим, заочно благословила Государя и Семью, передала их мне и просила переслать. Благословила она иконки: Государю, Государыне, Цесаревичу, Великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, Великой княгине Елизавете Феодоровне и А. А. Вырубовой. Просил я благословить иконку Великому князю Николаю Николаевичу, она благословила, но не Умиления Божией Матери, а преподобного Серафима. Больше

никому иконок не благословила, хотя я даже сам просил для некоторых, но и мои просьбы не повлияли, ибо она действовала самостоятельно. Иконки были тотчас же посланы по принадлежности, где и были получены своевременно. После этого я пробыл в Дивееве еще несколько дней, по желанию старицы, ежедневно ходя к ней, поучаясь от нее высокой духовной мудрости и запечатлевая в сердце своем многое, тогда мне еще непонятное. Только теперь мне представляется более ясным, как Богом было открыто этой праведнице все грядущее грозное испытание уклонившемуся от истины русскому народу. Непонятно было для меня тогда, почему она благословила всем, кроме Великого князя Николая Николаевича, иконки не преподобного Серафима, а Божией Матери Умиления, пред которой скончался преподобный Серафим. В настоящее время для меня и это ясно: она знала вперед, что все они кончат жизнь кончиной праведников-мучеников, как кончил жизнь и преподобный Серафим, и наследуют жизнь вечную в обителях рая вместе с ним. Целуя портреты Царя и Семьи, прозорливица говорила, что это ее родные, милые, с которыми скоро будет вместе жить. И это предсказание исполнилось. Она через месяц скончалась, перейдя в вечность, и ныне вместе с царственными мучениками живет в небесном тихом пристанище.

Как преподобный Серафим принимал всех грешников кающихся, но прогонял, не давая благословения нарушителям долга присяги, так поступала и эта праведница. Она жестоко таковых била палкой и прогоняла от себя, ибо ее

чистая святая душа видела все тайны сердца человеческого.

Саровское духовное торжество

29 января 1903 года Святейшим Синодом объявлено о прославлении преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Особенно этим новым небесным знамением был утешен Государь, испытывая истинную радость и глубокое умиление. Царская Семья особенно чтила память преподобного Серафима еще с 1860 года, когда возложением полумантии праведника была исцелена малолетняя Великая княжна Мария Александровна и облегчена кончина Императрицы Александры Феодоровны [2], супруги Императора Николая I. Духовное торжество открытия честных мощей угодника Божия назначено было на 19 июля 1903 года. Сам Государь с Государыней и членами царствующего Дома совершил благоговейное путешествие на это великое духовное торжество, собравшее сотни тысяч православного русского народа. Я сам был на этом торжестве, видел, как Государь пешком, благоговейным паломником, ходил к целебному источнику и в Дальнюю пустыньку старца Серафима, на своих царственных плечах нес гроб с честными останками новоявленного чудотворца и причащался вместе с супругою своею Святых Таин Христовых. Они исповедовались у смиренного старца иеросхимонаха Симеона и причащались 18 июля за ранней обедней, которую служил архимандрит Андрей (впоследствии епископ Уфимский), как простые смертные паломники вместе с народом. Я сам

среди этих паломников приобщался и видел, с каким благоговением царственные богомольцы приступали к Святому Таинству. Простота и религиозность их сильно повлияли на меня еще тогда, вызывая слезы умиления. Только истинная вера в Бога, истинная преданность Православию и глубокое благоговение к святым мощам праведного убогого Старца-отшельника, смиренного пустынника подвигнуло на далекое и трудное путешествие царственных богомольцев, сопряженное с многими трудами и опасностями для самой жизни. Православный народ плакал от радостного умиления при виде того, как Царь и Царица смиренно преклоняли главы пред святыми мощами новоявленного чудотворца. Государь на свои средства соорудил серебряную художественную раку для мощей преподобного Серафима, а Царица собственноручно вышила покров на гробницу и коврик с дорожками. Как было все это для верующего человека трогательно, радостно и поучительно.

Из Сарова царственные паломники выехали 20 июля в Дивеевский женский монастырь, это духовное детище преподобного Серафима. Здесь они навестили старицу подвижницу Параскеву Ивановну, которая предсказала Царице рождение сына. Это посещение прозорливицы совместно с пережитым в Сарове произвело сильное духовное впечатление на Императрицу, усердно молившуюся в Сарове о даровании ей сына. Когда же через год исполнилось предсказание прозорливицы, то можете себе представить, как это повлияло на душевное состояние Царицы и укрепило ее веру в правоту Православия.

Считаю не лишним напомнить, что некоторые либеральные газеты писали, что якобы в архиве департамента полиции была найдена бумага, где находилось следующее предсказание старца Серафима Саровского: «В начале царствования сего монарха будут несчастия и беды народные. Будет война неудачная. Настанет смута великая внутри государства, отец подымется на сына и брат на брата. Но вторая половина правления будет светлая и жизнь Государя долговременная». Такого предсказания в летописях как саровской, так и дивеевской обителей нет, а потому его надо приписать к выдуманной легенде легкомысленных людей[3].

Неприятно было врагам единой великой России саровское духовно-патриотическое торжество. Они шипели от зависти и злобы, замышляя новые интриги против России. Против воли миролюбивого Государя разразилась война с Японией. Несомненно, какая-то неведомая рука содействовала возникновению войны, чтобы дать возможность усилить противогосударственную работу. <...>

В разгар войны исполнилось давнишнее желание Царицы иметь сына. 30 июля в Петергофе родился сын. Прошлогоднее предсказание в Дивеевской обители исполнилось. Велико было семейное счастье в Царской Семье, принесшее большое утешение в тяжелые скорбные дни неудачной войны. Крещение новорожденного совершено в петергофской церкви 10 августа. Восприемниками были: король Англии, король Дании, император Германии и некоторые из Великих князей. Тогда же Государь пожелал, дабы все войска действующей на поле брани армии были тоже

11 Зак. 67336

в числе восприемников новорожденного Цесаревича, о чем и было дано знать на фронт. Во время крещения с младенцем произошел замечательный случай, обративший на себя внимание всех присутствующих. Когда новорожденного Цесаревича помазывали святым миром, он поднял свою ручку и простер свои пальчики, как бы благословляя присутствующих. В этом случае видели не простое совпадение, а что-то вещательное, объясняя всякий по-своему. Одни видели в этом хорошее предзнаменование, а другие наоборот. Государыня особенно была рада, что наконец-то Бог услышал ее молитву, даровал ей сына, приписывая эту милость Божию молитвам преподобного Серафима Саровского, ибо она и до поездки в Саров обещалась поехать туда на богомолье. Теперь с еще большей ревностью Царица отдалась всецело воспитанию детей, особенно воспитанию милого сына. Она считала для себя лучшим удовольствием быть в кругу своих детей, хотя с момента рождения сына она ему посвящала времени больше всех остальных. Заботливая мамаша всегда была с милым сыночком, не теряя его из виду, боясь за его жизнь, как бы что с ним не случилось, ибо он у нее один. Цесаревич был общим любимцем в Царской Семье. Когда стал подрастать, то весьма походил на папу, как говорится, вылитый отец. Царица сама с ним нянчилась, не доверяя никому, и всецело взяла на себя всю заботу его воспитания. Она зорко охраняла своего горячо любимого сына от всех опасностей, всегда находясь около него. В Царском ли Селе, Петергофе ли, на императорской ли яхте Царица всегда при сыне как преданная

рядовая няня. Дочери, бывало, играют или гуляют с гувернанткой и камердинером, а когда с ними Алексей Николаевич, то обязательно среди них и Государыня. Даже во время приемов, военных смотров и других отлучек из дворца Цесаревича Царица всегда находилась первое время при нем непосредственно или вблизи него. Когда мне впервые пришлось видеть Цесаревича 8 декабря 1910 года, шестилетним ребенком, в Александровском царскосельском дворце, то и здесь мамаша находилась в соседней комнате, до которой дошла с ним. Во время этой аудиенции я благословил Цесаревича святым нательным серебряным крестиком, который по воле Государя надел на него. Этот крестик был мною получен 23 января в Иерусалиме и в нем были вложены частицы святых мощей Иоанна Крестителя и великомученика Георгия Победоносца, а также частица от Святого Животворящего древа Креста Господня. Без благоговейного чувства не могу вспомнить этот момент, когда приходилось видеть его детский душевный восторг при получении этого священного подарка и как он, милый ребенок, сияющим побежал к своей маме поделиться своей радостью.

Цесаревич этот святой крестик имел всегда при себе до самой своей мученической кончины, в скорби узничества находя в этой великой святыне утешение. Как мне передавали, Цесаревич попросил маму рассказать ему о жизни святого Иоанна Крестителя и великомученика Георгия, особенно почитая их память.



Зоя Пестова

ПОЕЗДКА В САРОВ

Любящим Бога все содействует ко благу!

[Рим. 8, 28]

Записки эти завещаю дочери Наташе и внучке Кате

Углич, лето 1915 года

Мне было 16 лет, когда я решила, что мне необходимо ехать в Саров, побывать у старца и определить свой дальнейший жизненный путь. Через полтора года я должна была кончить гимназию. Отец и мама внушали, что необходимо учиться дальше и получить высшее образование, чтобы быть самостоятельной, ни от кого не зависимой и богатой душой и карманом. Но куда идти учиться? По всем предметам 5, я первая ученица в классе, а особого таланта нет. «Специальность — как брак,— говорит папа,— сама выбирай, чтобы потом ни на кого не пенять. Жизненные ошибки даром не проходят».

Отец был доктором, и на эту специальность

идти он не советовал. «Мне жаль твоей душевной чистоты: ведь медики все развратники... Да при твоем слабом здоровье да жалостливом сердце ты каждого покойника будешь оплакивать! Добрые дела делать можно везде, надо крепкие нервы иметь, а ты людей жалеешь!..»

Отец меня очень любил, знал, понимал, поддерживал во мне все хорошие начинания, давая денег на бедных и выполняя мои просьбы кого-либо посетить из больных или положить в больницу. Я «обожала» отца, прощая ему все,— все его ошибки, заблуждения. Так могут любить только дети — все прощать! От мамы я была далека, но ее самостоятельность (у нее был зубной кабинет), ее независимость мне нравились. В те годы (начало XX столетия) «свободолюбивые женщины» уже входили в моду.

Отец с матерью были в фактическом разводе, но семья еще как-то сохранялась. Связующим звеном были дети и невозможность развода. Отец явно тяготился семьей и ждал, чтобы поскорее подросли дети. Ждали и революции. Шла 1-я мировая война (1914–1918 гг.). Надвигались политические события, общество было «за» и «против», и мы, гимназистки, уже «судили и рядили» о войне и событиях в стране.

В 15 лет я *хотела быть* убежденной православной христианкой. Это шло вразрез с мировоззрением моих родителей и окружающего меня общества, интеллигенции захолустного города. Тогда, в 1915 году, верующими считались все, но я не помню ни одной семьи, где Евангелие воспринималось бы как основа жизни. Семейными неприятностями я была измучена и только в храме

соседнего женского монастыря перед иконой преподобного Серафима Саровского находила утешение в моей недетской скорби. Никто так не страдает от ссор родителей, как дети!

«Сдвинуть» меня с Евангелия было уже нельзя. Родители были недовольны моим «увлечением» религиозными вопросами, чтением книг, моей подругой из семьи священника, и каждый из них старался «образумить» меня. Страшно вспоминать антирелигиозные высказывания, которые мне надо было слушать и после которых я убегала в церковь, скорее очиститься — исповедоваться и приобщиться Святых Таин. «О чем вы плачете?» — спросит меня батюшка о. Алексий на исповеди. «Ссорюсь с родными». Не могла я на исповеди жаловаться и рассказывать семейные сцены, возмущавшие всю мою душу. Я не могла разобраться, кто виноват из родителей. В семье не было ни мира, ни любви, нас — детей — не берегли от сцен, от брани, от слез и скандалов. Сестра воспитывалась в институте, а я и брат (на 2 года младше меня) не знали покоя в семье.

Часто отец мне напоминал, что когда мне было 3 года, я болела скарлатиной и надежды на выздоровление не было. Папа пошел ко всенощной 6 декабря (19 н. ст.) на день св. Николая и, встав перед иконой, плакал навзрыд, вымаливая мне жизнь. «Если бы ты только видела, как я просил Николая Угодника оставить мне тебя!» — говорил отец и всегда со слезами. В комнате в спальной у отца висела икона, но я не видала отца молящимся. Но, бывало, он посылал меня подать «за упокой» своих родных, давал мне на свечи и на нищих, прислушивался к снам,

принимал «со святом» приходского священника, в Пост 1, 4 и 7-ю неделю не было мясных блюд,— так что назвать моего отца неверующим нельзя...

<...> Он боялся за меня, а вдруг я уйду в монастырь, а вдруг сойду с ума. Он умолял не поститься, не ходить на раннюю обедню, больше есть и спать, беречь нервы и как-то совсем не сознавал, как я страдала от его насмешек и всяких обидных слов над тем, что было мне свято.

Семья жила зажиточно, и мне отец давал деньги на наряды, на театр, кино и на бедных. Я сама не была аскеткой и ходила на спектакли, в кино, возвращаясь с тревогою домой: «Что там делается?»

Свою маму в эти годы я не любила. Истерзанная семейным разладом, она была очень нервная. Ее отношение к религии было внешнее: она и обряды выполняла, и лампадки зажигала, и заказывала икону «семейную», и оклады на образа... Ах, как хотелось ей любви отца, какая она была бы семьянинка и хозяйка... Как она заботилась об отце и о нас! С годами она стала болеть и характер ее и поступки граничили с характером душевнобольной и глубоко несчастной женщины. Она была красивая, энергичная и очень дельная, любила свое дело и хорошо зарабатывала, имея зубоврачебный кабинет, но болезнь ее подкашивала. «Каждая несчастная семья несчастна по-своему», и детям тяжелее всего!

«И бесы веруют и... трепещут»[1]. Мама, мама жила по своей воле, так далеко от религии и Церкви.

<...> В 15 лет я прочла «Братьев Карамазовых». Образ Алеши поразил меня. Я решила,

что найду такого Алешу в жизни. «Великий Инквизитор» меня потрясал, и я верила, что так будет. Я поняла, что свобода не во внешней жизни, а в духе и уже не интересовалась героями-революционерами, которыми восхищался отец: Гершуни, Фигнер, Засулич, Желябов для меня были безумными и преступниками. А вот старец Зосима... Найти такого в Сарове стало моей мечтой. Вот у кого надо спросить о жизненном пути!

В гимназии преподавал Закон Божий отец Николай. Это был добрейший учитель. Он часто со мной беседовал, давал мне читать Иоанна Златоуста. Но в 14–15 лет по силам ли такое чтение? Ходил он в темно-зеленой рясе, золотой крест украшал грудь. Его каштановые локоны так шли к его ласковым голубым глазам. Он стал для меня примером кротости и всепрощения, когда в 30-м году я узнала, что он сослан в Сибирь и там спасается.

В классе я была любимицей и очень этим была довольна, стараясь всем двоечницам помогать и «вытаскивать» к ответу. Я дружила с лучшими ученицами, но особенно мне нравились «особенные», я их искала, старалась узнать, чем живет их душа. Вот Шура — высокая белокурая девочка. Она точно светится вся! Еще бы! У нее отец священник. Отец Михаил* из деревни Тимохово, популярный, и дружил когда-то с самим отцом Иоанном Кронштадтским. Шура танцует? Да, отец ей сказал, что можно в 15–16 лет. «Всякому овощу свое время». Это не грех. Мы юны и молоды. Надо «духовно» дорасти, чтобы самой не хотелось танцевать. И я танцую с Шурой

* Отец Михаил Зеленецкий погиб в лагерях.

падеспань на школьном балу (год-два и Шура умерла от чахотки).

Все девочки были номинально верующие. Соблюдение постов, пожалуй, было самое главное. Евангелия сам никто не имел и не читал. Мечтали выйти замуж за богатого купца и выходили в 16 лет. Участь большинства была одна — идти в сельские учительницы и провести жизнь в глуши и тоске, в бедности и одиночестве. Хотели бы «учиться дальше», ехать в Москву или Питер, но плата за ученье, жизнь дорогая... да и война шла и надвигалась революция. Я мечтала учиться дальше, но кем быть? И мать и отец в этом меня поддерживали, отец обещал помогать... но ведь и семья без меня распадется... «Скорее бы!» — мечтал отец. «В Сарове я разрешу этот вопрос»,— мечтала я и просила родителей отпустить меня.

Монастырь

Наблюдай за непорочным
и смотри на праведного.
Пс. 36, 37

Я часто ходила в монастырь ко всенощной и к обедне и приобрела там друзей — монахинь, которые наперебой приглашали меня к себе после обедни «попить чайку» и побеседовать о духовном. Одна из старших монахинь очень меня любила. Звали ее матушка Еванфия, лет 60-ти. Она жила в монастыре с 17 лет, отказавшись выйти замуж и полюбив всего более Небесного Жениха — Христа. Наш монастырь на 600 человек имел свое хозяйство, поля и луга, скотный

двор и огороды. Все работы несли молодые, даром — по послушанию. «Послушание выше поста и молитвы» — это было правилом монастыря.

Молодые монахини жили при старых в одной келлии. Матушка прожила так 30 лет с одной монахиней, как с матерью.

— Не ссорились? — спрошу я.

— Было, было и недовольство, но надо было научиться смирению, терпению и кротости — это тоже большая наука. Но любящим Бога все ко благу: поплачешь, помолишься да и бух в ноги. Простите! И опять мир.

— Да у нас в миру этого нет и быть не может,— отвечу я, вспоминая свои ссоры с родной матерью. — А хотелось бы вам в мир?

— Нет, никогда, как с радостью приняла пострижение. Вот из дома приедут родные да порасскажут про свое мирское житье,— сколько там зла, скорбей, неправды, шума и ссор, а здесь в монастыре-то у нас мир, благодать и любовь и спасение души для вечной жизни.

«Все тлен,— любила повторять матушка Еванфия,— а душа вечна и пойдет на Суд Божий, как прожита жизнь. Что ответишь, если душу свою погубишь?»

Теперь в старости у нее было одно послушание — она была привратницей, жила в келлии у ворот, никуда не отлучалась и ключи от ворот носила с собой — это были большие два ключа. На службы в церковь ее отпускала напарница, молодая хромая монахиня, помогающая во всем матушке. Все монахини свое послушание ретиво берегли и выполняли. Монахини все были прекрасные рукодельницы и охотно научили меня

всяким своим рукоделиям. Делали они даром для всяких благотворительных лотерей изящные вещицы. Пяльцы, вязание, вышивание золотом и шелком было их трудом. Брали и заказы, так как не ущемлялось желание заработать, лишь бы послушание было сделано. Безделье считалось грехом, но, конечно, в праздники не работали.

— А мне бы какое дали послушание? — спрошу я.

— Если голос есть, в певчие, на клирос.

— Нет у меня голоса, всегда кашляю.

— Посох у игумении носить бы стала, или в канцелярию, или в рукодельную, в иконописную.

Вздохнула я: «Это на всю жизнь?!»

— Да, надо твердо решить, чтобы и себя и монастырь не осрамить!

«Монашество — это брак с Христом. Спасителя полюбить больше всех и вся».

Да, матушка Евавфия сама так и любила Христа и вела строгую аскетическую жизнь в подвиге и молитве. Вера ее была проста и крепка. Бывало, расскажешь ей свое горе, а она в ответ:

— А Николай Угодник на что? Обратись к нему, проси его, он тебе и поможет.

Все святые и преподобные были для нее живыми друзьями.

— Верь, что услышана будет твоя молитва! Значит, потерпеть тебе надо, значит, для спасения твоей души надо!

Сама она молилась о моих скорбях. Вместе мы решили ехать в Саров.

Монастырь наш разогнали в 1928 году. Умерла матушка 76 лет в 1930 году.

Упокой, Господи, ее душу!

Учительница моя

К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое.
Пс. 15, 3

Была у меня большая детская скорбь. В 14 лет (5–6 класс) я летом брала частные уроки французского языка у одной учительницы гимназии, ведущей немецкий язык, Н. Д. К.[2] Ей было 22 года, она недавно кончила с шифром (бриллиантовая медаль Императрицы Марии Федоровны) институт. Ее всегда можно было видеть в монастыре перед иконой преподобного Серафима Саровского. Никуда, кроме церкви, она не ходила и слыла «аскеткой», монашкой. На уроках она шутила со мной и вовсе не была «сумасшедшей», как ее называли у нас в доме. Я видела веру без колебаний и сомнений, я видела, как она стояла и молилась в церкви. Она вся была как горящая свеча перед Богом. Строгая, скромная, умная, убежденная, идейная, непоколебимая в вере — так ее характеризовали верующие. Она первая в жизни раскрыла передо мной Евангелие и прочла мне притчу о Сеятеле.

Зерно упало на добрую почву, и начала расти моя симпатия,— моя любовь к этой необыкновенной девушке. У нее были большие серые, выразительные глаза и задушевный мягкий голос. Бывало, и спорить с ней хочется, и не могу я согласиться с нею, и 100 вопросов почему да отчего ей задаю.

Но пришла осень, кончились уроки и родители восстали против увлечения. «Ты ведь любила

учительницу рукоделия! Ведь Наталья Дмитриевна ненормальная! Она тебя аскеткой, монашкой сделает!»

На голову моей дорогой сыпались оскорбления, упреки, насмешки, а я только и мечтала видеть ее!.. Дословно списываю ее первое письмо ко мне, сохранившееся у меня.

«Дорогая Зоя.

Вы просто глядите на вещи одним левым глазом и вольною волею отрицаете существование половины явлений в мире. Почему? И нелогично, т. е. если отрицать, так уже все в данном случае. Послушайте! ведь теперь еще ничего в мире нет вполне объяснимого. Если Вы привыкли вдумчиво относиться ко всему Вас окружающему, Вы не могли не поразиться тем, что ни один самый знающий ученый не может дать Вам ответ положительно на многие первостепенной важности вопросы. Пока плаваем по поверхности, будто что-то знаем, как только коснемся основ — признаем бессилие разума. Возьмем примеры. Почему слюнные железы выделяют слюну, а железы желудка выделяют желудочный сок? А еще другие, другие и т. д. Наука не решает такие вопросы и всякое выделение желез называет *секретом* желез.

Возьмем мир растительный. Почему, объясните мне, положенные рядом два крошечных зернышка яблони и березы выбирают из земли один одни, другой другие соки? Возьмите чудную розу и тот ком грязной земли, из которой она выросла. Все Вам здесь понятно? А если все, то посоветуйтесь с кем-либо и состряпайте Вы сами розу. Попытки создать *самим* живое существо, чем занимался Фауст у Гете, не увенчались

успехом ни в одной современной лаборатории... Ведь не я одна, но великие люди признавали, что все явления в мире — *чудеса*, лишь с той разницей, что одни чудеса повторяются ежедневно и мы к ним привыкли, другие повторяются редко. (Если бы чаще, то мы тоже бы привыкли и перестали их замечать.) Мы их не понимаем, но, странное дело,— почему-то даже отрицаем! Почему это, а? Вы вообще, дорогая Зоя, бродите вокруг духовного мира, не имея *ключа* войти в него. Вы натыкаетесь на духовные явления, но не знаете, какой меркой мерить их. Вы можете отрицать их, смеяться над ними, но они *существуют* независимо от этого. А на Вас блестяще сбываются слова апостола Павла: «душевный человек не понимает того, что от духа, так как это кажется ему безумием». Ну подумайте, ведь было бы смешно, если бы Вы, не видя сроду рояля, засели бы играть и захотели сыграть Бетховена. Сколько бы Вы ни колотили по клавишам, а Вы бы все-таки не сыграли, не раскрыли его прелести. Чтобы войти в мир звуков, нужно знать известные приемы... Как же вы хотите вскочить без всякого приготовления в тот мир духовных явлений, который составляет целую половину жизни человека? Или, по-вашему, нет этого мира? И наши души болтаются в наших телах, как горошина в пустой банке?

Для того, чтобы видеть Солнце, я должна *повернуться к нему* физиономией и раскрыть глаза. Чтобы увидеть источник духовного света, я должна *раскрыть свои духовные очи*. Это делается у людей грамотных чтением подходящих книг и молитвой, у неграмотных устным огла-

шением их и той же молитвой к Тому, Кто Один отверзает ум разуметь Писания (Лк. 24, 45). Так как Вы принадлежите к разряду грамотных, я шлю Вам для *серьезного* просмотра книгу. Если Вас интересует многое — найдете ответы. Если нет — не читайте. Нет, впрочем, читайте, во всяком случае потерять от чтения таких книг ничего нельзя, приобрести же, при желании,— очень много. Я больше чем уверена, что Вам эта книга понравится и своей глубиной и ясностью изложения. Читайте на духовное здоровье! Ну, всего хорошего! «Врачу, исцелися сам!» [3]

Н. К.

Если не ошибаюсь, книга эта была епископа Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться».

Итак, чтение книг духовного содержания, чтение Евангелия и посещение церкви и молитвенное правило в своей комнате стало мне необходимо. В углу киот с образами и всегда зажженная лампада, на ночном столике Евангелие и какая-либо книга. Но отец следил за мной и, конечно, читал мои дневники, полные восхищения словами Натальи Дмитриевны.

— Новое твое обже! (обожание). А ты лучше прочти (автор). Сходи-ка в библиотеку, возьми Ренана, прочти вот этого автора.

Повинуясь, чтобы не вызвать раздражения, я сама шла в библиотеку, брала и читала. Нет, не нравились мне эти книги!

— Ну что, интересно? Поняла, кто был Христос?

Начинался разговор. Я была так молода, так

любила отца, что спорить и дискутировать с ним не могла: боялась я, что еще 5–10 минут, и он скажет что-либо *страшное* для души. Где мне было тягаться с ним, с его запасом всяких научных атеистических доводов! А их у него было так много... «Папочка, ты бы прочел Евангелие... Ты бы полюбил церковь»,— робко скажу я. «Я *все* знаю, я *все* знаю и понимаю, слушай меня, я боюсь за тебя, ты мое счастье, я не переживу, если... если...» На глазах слезы, голос дрожит, глухо кашляет в своем кабинете. Очень я его огорчала! Очень... очень!..

А я все же иду к обедне, ко всенощной, к матушке Евანфии.

Отец был председателем педагогического совета в гимназии, и конечно, начальство знало о влиянии Н. Д. на меня. Это было для Н. Д. опасно — вольнодумство не поощрялось. За мной стали и другие ученицы «обожать» Н. Д., причем ученицы-то самые лучшие 5–7 классов. С горечью и недоумением я видела, что Н. Д. сторонилась меня и ни книг, ни бесед уже не было, а причина та, что наша семейная обстановка была известна всему городу. Досужие кумушки разносили сплетни... Плохая семья!

«С кем вчера гулял твой отец на бульваре?»

Стыд жег мои щеки. Я замыкалась в себе и бежала в монастырь к матушке Евანфии.

«За что меня не любит Н. Д.?» — вопрошаю я в своем дневнике.

По всем предметам 5, а по-немецки всегда, за все ответы 4. Знаю, знаю, угадываю!

«Может ли что доброе быть из Назарета?» [4] А я... а у нас бедлам (сумасшедший дом в Анг-

лии). Может ли что доброе быть из бедлама? Я грущу, вздыхаю и завидую Лизе. Да, я росла в обстановке очень тяжелой...

Лиза

Она была годом старше меня и на класс ниже меня. Наталья Дмитриевна считала Лизу своим маленьким лучшим другом. Лиза была краснощекая, крепкая, курносая девочка из крестьянской семьи, живущей в деревне. Отец чем-то торговал, привозя гастрономию из Москвы. У нее была длинная густая рыжая коса и блестящие круглые глаза. От всей фигуры веяло крестьянской дородностью, деловитостью. Она была в классе первой ученицей, но всех чуждалась. Ученье ей давалось легко. Говорила она отрывисто-бойко, не стесняясь в выражениях.

Она следовала во всем за Н. Д. Ее можно было видеть и в церкви, где была Н. Д. ...

Н. Д. поклон и Лиза поклон.

Н. Д. снимет в церкви шляпу и Лиза тоже.

Н. Д. поставит свечу и Лиза сейчас же сделает то же.

Лиза исполняла все посты, хотя не скрывала, что черный хлеб съедала буханками. Одевалась в черное, ходила с глазами, опущенными вниз, не читала светских книг и, конечно, как Н. Д., не ходила ни в кино, ни на спектакли, не танцевала; говорила мало, а с некоторыми девочками и вовсе не разговаривала.

«Святоша! Монашка! Юродивая! Ханжа!» — смеялись над ней.

Несмотря на посты и службы, она была

здоровая. Так вот и казалось, что сейчас прыснет смехом, что все это в ней наигранное, не ее... А она только и глаза поднимала, чтобы увидеть Н. Д. Перед уроком немецкого языка Лиза никому, а тем более мне, не даст зажечь в классе лампаду перед образом, всех оттолкнет: «Не так, я сама!»

Н. Д. войдет в класс, посмотрит на икону, невзначай что-то шепнет Лизе. А мне тяжело, обидно: со мной давно ни слова, ни взгляда. Даже и спрашивать перестала, как я руку ни тяну, а Лизу 5–10 раз за урок спросит. Уроки 5 и 6 классов шли вместе, так как учили немецкий язык не все.

Я стала дружить с Лизой, но никаких разговоров о Н. Д. Лиза со мной не вела. Думаю, что это был их сговор.

Все мои дневники того времени заполнены разговорами с Лизой об аскетизме, о монашестве, о молитве Иисусовой. Она, Лиза, была за аскетизм, за отказ от всего мирского, грешного. Лишь бы спасти свою душу для Царствия Божьего. А остальное — не мое дело! Я же выдвигала альтруизм и желание «положить душу за други своя». Здесь было скрытое влияние отца, рассказы про революционеров, каторжан. Ведь в студенческие годы отец увлекался революционными теориями и «преклонялся перед каторжниками», как говорила мама. Отец числился еще и тюремным врачом, и хотя в тюрьме города сидели только уголовные, отец жалел их и всегда говорил, что «все друг перед другом виноваты». Я как-то носила передачу в тюрьму. Отец уже в эти годы не вел переписку с «товарищами» и сжег все их

письма, но, как многие, ругал царское правительство и ждал революции, когда будет... о чем только он ни мечтал!.. Ох его мечты!

— Напеки пирогов, сходи на самые окраины, там, где живет беднота! — говорил папа. Я пекла пироги и выискивала бедноту. Мать меня ужасно напугала этими лачугами, накричала на отца, и филантропия моя кончилась.

Я сама искала какого-то подвига, стала думать, как бы помочь на войне, и отец нашел выход: дал работу. Набрав конвертов, бумаги, марок, я ходила в больницу и писала письма в деревни солдатам, которые лежали в больнице. Это отец воспитал во мне *участие к людям*, и я считала, как и он, что аскетизм — это эгоизм.

Раз в неделю отец дома вел бесплатный прием бедноты.

Вот и были у меня с Лизой разговоры, чем и как спасти свою душу.

Душеспасение Н. Д. и Лизы шло быстрыми темпами. Слухи шли, что они приступают к Святому Причастию чуть ли не ежедневно. Это производило сенсацию в городе не только среди купцов и интеллигенции, но и среди духовенства. А в городе 25 церквей и 3 монастыря — можно скрытно ходить. И опять слухи, пересуды: «Это ересь! Это не по-православному! Н. Д. смущает учениц, улавливая их в религиозные секты».

Н. Д. и сочли бы сектанткой, если бы не знали, что местный архиерей благоволил к ней (Иосиф Петровых).

— Владыка приехал! — восторженно шептала мне Лиза.

Звонили колокола. Владыка совершал бого-

служение с пышностью и торжественностью. К Святой Чаше подходили только Лиза и Н. Д.

А когда Владыка служил для себя, келейно, то Лиза пела и читала за псаломщика, а Н. Д. подходила одна. И за стол Владыка их приглашал.

Но ведь таких, как Н. Д., в городе и не было.

Меня мучила *детская зависть*, но я не хотела так слепо следовать Н. Д., как Лиза, и не хотела отказываться от светских удовольствий, к радости отца, боявшегося «ереси» Н. Д.

В 15 лет я была бледная, худая девочка. Почему-то я не любила есть и ела мало, никакие сладости меня не интересовали, но красиво одеться я любила. Сине-голубое платье так шло мне. «Девочка-фиалочка»,— называл меня кто-то, и я уже заглядывала в зеркало на себя. А Лиза шила черное платье, готовясь идти в монастырь. Она уже и четки себе приготовила и про себя творила Иисусову молитву — в 16-то лет! А?!

Отец же поучал меня, что смысл жизни в «неустанном делании добра»... Ах, я бы верила ему, если бы... за что он не любил мать? Почему при нас, детях, он говорил, что не дождется, пока мы вырастем?! Как он мечтал о другом, тяготился семьей!

Здоровье мое было слабое, и отец не раз со слезами на глазах уговаривал меня отдохнуть, гулять, есть. Я огорчала его до слез своей худобой и кашлем. «Какое у тебя раннее духовное развитие! — ужасался он.— Я в твои годы только и думал об удовольствиях. Почему ты так настойчиво желаешь ехать в Саров? Видно, там ты найдешь себе какую-нибудь трагическую смерть!» Он пугал и себя и меня. «Мне надо найти свой

жизненный путь!» — твердила я. Мы с Лизой решили ехать вместе.

Это было в июне 1915 года.

Поездка в Саров

Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит.
Пс. 19, 5

Меня отпустили в Саров с Лизой и двумя монахинями, одна из которых была матушка Еванфия, а другая до того молчаливая и тихая, непрерывно перебирающая четки, что можно было подумать, что она глухонемая,— матушка Варсонофия. Отец был очень озабочен, давал мне советы и наставления, со слезами крестил меня на дорогу. Я обещала ему не купаться в холодной воде — ведь я всегда кашляла. Мама была рассержена и пугала меня случаями на тему «что может случиться», приводя страшные трагедии.

Долго мы ждали парохода у пристани. Я помню, что читала книгу Арндта «Об истинном христианстве», сидя на бревнах у воды. Боялась, не пришла бы мать взять меня обратно.

Наталья Дмитриевна пришла провожать Лизу, и они сидели вдвоем наверху горы, на бульваре, мирно беседуя. Подойти к ним я не посмела, меня туда не звали и не сказали ни слова,— обидно мне было и завидно, да насильно мил не будешь! Дружбой со мной Лиза гордилась: я с ней советовалась по учебным делам, иногда она поправляла мое немецкое изложение; я защищала

ее от нападок одноклассниц, она бывала у нас дома. Я извиняла ее резкость деревенским воспитанием, но преклонялась перед ее отданностью Церкви и подражанием во всем Н. Д. Ее духовное совершенство, как я считала, было необычайно идейно, глубоко...— куда мне с моими сомнениями, с моим общительным характером,— я не аскетка, я люблю природу, стихи, ищу интересных людей, спорю с девочками о смысле жизни. Мне многое неясно, я хочу много знать! А у Лизы — все ясно, ничего не надо, кроме спасения души. Вот только у старцев Саровской пустыни испросить бы благословения на частое-частое причащение Святых Таин и на монашество.

— Давай, останемся?!

— Нет, я домой вернусь! — отвечаю я.

— «Всякий озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия!»[5] — изрекает Лиза. Она цитатами из Евангелия и псалмов так и сыплет в ответ.

Едва мы сели на пароход и вошли в каюту, как Лиза распределила места. А я думала, что матушка Еванфия будет за старшую. Обе они устали, весь день ожидая на пристани сильно опоздавший пароход, и быстро уснули. Мы зажгли восковые свечки, взятые с собой, и читали Евангелие.

— 50 поклонов! — сказала Лиза.

— Не могу, устала, голова болит! — я почти засыпала.

— Разнюнилась! А еще в Саров едешь, сидела бы дома! — обрезала Лиза и стала отбивать поклоны на восток.

Утром встал вопрос о еде. Мы все набрали

с собой хлеба, сухарей, яиц и прочих немясных запасов, так как время было военное, все дорожало и на пароходе все было дорого.

Лиза распорядилась съесть сначала мое. «У меня консервы, яйца, на обратную дорогу пойдут еще — все будем есть потом, после». Свой тяжелый рюкзак она спрятала подальше. Пили чаек с ситным. В обед взяли на кухне щей да картошки.

— Плати ты,— ты самая богатая из нас. Хватит с тебя! Хлеба черного ешь больше!

Сама она съедала огромные куски и смеялась надо мной: «Плюшек нет здесь, привыкла к бульону-то да котлетам, вот и голова болит... Ну и лежи! Неженка!»

Я только ежилась от такого обращения, стараясь помогать старушкам-монахиням во всем, держалась к ним ближе, и они уговаривали меня пообедать одной в столовой, не стесняться их. Я брала обед, но ели вместе.

Матушки расположены ко мне были больше, чем к Лизе, и Лиза старалась избегать их. Сидя на палубе, она то и дело вставала, крестясь на церкви, белеющие на берегах Волги.

На палубе ехали раненые солдаты. Публика слушала их страшные рассказы о зверствах немцев, о тяжелой жизни солдат в окопах. Как им всем хотелось домой к своим женам и детям, в свою деревню, к своему дому. Свои раны они считали счастьем, которое, может быть, освободит их от убийств и смерти. Это были пожилые бородатые крестьяне. А молодые были озлоблены и ругали офицеров, командиров и Царя. Революционный дух уже веял везде, недовольство

народа выражалось явно. Кто-то отдавал жизнь, а кто-то (я знала кто) разживался на войне.

Через два дня доехали до Нижнего Новгорода и ночевали в монастыре. Сидя у окна в эту июньскую теплую ночь, я стала молиться на небо, своими словами прося Бога вести меня, не дать мне запутаться, погибнуть для вечной жизни, забыв Евангелие и Церковь.

«Укажи мне, как жить дальше!» — вот был вопль моей души. Это был вопль вдохновенной молитвы. Я знала, что через год, когда я и сестра кончим гимназию и институт, наступит новая жизнь без отца, который так мечтал пожить «для себя». Мать, не стесняясь и не скрывая, высказывала свои мысли, пугая будущим.

Лиза утром ушла к обедне, где причащалась, и пришла усталая и чем-то недовольная.

В Ардатове сговорились с возчиком на пять-шесть дней. Двое ехали с поклажей, а мы, девочки, шли по очереди, так как лошадке было трудно всех везти. Возчик был бывалый, не один год возил по святым местам богомольцев. Возчик очень оценил повадки Лизы — как она умела вести и править лошадью, когда возчик шел.

— Ты все идешь, а она и возчика-то с козел согнала — сама сидеть хочет,— ворчали старушки.

— Люблю править! — лихо поговаривала Лиза, понукая хлыстом лошадку.

— А я не умею!

— Ну вот и шагай! Барыня!

Ехали мы ночью, и рассвет встречали в поле. «Споемте, девочки,— Слава Тебе, показавшему нам свет![6]»,— просили матушки. Все хором спели, и еще молитвы спели. Какие-то бого-

мольцы — две женщины, девушка и хромой мужчина подсели к нам и вышел хор. Они шли 60 верст пешком, а у нас был возчик, и мы расстались.

Величественная панорама открылась перед глазами, когда из-за леса показались храмы и потом весь монастырь (Дивеевский). Монахини встречали всех, брали поклажу и провожали в гостиницу. Будто они ждали богомольцев, а мы были им как родные. Мы отказались от дворянской гостиницы и пошли в «общую», как простой народ. Было чисто, но жестко спать на деревянной скамье, есть в простых жестяных тарелках, умываться из общего рукомойника. А тут еще и дети плакали, и болела голова от духоты и спертого воздуха. Это все после моей светлой, уютной комнаты! Ночь не дала отдыха... Утром обедня. Лиза опять подходила к Святой Чаше.

— А когда же ты исповедовалась? — спросила я.

— Смотри на себя, и довольно с тебя! — был ее ответ.

После обедни и завтрака из пшенной каши, которую принесли на стол в ведре и все, кто хотел, ели, мы пошли осматривать хозяйство монастыря. Меня заинтересовали мастерские. Светлые просторные комнаты, уставленные в ряд пяльцы. Монашенки-послушницы шьют, вышивают шелками и золотом, бисером и жемчугом красивые вещи,— и ризы к иконам, и пелены на надгробия, и разные панно, подвески.

Какая трудоемкая ручная работа, какое мастерство! В другом зале шьют белье, платье: ведь в монастыре больше тысячи насельниц — все

свое и для своих. Вот и белье для армии, зеленые гимнастерки, суровые рубашки. Зал золотошвеек: шьют эполеты, погоны, вяжут аксельбанты для армии — это государственная нагрузка.

Руководят все свои же монахини.

— Откуда вкус, изящество рисунка?

— С детства приучают к послушанию, а Господь всему и умудряет, — разъясняет проводница.— Трудолюбие выращивает талант.

Осмотрели сиротский дом для девочек. Нянимонашки ухаживают за детьми. «Чьи же дети?» — «Да разные случаи сиротства и бедности, а теперь и беженцы от немцев из занятых губерний». Содержат за счет монастыря.

В художественных мастерских шел урок рисования. При монастыре есть школа для детей. Девочек учат писать иконы, но сейчас их учат рисовать разные фигуры из кубиков, со слепков. Несколько девочек лет 10–12-ти в черных длинных платьях и скуфейках.

«Они уже хотят быть монахинями».— «В 10-то лет?!» — ужасаюсь я. «Так уж видно по их характеру и сердечному расположению, что они склонны к монастырскому житию; не любят мира».

Взрослые монахини пишут иконы. Живописное Распятие надолго осталось в памяти. Везде трудолюбие, молчание, молитва!

В Дивеев принимают только девушек, вдов не принимают — так заповедал преподобный Серафим,— потому и называется Дивеево (Дева)[7]. Здесь все готовое для насельниц: и одежда, и стол, зато весь труд, кому какой дадут, никем не оплачивается, все делают «по послушанию».

Много всяких служебных построек, все делают

монахини. Огород, сад, скотный двор, пчельник — всего не могли обойти. После ужина — постной лапши с грибами — монахиня стала обходить всех с блюдом. «Сколько же за день с четверых?» — спросили мы. «По усердию»,— был ответ. Матушки наши оценили: и нам не дорого, и усердие показали.

Вечером надо было ходить по «Серафимовой дорожке» — насыпь небольшая с утоптанной тропинкой; шли с Иисусовой молитвой и четками: «За эту дорожку антихрист не пройдет!» — объясняет монахиня. «А скоро он придет?» — спросит кто-то. «Ох, скоро для тебя, скоро!»

— Антихрист — отречение! — пояснит следующий голос.

— Не отрекусь! Все, но не я! — отзовется еще голос.

— Помни, помни петуха!

— Запоет для тебя!

— Молитесь! Господь милостив, все простит.

Вот так идут одна за одной, прикладываясь к встречающимся иконам на столбах, кладут поклоны.

Устала я, и червь сомнения подкрадывался язвительными мыслями: для чего все это? Скорей бы в Саров!

Утром пошли к обедне, было воскресенье и пел «большой хор». Было торжественное пение, вернулись часам к двум дня, еле стояли на ногах от усталости. Лиза отказалась от всяких хлопот по хозяйству и помощи матушкам, запасы свои берегла и разговаривала, резко отвечая. «Ладно, уж перетерпи, пребудем в мире»,— утешали матушки и меня и себя.

Лиза вела запись расходов, все деля на четверых поровну, и ела за троих, удивляя нас аппетитом. Белого хлеба не было совсем, и только просфоры ели по утрам.

К вечеру поехали по дороге в Саров, на той же отдохнувшей лошадке и с тем же возчиком. Почему-то он был голоден, взял у нас хлеб, а мы просили Лизу ему чего-либо дать из ее запасов. Я была очень удивлена, что возчик ел крутые протухшие яйца, данные Лизой, даже черные иногда. Погода была жаркая, и яички испортились. «Ну вот, нам не давала!» — «А смотри-ка, как он ест! — умилялась Лиза.— Вот что значит голод. Вот что значит простой человек — не вы!» А извозчик, запивая водой из фляги, съел за дорогу десятка два яиц и все хвалил Лизу, как она умеет обращаться с лошадью.

Кончился сосновый бор, проехали полями и перед нами — стены Сарова. Толпы народа, идущего туда и сюда, вызывали чувство, что здесь идут на базар и с базара. Крестьяне-мордва в расшитых сарафанах, ярких платках и фартуках, в онучах и лаптях заполняли дорогу. Шли с детьми, тащили тележки с инвалидами, с больными. Часто встречались на дороге нищие, калеки, слепые, сидящие на земле и поющие «Лазаря». В воротах при въезде монах высокого роста направлял пришедших и приехавших в корпуса. Везде стрелки с цифрами, так что сразу нашли «корпус для женщин без детей». А есть для семейных и для паломников-мужчин.

По мужскому монастырю женщинам и детям ходить нельзя. Нас ознакомили с расписанием служб в церкви и куда нужно сходить.

в пустыньку, к камню, на источник. Сказали, что в три дня все можно сделать и «идите по домам», то есть больше и дольше жить нельзя и делать нечего. Строго, коротко, ясно, без поклонов. Мальчики-послушники лет 12–14-ти принесли чайники с кипятком, миску черного хлеба. Они исполняли роли «мальчиков на побегушках» и быстро, точно выполняли приказания старшего седого монаха, смотря ему в глаза. Не шалили. Видно, было строго: «По восемь часов бегают! — пояснил о. Паисий,— и все в чистоте и порядке держат». Впервые в жизни я услышала слово «беспризорные», они наши, приютские. Опять из занятых немцами областей, беженцы, потерявшие родителей и родных.

Утром в 5 часов перед обедней шла общая исповедь. В храме полно народу. Я впервые была на общей исповеди, но поняла, что индивидуальная исповедь заняла бы сутки-двое. Священник, заглядывая в требник, перечислял грехи, а народ шумно отвечал: «Грешны! грешны!» А я-то думала, а я-то мечтала об исповеди у старца! Я подошла из последних и сказала об этом. «Некогда, некогда нам! Видишь, сколько народу! Да что у тебя? Пела? Танцевала? Не постилась? Отдельно — зачем же? Бог с тобой, девочка. Иди с миром! Веруй и молись!» — «А может, мне в монастырь уйти?» — «В монастырь? Сначала надо в вере укрепиться в мире, себя испытать во всем. Ведь вы из светских девочек? По вас видно. Интересуетесь духовной жизнью? Читайте книги — это те же люди. Где нам с каждой говорить, видите, какая масса народа?! Некогда!»

На душе было обидно и горько. Лиза громко

читала Правило ко Святому Причащению. Пели уже Херувимскую. Мужской хор монахов басил какое-то знакомое нотное пение, напоминавшее мне раннее счастливое детство на даче под Угличем в Улейменовском монастыре.

Чего я ищу здесь? Зачем я сюда приехала? В Угличе есть старые монахи и нет там этой толпы-мордвы, простого, ничего не понимающего, грешного народа. Я искала людей, которые могли бы служить мне «примером жизни», и я видела таких людей, но пример-то их не подходил мне, ведь мне было 15–16 лет и я была из неверующей среды, с детства слышащая вокруг антирелигиозные рассуждения. Но я была верующая в Бога, любившая Христа и не хотела быть иной. Мне указывали на монахов, священников как на отрицательных персонажей в жизни, их осмеивали и ругали при мне, а к ним тянулась душа моя и в их жизни я находила замечательные поступки. Я видела нравственно совершенных людей, учеников Христа, людей, далеких от грехов, и людей, окружающих меня. Здесь была ругань, а у тех — молитва; здесь была ненависть, злоба, месть, сплетни, а у верующих — любовь и всепрощение и неосуждение. Кто-то сказал, что душа человека по природе христианка и от самого человека зависит сохранить и сберечь свою душу[8]. «Образ есть неизреченныя Твоея славы» — душа — образ Божий...

«Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас»[9] — такими изречениями заполнен был мой дневник.

И если отцу моему грезилось через год-два, как мы кончим гимназию, бросить семью, так

и мне хотелось уйти из дома, где не любили христианства, где не было последователей Христа. Но куда? Да ведь я и зарабатывать на хлеб себе не сумею... Впереди все неясно, все страшно... Тихая обитель, монастырь манил простотой жизни и цели, но ум не соглашался и требовал образования, широкой деятельности, воли, свободы ежечасной и какого-то жизненного размаха, а не сидения за пяльцами, за шитьем, за работой, изнурительной, изо дня в день. «Погубить свою жизнь в монастыре — это сохранить душу для вечности! — поучают меня старушки-спутницы.— И в монастыре грех и искушения бывают, но с молитвой все можно победить! А в миру — одна погибель!»

И вспоминаются мне случаи из моего раннего детства. Мне 6–7 лет. Бонна берет меня с собой в монастырь, «в гости к монаху о. Михаилу». Он с неохотой отворяет дверь в келлию — смущен и недоволен. Я не понимаю, о чем ему тихо говорит бонна, но о. Михаил, сидя в углу под иконами, качает головой и говорит: «Нет, нам это не дозволено! Нет, нам это не полезно!» Я каким-то чутьем угадываю, что бонна зовет его гулять в лес, а это ему грех. Я в восторге от слов отца Михаила, я знаю, что он победил, что он верно поступил. Я готова целовать его руки и начинаю проситься домой.

«Пень! Какой же он дубовый пень!» — выходя, говорит бонна, а я знаю, что о. Михаил святой, и когда он служит обедню, я стою на коленях не перед образами, а перед ним. Я с детства любила батюшек. Послушник Николай по вечерам гуляет с нашей семьей во ржи; но вот 8 часов,

удар колокола, возвещающий, что ворота монастыря через полчаса закроют на ночь. «Останьтесь, погуляем еще, вы через стену влезете!» — уговаривают монаха мама и тетя. «Нам не дозволено так-то делать!» — отвечает он и убегает. Кем не дозволено?

Как потом в годы юности и всяких искушений эти слова: «это нам не дозволено!» — грели ярким огнем, очищали поступки, согревали душу и утверждали веру! Да, только верующему Господь давал силу преодолевать искушения и грех.

А время приближалось такое, что царствовал лозунг «все позволено!» Война, разруха, дороговизна. Даже в монастыре объявления: «Остерегайтесь воров!», «Не ходите по лесу одни!», «Берегитесь незнакомцев!» — уже и здесь случаи грабежа паломников.

Матушка Еванфия, понимавшая меня, утешала: «Получишь ты здесь и ответ и утешение, молись и не смущайся ничем. Ну что ж, что и здесь встречаются воры? Везде люди, везде и грехи. На святые места враг рода человеческого еще больше нападает, и на хороших святых людей больше ополчается. Грешники дьяволу не нужны, они и так его слуги!»

Пришли мы в собор прикладываться к мощам преподобного Серафима. Очередь вьется по церкви, читают акафист Преподобному, и народ нестройно подпевает за певчими. У свечного ящика стоит звон от считаемых монет. Продают свечи всех размеров, и на блюде их носит монах к раке. А там блеск серебра и золота от множества зажженных свечей и лампад. Опять сомнения: да нужно ли все это почившему святому?

И для чего все это столпотворение здесь? Очередь к мощам соблюдается строго, священник монах наклоняет голову на определенное место — задержаться ни на секунду нельзя, подходит следующий паломник... двигается тысячная цепочка людей... Где же тут «поплакать у мощей, излить горе, просить о прощении, посещении и твердости» — скорее, скорее!!

Пошли на источник. Дорога лесом, сосновым лесом столетним. Дорога широкая, утоптанная толпами богомольцев. Опять мордовки в ярких платьях, в лаптях, много и русских крестьян, группа монахов из какого-то мужского монастыря — идут тоже к источнику. Девушки в белых платочках, как и я с Лизой. Вспоминается картина Нестерова «Святая Русь». Идут труждающиеся и обремененные... Большинство простой народ.

«Шляп нет, франтов нет; веселых нет, богатых нет»,— считает Лиза. «Да богатых и веселых Господь и не звал к Себе,— скажет матушка,— им здесь ничего не надо и делать здесь им нечего!»

А мне надо идти, ведь я — обремененная сомнением и усталостью! Солнце нестерпимо палит, июнь, и хорошо идти по лесу в надежде напиться у источника. По бокам дороги — лавочки-киоски, где продают просфоры. Монах мочит водой низ купленной просфоры и чернильным карандашом выводит имена поминаемых «за здравие» и «за упокой». Просфоры идут в разные корзины.

«Всех помянем, всех помянем,— говорит старик-монах.— Завтра получите в притворе церкви, ну что же, что не свою, не с вашими

именами получите просфору? Мы все одно Тело Господне! Мы все равны: и стар, и млад, и беден, и богат — у Господа!»

Звенят пятачки и гривенники, опускаемые в металлические кружки. «И везде-то деньги надо!» — сокрушается Лиза, не уместившая на огромной просфоре всю родню. А мне не хочется никого писать неверующего, но матушка советует писать именно их, за кого будет молитва в церкви у престола. «А как же без денег? Ведь в монастыре больше тысячи живут, всех надо одеть, обуть, накормить, да и нас всех, паломников, хлебом и квасом даром кормят»,— вразумляют нас. «Да, квас-то здесь отменный, а хлеб-то черный заварной лучше всякого медового пряника!»

Идем дальше. На обочине сидят нищие-калеки, поют «Лазаря», делят деньги, лежат, спят. Встретили тележку — безногого везли.

Ох ты Русь, терпеливая, нищая!

Вот и источник. Где же?

Спускаемся вниз по 10-ти ступенькам и попадаем в купальню. Пол бетонированный. Наверху у потолка железная труба с отверстиями, из которых большой струей льется вода, холодная ключевая вода. Лиза и матушка подходят, крестясь, под ледяной душ. Я не хочу — обещала отцу, я кашляю. «Вот искупаешься и не будешь во век свой кашлять»,— говорят мне. «Нет, не хочу!» — «Ну и будешь всегда кашлять!» — пророчат мне матушки*.

«У нее веры нет в это,— вставляет Лиза и снова идет под струю.— Как кипятком обдало!» — от ее

* Предсказание за неверие сбылось: я всю жизнь кашляю и ничто мне не помогает.

тела идет пар. Я содрогаюсь, борюсь с собой: «Нет, не надо!» Подошла к колодцу и заглянула вглубь: там икона (?) преподобного Серафима. Все бросились ко мне: как? где стояла? как видела?

«Врешь, ничего не видела! Ишь, какая святоша!» — всполошилась Лиза. «Мне показалось... я видела, но чего ты накинулась на меня?» — «Преподобный показывается только особым людям!» — поясняют мне. «А она и не купалась даже! — Лиза выходила из себя.— Ничего не видно!» — «Ну да ладно, оставьте Зою»,— заступалась матушка; а я обижена и напугана, кругом люди слушают, все смотрят в колодец и на меня.

Здесь же киоск. Торгуют бутылками и деревянными к ним футлярами. Налив воды, взяла бутыль для мамы: «Может, исцелится». Пошли дальше лесом — к камню, на котором преподобный Серафим молился 1000 дней. Камень огорожен железной решеткой, рядом сосны окованы высоко железом. Паломники все портят, беря на исцеление. Вся земля около камня изрыта так, что образовались ямы из чистого желтого крупного песка, который насыпают в мешочки. Монах, сторож при камне, раздает мелкие камушки.

Рядом киоск торгует листочками с молитвами, кому какую. Ленты, закладки, образки и крестики на шнурках. У кого нет денег — берите даром, другие за вас дадут, но совестливые наши люди даром почти не берут, разве листок с молитвой. Все стоит копейку, две, пятак.

Черные шелковые четки купили и я и Лиза.

«Для чего они тебе?» — допрашивает Лиза. «В подарок матушке».— «То-то!» Какая она, Лиза, сердитая.

У меня в душе смущение: везде торгуют, везде деньги... Разве в этом Царство Небесное? Разве здесь истина? Люди чтут песок, чтут камень, чтут воду...— все это мне не нужно, чуждо, да и устала я ото всего...

Опять идем в «Дальнюю келейку», где жил преподобный Серафим. Небольшая избушка, вся в иконах и лампадках. Старый монах, отец Афанасий, раздает сухарики. Кого погладит по голове, кого перекрестит, другому словечко скажет, а то поет молитву. Подхожу и я: «Ничего, не тужи, все хорошо будет!» — слова ободряют меня. Возвращаемся усталые и после скромного ужина узнаем от монаха, что в монастыре есть старец в затворе. Он никого давно не принимает, но ему можно написать письмо и получить ответ. Я обрадовалась, хотя червь сомнения не оставлял меня: «Как он мне ответит?»

Через всю жизнь сохранным пронесла я это письмо. Вот оно:

«Батюшка. Научите меня, как жить, чтобы быть достойной носить имя христианки. Покажите мне путь мой и как я должна идти по нему, чтобы достигнуть нравственного совершенства, к которому стремлюсь всей душой и хочу его приобрести. Скорблю о том, что мало во мне веры, которая укрепляет духовную жизнь. Догматы и обряды не находят места в душе моей, я их или отвергаю, или не следую им, потому что они не учат нравственности. Евангельские слова Иисуса Христа, что Царство Божие внутрь вас есть,— живут в душе моей, но я не знаю, как воздвигать и укреплять это Царство. Я хотела бы иметь тишину и покой в душе своей с непре-

станной молитвой Иисусу Христу, но в монастырь постричься я не могу потому, что хочу «душу свою положить за други своя», да и люблю жить с людьми и в мире.

Скорблю я и о том, что люблю своего папу часто больше учения Христа, и когда родители мои против моего частого хождения в церковь или к исповеди (что было в Великий пост), то я сильно сокрушаюсь сердцем и не знаю, что делать, не могу нарушить просьбу родителей. Нахожу утешение у Распятия, но сердце болит. Скажите мне, батюшка, сколько раз в году надо приступать к Св. Причащению? Мне говорят некоторые, что можно часто, но я боюсь привыкнуть, за что, конечно, на том свете потерплю от Господа наказание, да и сама, пожалуй, не смогу быть всегда готовой, ибо погружена в заботы мира сего. Сегодня я исповедовалась и приобщалась Св. Таин, но не имею такой духовной радости, что раньше испытывала, по причине множества исповедников не успела сказать все свои согрешения, и мне горько сегодня.

Батюшка, знаете вы всё, что есть в душе моей, и видите ее — научите же меня жить и скажите, укажите путь, я хочу жить истинной христианкой, сама не имея на это веры в догматы и обряды. Скорблю я о том, что, видно, скоро наша семья распадется, а я не знаю, к кому отойти — к матери или к отцу. У отца моего любимого есть другая, и он хочет с ней жить, а не с нами. Я у отца любимая дочь и сама его люблю, а мать больную мне жалко оставлять. Скажите, батюшка, что будет с семьей нашей и к кому мне отойти, к отцу или к матери. Сердце болит, как подумаю

о сестре Рае и брате Николае — куда нам идти и как жить дальше? У матери моей какая-то болезнь, голова и сердце болит, тоскует. Скажите, что ей сделать, чтобы выздороветь? Батюшка, родимый, напишите мне записочку — я бы по ней и жила. Прошу вашего благословения на мою семью, рабу Божью Анну и на меня грешную, рабу Божью Зою».

Переписывала начисто. Лиза так и ахнула: «Где же старцу читать твое послание? Что писала?» Не дала я ей читать. Это был протест за ее ворчанье на меня. «А обо мне писала? А об Н. Д.?» — «Ничего тебе не скажу!»

А вокруг разговоры: «Да где же старцу все наши письма читать? Да когда же? Да грамотен ли он? Поймет ли он? Как он ответит?»

Монах раздавал конверты: «Положите по усердию на обитель». И здесь деньги! А кто распечатывает? Кто читает? И нашептывает дьявол сомнения. Вспоминаются слова Христа: «Се, сатана просил сеять вас как пшеницу!» Сеется душа, сеется через сито сомнений и неверия; отметается мякина, остается вера. И пишут, и деньги дают, и верят, что будет ответ. Вера нужна, вера!

Огромный почтовый ящик, сюда и кладут письма. Не прочесть!.. Сколько здесь слез, молитв, просьб — и все с надеждой ответа.

На следующий день к вечеру идем все за ответом. Толпа идет к двухэтажному деревянному флигелю с балконом и лестницей, к нему. «Это немыслимо! — думаю я.— Это обман: всем ответить?! О Господи, зачем я сюда приехала? Все ложь, обман народа...» — шепчет мне сатана в душе. Я отошла от толпы. На балкон вышел

монах, принесли книги, картинки из жизни преподобного Серафима. Толпа засуетилась, все взоры обращены к балкону. Монах — это келейник старца о. Анатолия, который в затворе, не выходит, не принимает, не видит никого...

Верю, Господи! Помоги моему неверию! [10]

Чудо

По вере вашей дастся вам!
[Мф. 9, 29]

Я стояла вне толпы... я уже ничего не ждала, умом сознавая, что никто никакого ответа на письмо не даст, так как это и невозможно. Еще вчера вечером, написав письмо, я сказала об этом матушке Евангелии. Она хоть и огорчилась моим настроением, но не переставала обо мне молиться днем и ночью и глаза ее слезились. Она себя чувствовала как бы обязанной мне: она посоветовала мне ехать в Саров, я оплатила ей частично дорогу, а мое желание видеть старца, получить совет — невыполнимо. А вечером надо уже ехать дальше...

Толпа засуетилась, зашумела, и, обернувшись, я услышала голоса: «Тебя зовет! тебя зовет!» Матушка Евангелия машет рукой: «Иди, тебя зовет!» Все обернулись ко мне, толпа расступилась. Я птицей влетела на балкон, где стоял монах.

Высокий, худощавый монах лет 45-ти, с небесными голубыми глазами кладет мне руку на плечо. Я изумлена и не могу сказать ни слова, а он начинает говорить. Голос у него дрожит, он не то заикается, не то волнуется: «Вот пришла,

девушка, сюда, за ответом к старцу, вот и отвечу тебе. Не тужи, только веруй и молись преподобному Серафиму, и все у тебя в жизни будет хорошо. Ты учишься, вот и учись дальше и будешь работать, и заработаешь на все, что тебе надо».— «А мать? отец? семья?..— спешу я спросить.— Я такая несчастная! Семья у нас...— а сама так заплакала горько,— разлад в семье...»

— Ты одна будешь жить, но матери не оставляй. Их разлад тебя не касается, не горюй об этом — скорбями они придут к покаянию, а ты о них молись, но с ними тебе жить не надо, одна будешь жить.

— Монастырь?

— В монастырь тебе нет пути, не надо, не одна потом будешь: и муж будет, и дети будут, и еще и внуков увидишь... А сейчас учись и не тужи — все у тебя хорошо. Ясный путь Господь тебе укажет. Вот какая молоденькая, а сюда захотела и приехала, это Господу и преподобному Серафиму надо... «Радость моя» — он тебе сказал, вот какая девочка приехала...

Монах гладит по голове, а слезы меня душат.

— У меня веры мало, я вот на источнике не купалась. Кашляю я...

— По вере, по вере надо! Но ты здорова, хоть и трудновато тебе будет жить, без скорби не проживешь, но ты себя укрепляй в вере и укрепишься. Твори людям добро во славу Божию, не забывай милостыню давать, и все у тебя будет хорошо и ясно. Я тебе все сказал. Ни к кому тебе больше не надо идти, не ищи, живи своим умом, молитвой...

— А папа мой?

— Нет, нет, одна, без него, а он покается, только потом, и мать, и он.

— В Москву мне, что ли, ехать?

— Да, в Москву, учиться нужно.

— А кем быть? Мне бы помогать хотелось... я бы в сестры на фронт...

— Куда тебе... ни-ни! Везде можно помогать.

— А по специальности?

— Держись ближе к рукоделию, девушке умствовать не полезно, а что попроще. Там семья, дети, заботы в доме, в ученье ты не ходи!

И опять повторяет:

— Тебе Господь все устроит, тебя преподобный Серафим ото всего защитит, если уж ты теперь-то к нему приехала, на всю жизнь он с тобой! Только ты не забывай этих дней, сегодняшней нашей беседы. Вот тебе и книга, прочитаешь ее, а там и с хорошими людьми поведись, держись церкви, посещай ее и к таинствам будешь ходить, так и жизнь пройдет. Жизнь твоя мне ясна, иди с миром!

Я, утешенная его мирной беседой, сошла вниз и бросилась к матушке Еванфии. «Ну вот и ответ тебе!» — сказала, заплакав, старушка, а кругом вопросы так и сыплют: «Что сказал? Что велел? Ответил?»

Я, успокоенная, с такой дивной тишиной в душе, сижу где-то на бревнышке, листая книгу.

«Царский путь Креста Господня, ведущий в жизнь вечную»[11]. Это беседа ангела с девушкой о жизни, о пути, о кресте.

Идем домой. Матушкам монах дал по картинке. Лиза вся в слезах, рыдает, всхлипывает. Я молчу с ней, я не хочу ей ничего говорить, я вся

полна пережитым. Так спокойно мне, так тихо на душе.

«Да ты знаешь ли, как он тебя-то позвал? — спрашивает меня матушка.— Ведь первую тебя и зовет: Зоя! Зоя! Вот чудо-то! А в толпе-то и Зои нет, я сразу поняла, что это тебя зовет. Не Зинаиду, а Зою зовет... ведь это чудо... и тебя первую».

Сидя вдвоем, я все рассказываю матушке Еванфии, а она плачет счастливыми слезами: «Ведь я молилась! Ведь это чудо!» — «А о чем Лиза плачет?» — «Так она сама к нему взобралась по лестнице после тебя, что-то ему сказала, а он ее с лестницы да и столкнул, да чего-то сказал ей,— ох как ей обидно: с тобой-то он сколько поговорил, а ей-то — ох плохо, обидно ей» *.

Стали приходить богомольцы: «А мне книжку, а мне дал четки, а меня иконой благословил, а мне велел... а мне сказал»,— и все рады... О русские простые души!

К Лизе было трудно подойти, до чего она была огорчена. Я о себе ей ничего не сказала, как-то не хотелось слышать ее окрика.

На рассвете мы выехали в Знаменский монастырь. Там огромная икона Знамения. Лиза, к моему удивлению, не подошла к Святой Чаше и была сумрачна. Она кое-что узнала от матушки, что я на все получила ответ, и молчала со мной. Дружба наша все более расклеивалась и потому, что Лиза не развязывала свой мешок с продовольствием, а есть нам хотелось. Было за нее стыдно и горько за ее грубость, жадность...

На пароходе случилась совсем неприятная

* Лиза просила благословения ежедневно причащаться, а монах сказал: «Нельзя тебе!» — и прогнал ее.

история. Лиза решила нас угостить консервами, но каждая при открывании шипела, вспухала и портила воздух. Консервы за пять дней жаркой погоды и от тряски тарантаса все испортились. Открыли окно и побросали в волны Волги все до одной банки. А мы все голодные и денег нет, а ехать еще сутки. В Рыбинске взяли один обед за 1 р. 40 коп. (как цены-то растут!), и у меня осталось 2 коп. «Может ты, Лиза, купишь?» — «Мне еще после Углича ехать домой...» — отказала она, запихивая подальше свой кошелек.

Друг мой для меня был потерян.

* * *

— Я думала, что ты из Сарова возвратишься одухотворенная, а ты — злая! — сказала мама. Век не забыть мне этих слов! «Устала я! Не хочу говорить!»

Без меня читались мои дневники, все было пересмотрено. Отец очень интересовался моей поездкой, но не оставлял своей иронии: «А ты думала, там святость найдешь? Камень целуют! Воду святую пьют. Ну как, дочка, довольна? Насмотрелась? Открылись твои глаза?!»

Я замкнулась в себе и, чтобы не возбуждать в отце протеста, писала в дневнике ложь для отца и матери, что «в Сарове я не нашла того, что искала». Это дома нравилось.

Была ли я сама довольна поездкой? Осознала ли я все случившееся со мной? Конечно, довольна и осознала. В 16 лет трудно мне было разобраться во всем. Перечить родителям не хотелось, особенно отцу, который был рад, что я не осталась

в монастыре, не заболела. Где-то в глубине души осталась беседа с келейником-монахом и прошла через всю жизнь, и была путеводной нитью в жизни. В душе был покой — путь был ясен!

Через года полтора я уезжала в Москву. Училась упорно и стала инженером. И были трудности и горести, но не теряла я веры, не сошла с христианского пути. И муж, и дети... и внуков вижу. Вот уж скоро и смерть — слава Богу за все!

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

* * *

А что же с Наталией Димитриевной?

Шли годы. Я приезжала в родной город и навещала ее; мы с годами сблизились. В 30 лет она приняла постриг в монастыре на Волге из рук митрополита Иосифа. Но тайного монашества не скрывала. Жила она бедно, частными уроками, все время проводя в церкви. Ссылки, тюрьма, сибирский концлагерь... и так с небольшими перерывами мирной жизни, и опять тюрьма... за веру, за церковь, за связь с Владыкой, и так до 60 лет. Не счесть ее горестей!

Я ее не оставляла и помогала ей. И она приезжала в нашу семью, отдыхала у нас по 2–3 недели, но пути наши были разные, и ее мировоззрение было иное, чем наше. Дело в том, что митрополит Иосиф в юности еще как-то выделял в миру Н. Д.* Конечно, такой девицы, с таким духовным подъемом, с таким умственным багажом вряд ли можно было сыскать! Да про-

* Я помню его телеграмму: «Никому нельзя, а больным душою (Н. Д.) можно».

стит меня Бог, но я глубоко убеждена, что такое выделение в мире Н. Д. пошло ей в духовную пользу. Она в жизни много писала, размышляла об ошибках Церкви. В 20-х годах около нее сгруппировалась община христиански настроенных людей. Ежедневное причащение Святых Таин было необходимо для Н. Д. Если бы не время, если бы она была мужчиной — ее делом было бы реформаторство. Со своими «трудами» она толкалась напрасно во многие архиерейские двери и дошла до Патриарха (в 1950 г.). «Вы монахиня?» — спросил он. «Да».— «Творите Иисусову молитву. Церкви не нужно ваших реформ!» — он отодвинул ее тетради.

Итак, везде было непонимание, отказ выслушать. Да в наше-то время до реформ ли?

Я же, обремененная семьей, детьми, работой, хозяйством, всегда говорила Н. Д., что мне не подходят ее «труды». В 1938 г. она поехала в ссылку к митрополиту Иосифу, но он, отколовшийся от центрального течения и став во главе «иосифлянства», упрекнул Н. Д. в том, что она ходит в церковь.

«Владыко, вы встали утром и сами отслужили обедню, а если я уйду из нашей Церкви, куда мне идти, где причаститься?»

Н. Д. мне точно передала их беседу.

Владыка Иосиф уже и в ссылке был взят снова и умер где-то в концлагере (в 1943 г.)[12].

Сильна была вера Н. Д. Когда была потеряна всякая надежда «передать труды своей жизни» Церкви, на горизонте показался некто Н. и труды были переданы «прямо в "рот Церкви"»[13].

Началась болезнь. Н. Д. трясло, она перестала

ходить. Последнее наше свидание было в 1952 году, когда ей было 60 лет. Одиннадцать лет она пролежала в инвалидном доме. Все хуже был почерк в письмах, потом руки перестали действовать. Все тело ее окостенело. Голова была свежая, ясная. Я не могла по болезни с 1950 года посетить ее ни разу. Ее Голгофа была мне не по силам и не по разуму. Сгорела эта яркая свеча 25 ноября 1963 года в канун дня св. Иоанна Златоуста.

Хоронили ее торжественно, поминая как схимонахиню Серафиму. Упокой, Господи, душу ее!

О себе она всегда говорила, что она счастлива в жизни.

* * *

А матушка Еванфия? Монастырь разогнали в 1927 году. Матушка умерла 76 лет от роду, уже живя на частной квартире. Однажды она мне приснилась. Звонок. Я открыла дверь, и она вошла и сказала: «Помогайте отцу С.* , и у вас все будет!» (Отец С. был в ссылке, и четверо детей остались сиротами.) Сон меня укрепил: ведь в эти, 30-е годы опасно было помогать лагерным.

* * *

А Лиза? Я уехала из города в августе 1917 года. Разразилась в октябре революция. Я приехала в январе 1918 года к отцу и навестила бывшую подругу. С красным бантом на стриженой голове (коса-то у нее какая была!), в яркой красной кофте она сидела за пианино и наигрывала какую-то веселую песенку.

* Отец Сергий Мечев.

«Ты так изменилась... А ты в Бога-то веруешь ли?» — все же спросила я. «В Бога-то, пожалуй, и верую, но в вечную жизнь — нет! Да, я изменилась и мои убеждения совсем иные теперь...» — «Ты большевичка?» — «Да, пожалуй, что и так!» — «А Н. Д.? Ты у нее бываешь?» Она покраснела: «Нет, нет!»

Революция пришла и в наше захолустье. Монахини рассказывали мне еще через год, что «Лиза обмеряла монастырь, ведь она здесь все знает и всех, и выселяла из монастыря монахинь».

Узнала я, что при приеме в партию кто-то ей задал вопрос о ее вере и она сказала: «Я была под влиянием Крыловой Н. Д. тогда»,— и публично отреклась от веры (и от Натальи Дмитриевны)*.

Шли годы. Посетив Углич, я узнала, что Лиза «пошла в гору». Потом в 30-х годах слышала о трагической смерти ее двух девочек, муж бросил. Она жила в Москве, училась, была политработником, дошла до членов Центр. КИМа.

Как-то по приезде к нам Н. Д. просила меня, чтобы я с ней поехала к Лизе, но я отказалась. «Это будет мое последнее свидание с ней»,— просила Н. Д. Но это был 38-й год. Было опасно ехать к недругу, и я отказалась. Был слух, что Лиза погибла при «культе личности». Как хочется верить, что она перед смертью покаялась. Провидел монах ее дорогу! Увидел в ней врага веры христианской...

* Лет через 25 я как-то услышала от Н. Д.: «Лиза как дочь мне, я ее родила, я ее люблю». И разговор навсегда был окончен. Ни слова осуждения.

Господи, прости прегрешения и отречения, и мученическую смерть прими как искупление! Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!





Анатолий Тимофиевич

В ДИВЕЕВЕ ЛЕТОМ 1926 ГОДА

Проснувшись рано утром, я сразу не мог даже сообразить, где я и что со мной. И вдруг стрелой пронеслась мысль: Боже, да ведь не во сне, а наяву я в благодатном Дивееве. Я вскочил и бросился к окну. Передо мной, весь в лучах восходящего солнца, как чудное видение, стоял большой пятиглавый храм. Кадильным фимиамом клубился утренний туман. Отдельно от храма высилась колокольня. Нет, это не сон, а наяву! Я в Дивееве! От этой мысли сердце радостно затрепетало. Спутник мой также проснулся, и мы, быстро одевшись и никого не беспокоя, зашагали к собору. Поднявшись по ступеням высокой паперти, вошли мы в него. Прекрасный, полный света, украшенный удивительной дивеевской живописью, собор поражал своей, я бы сказал, какой-то одухотворенной красотой и гармоничным сочетанием всех его линий. Первой мыслью было, конечно, припасть к величайшей святыне Дивеева — чудотворному образу Богоматери Умиления, перед которым всю жизнь молился и скончался преподобный Серафим. Вот она, прославленная святыня, в золотой с драгоценными камнями цате, на правой стороне храма.

В эти ранние часы в храме, за исключением нескольких монахинь, почти никого не было, и мы смогли наедине помолиться, как нам хотелось. Скоро зазвонили к обедне, и собор начал наполняться молящимися. Быстро прошла литургия. В конце ее к нам подошла послушница и передала от имени матери казначеи приглашение на чай.

О матери Людмиле, казначее монастыря, мы еще наслышались в Киеве, как об одной из живых достопримечательностей обители, великой молитвеннице и хранительнице церковных традиций и преданий монастырских.

Когда мы входили в большую комнату, где за столом сидело уже несколько монахинь, нас встретила сама мать Людмила. Двое послушниц слегка поддерживали ее под руки. Она была совершенно слепа, среднего роста, на вид совсем еще не глубокая летами старица, в белом апостольнике, вся сиявшая какой-то внутренней неземной красотой. Легкий румянец выступил на оживленном лице. Слепота не только не портила, а, пожалуй, еще более одухотворяла его.

Вспомнились слова Нилуса: «Удивительно приятна старость в Дивееве».

— Жалуйте, жалуйте, дорогие мои, долгожданные,— произнесла матушка.

— Ну вот, благодарение Господу, наконец собрались и приехали в гости-то к Преподобному,— продолжала матушка,— давно, давно пора, ждет-то он вас не дождется.

Растерянные, не зная, что отвечать, молча подошли мы к ней под благословение. Ей подали заготовленные образки преподобного Серафима на эмали в металлических оправах. Медленно

осенила ими матушка крестообразно каждого из нас и, задержав несколько свою руку на голове, добавила: — Господь да защитит, Господь да сохранит, Господь да управит по молитвам Царицы Небесной и преподобного Серафима! — И столько подлинной ласки зазвучало в ее старческом голосе и так приветлива была улыбка на ее устах, что так и потянуло к ней всем своим существом. Только любящая мать могла так встретить своих детей после долгой, долгой разлуки.

После чаю и краткой беседы матушка позвала свою послушницу:

— Грунюшка, отведи-ка ты наших гостей к матери Киприане. Пусть там и поживут у нее. Она старица духовной жизни, да и место благодатное, так оно и хорошо будет.

Горячо поблагодарили мы мать Людмилу за ее исключительное дивеевское радушие. Я осмелился обратиться к ней с просьбой разрешить снять некоторые уголки Дивеева, особенно Канавку, изображения которой я нигде не встречал.

— Ну что ж, во славу Божию и снимайте,— улыбнувшись, ответила матушка, прощаясь с нами.

* * *

По дороге мы стали расспрашивать нашу спутницу, куда это она нас ведет и кто такая мать Киприана.

— А это что у нашей блаженной Прасковьи Ивановны в келейницах-то жила, присматривала за ней. Строгая матушка, да и подвижница. Оно и не мудрено, с блаженными-то поживши и самому разуму-то духовного набраться.

— Скажите, сестрица,— спросил я снова,— давно ли спасается в монастыре мать Киприана?

— О, почитай с молодых лет, и братец-то ее тоже иеромонахом в Сарове, а теперь вот еще и родная племянница ее у нас послушницей, вся-то семья, значит, и собралась под крылышком у Преподобного.

Незаметно мы подошли к небольшому деревянному домику под железной крышей, стоявшему у самых ворот монастырской ограды, и я сразу узнал его по виденным много ранее снимкам. Это был одноэтажный домик с верандой, в котором много лет жила великая Христа ради юродивая блаженная Прасковья Ивановна. Здесь же посетили ее Государь и Государыня в памятный 1903 год — открытия святых мощей преподобного Серафима.

С некоторой робостью взошли мы на невысокое крылечко.

Сопровождающая нас послушница толкнула дверь, и мы очутились в небольшой горнице, откуда вело трое дверей. Сотворив обычную молитву, послушница слегка постучалась в среднюю дверь, откуда сейчас же послышалось ответное «аминь»,— и тут же на пороге показалась высокая, худая, в черном одеянии инокиня. Видно, в молодости она была очень красива. Правильные, тонкие черты изможденного лица, большие впавшие серые глаза и удивительно прозрачный цвет кожи с восковидным оттенком говорили о той внутренней брани, которая велась в этой душе.

Наша сестрица отвесила поясной поклон.

— Благословите, матушка, вот привела гостей из Киева, они хотят пожить у нас поболее и помолиться, так матушка казначея благословила им у вас находиться.

— Бог благословит,— ответила монахиня, между тем зорко оглядывая нас.— Мы всегда рады гостям, как раз и келлия для вас освободилась, только вчера уехали ваши же, киевляне, и она назвала имя известного профессора, последнего ректора Киевской Духовной Академии протоиерея Г. [1] и священника Ш.

В душе я очень пожалел, что лишился возможности совместно с ними побыть в обители, так как оба были близки моему сердцу, особенно первый как мой наставник и руководитель.

Узнав, что уехавшие были наши добрые друзья, матушка, как-то незаметно для себя, потеряла свою суровость, и на ее лице появилась даже улыбка. Она открыла дверь направо и показала небольшую уютную комнату с двумя окошечками, выходившими на монастырский двор. Две кровати, несколько стульев, столик и небольшая этажерка составляли все ее убранство. В углу киот с образами и теплящейся лампадой. Все было просто, но женская рука чувствовалась во всем, и в изящных занавесках на окнах, и в ковриках, вязаной скатерти на столе и даже в стоящем скромном букете полевых цветов.

Не успели мы как следует рассмотреть свое будущее жилище и поблагодарить матушку Киприану, как она затворила дверь и сказала:

— А поначалу хорошо будет и поклониться святыне,— и она ввела нас в келлию блаженной Прасковьи. Стены ее сплошь были увешаны образами, и что особенно привлекло наше внимание, это стоявшее посреди келлии во весь рост Распятие прекрасной работы.

— Перед ним особенно любила молиться

Блаженная,— заметила матушка,— и уж сколько ночей голубушка выстояла напролет, не спавши, сколько слез пролито, то ведает Один только Господь.

Слева в углу находилась большая, покрытая пестрым одеялом кровать со множеством подушек. На кровати лежали куклы[2] самого разнообразного вида, причем от некоторых осталось только одно туловище.

— Путь юродивых ведь особенный,— продолжала матушка,— и блажат они тоже по-особенному, чтобы люди не восхваляли их за святость. Как огня боятся они этого. Наша-то голубушка любила играться с куклами, наряжала их и разговаривала по-своему. Люди-то поначалу малодуховные да неразумные смеются, бывало, — что это, дескать, блаженная-то ваша в дите никак превратилась,— да и что греха таить, порой крепко соблазнялись этим и бранились даже. А голубушка-то наша радехонька этому, еще пуще блажит, иных-то деток своих бьет, других ласкает да волосенки расчесывает. Ан стали мы примечать, что неспроста это делается. Уж как начнет, бывало, какую-нибудь особенно обряжать да голову расчесывать, так и гляди, кто-нибудь в монастыре и Богу душу отдаст, а уж когда разбушуется да начнет колотить их, знай, что какая-то напасть подходит к обители.

Только как-то приехали к нам раз купчиха с замужней дочкой. Купчиха-то, чтобы угодить Прасковье Ивановне, привезла ей из Москвы большую куклу, всю разодетую в шелка да бархат. Ан только она вошла да поклонилась ей, а Прасковья Ивановна как вскочит, да забегает, а потом

как схватит новую-то куклу, да одним взмахом руку-то и отодрала и сует дочке-то в рот. «На, ешь! Ешь!» — кричит. Та сомлела, вся ни жива ни мертва, мать тоже трясется, да и я, грешная, признаться, испугалась, а Прасковья Ивановна пуще кричит: «Ешь! Ешь!» Еле-еле вывели-то гостей. А вышло-то ведь, что неспроста все это получилось. Мать-то опосля каялась, что дочка ее в утробе еще дитя свое погубила. Вот-то грех какой вышел, и все это Блаженной было открыто,— закончила свой рассказ мать Киприана.

После монастырской трапезы, которую нам принесли в келлию, мы посетили и матушку игумению[3] и передали ей церковное вино для обители. Матушка игумения была нездорова, и мы у нее пробыли недолго.

Вскоре зазвонили к вечерне, и мы снова поспешили в храм.

Хорошо было после знойного летнего дня войти под его своды, веявшие легкой прохладой. Народу было немного и легко было выбрать укромный уголок, чтобы без помехи помолиться. Тихое монашеское пение особого, дивеевского, распева, проникновенное служение священника и аромат святыни уносили душу куда-то далеко-далеко от жуткой современной действительности.

Уже вечерело, когда мы, выйдя из храма, направились к Канавке, которая освящена была, по словам Преподобного, стопочками Самой Богоматери и которой он придавал такое особое значение. Медленно двигались по ней безмолвные фигуры инокинь, перебирая четки и тихо шепча молитвы. Канавка представляла собой довольно большую насыпь с рвом наружу, поверх

нее пролегала хорошо утрамбованная дорожка, обсаженная большими деревьями.

Склоны Канавки поросли травой и полевыми цветами, которые верующие собирают и хранят как святыню. Пошли по Канавке с молитвой и мы.

Непередаваемо было ощущение умиленности, когда и мы прикоснулись к этой благодатной тайне и как бы влились в поток душ человеческих, вот уже более столетия непрерывно струящихся, по завету Преподобного, за Царицей Небесной, по Ее следам.

Много чудесного заключено в Дивееве.

Само Дивеево представляет собой чудо, но, пожалуй, наибольшее из них — это Канавка.

С последним вздохом Преподобного была закончена и Канавка, которой суждено в будущем быть защитой от самого антихриста. Весь смысл, вся полнота этой сокровенной тайны, конечно, была открыта одному только Преподобному, нам же, грешным, дано только прикоснуться к ней как бы краем ризы и свято верить словам Преподобного, что ни один камешек в Дивееве не был положен без указания Царицы Небесной.

В истории Дивеева немало записано случаев, когда сам Преподобный видимо являлся некоторым из верующих, то как бы странником, то иноком, иногда даже вступавшим в беседу и вдруг исчезавшим из глаз.

Несколько раз обошли мы Канавку с молитвой и все не хотели уходить, так легко и радостно было на душе.

Совсем в темноте вернулись мы домой. Нас встретила, как всегда, мать Киприана. На столе уже шумел самоварчик и стояло около десятка

блюдец с самым разнообразным по характеру угощением, тут было и брусничное варенье, и грибки в маринаде, и огурчики, и всякие другие яства.

— Откуда все это, матушка? Кого нам благодарить за это внимание?

— Сестры-то наши узнали, что в обители дорогие гости, и каждой хочется утешить хоть чем-нибудь.

С благодарностью отведали мы этот дар любви сирот Серафимовых, и с тех пор, когда бы мы ни возвращались домой, к обеду ли, к ужину, нас всегда ожидало на столе какое-нибудь новое «утешение». Однако на все попытки с нашей стороны добиться от матери Киприаны возможности лично поблагодарить хоть одну из виновниц этого «утешения» всегда следовал неизбежный ответ:

— А вы не тревожьтесь, ведь сестры это делают от чистого сердца, а вы хотите отнять у них радость, которую посылает им Батюшка — приветить его гостей.

Однажды, когда мы были в Сарове и вернулись домой, все белье наше было выстирано, выглажено и лежало горкой на постели.

Сама мать Киприана при нашем отъезде категорически отказалась взять некоторую сумму денег, которую мы настойчиво умоляли ее принять, и только видя наше неподдельное огорчение, наконец, приняла ее.

— Ну что с вами поделаешь, не нужно бы этого совсем, ой как не нужно, ну да так и быть, возьму уж грех на свою душу. Езжайте с миром.

Пишу об этом со слезами на глазах, вспоминая всю нелицемерную и трогательную любовь,

приветливость, желание всячески обласкать и заботу сирот Серафимовых о каждом, кто посещает земную обитель убогого Серафима.

Рано утром на другой день в нашу келлию кто-то тихо постучал, и вошла неизвестная еще нам монахиня средних лет с удивительно приятным и добрым лицом.

— Я слышала, что вы из Киева,— начала она,— и, вероятно, знаете М. И.— друга нашей обители, и мне захотелось поэтому повидаться с вами, и возможно, услужить чем.

— От души рады, матушка, вашему приходу и знакомству. Самую большую услугу вы могли бы нам оказать тем, чтобы показать нам святую вашу обитель. Мы ведь впервые здесь и еще многого не знаем.

— Вот и прекрасно, после храма пойдем по обители!

— Как же величать-то вас, матушка? — спросил я.

— В монашестве ношу я имя Александра, а в обители меня все зовут просто Саней,— отвечала наша новая знакомая.

— Значит, вы и есть та мать Александра, о которой столько доброго рассказывал наш общий друг М. И.

— Если доброго,— усмехнулась матушка,— то, значит, не обо мне шла речь, поспросите кого другого, ведь насмешник-то наш М. И. любит пошутить.

После утреннего богослужения и краткого отдыха отправились мы с матерью Александрой по обители.

Начали мы с осмотра Казанской церкви.

Верхний храм в честь Рождества Христова, небольшой, но светлый и уютный, нижний, в честь Рождества Богородицы, построенный по особому указанию Преподобного, совсем маленький, подземный, с четырьмя поддерживающими его столпами.

«Во, радость моя,— говорил Преподобный,— четверо столпов — четверо мощей!»

С правой стороны храма расположена могилка-склеп первоначальницы Дивеева монахини Александры, в миру Агафьи Мельгуновой, рядом покоится дивная раба Божия схимонахиня Марфа, далее Елена Мантурова[4].

Впереди них, окруженная чугунной решеткой,— могила великого защитника заветов Преподобного, «служки Божией Матери и Серафимова» Н. А. Мотовилова.

— Посмотрите,— вдруг заметила матушка Александра,— как плита Н. А. раскололась крестом, и совсем ведь недавно случилось это. Видно, тяжелое испытание суждено пережить нашей обители.

В самом деле, огромная каменная плита от совершенно непонятной причины дала большую трещину вдоль и поперек, образуя правильную форму креста.

— Да, это удивительно,— согласились и мы.

С левой стороны храма совсем скромная, одинокая, с маленьким крестом могилка ближайшего друга, сотаинника и любимого ученика преп. Серафима «Мишеньки» Мантурова[5], несшего величайший подвиг при жизни своей самоотверженного служения своего Старцу и новосозидаемой им обители.

Какие все это дорогие и близкие сердцу имена,

неразрывно связанные с именем преподобного Серафима.

Горячо молились мы о упокоении этих великих подвижников благочестия, прося их небесного заступничества на трудном жизненном пути.

— Ну, а сейчас пойдем в келлию, в которой жила первоначальница матушка Александра,— сказала наша спутница.— Теперь келлия эта находится для сохранности как бы под футляром воздвигнутого над ней строения.

Сама она, полуподземная, с маленькими окошечками почти на уровне земли, и спускаться в нее нужно по лестнице.

При входе в келлию находится большой, во весь рост, портрет Преподобного в белом балахончике, с шапочкой на голове, благословляющего правой рукой.

Работа изумительная.

Сама келлия перегородкой разделена на две части, в большей половине, как бы приемной, стоит стол, скамья, в углу много образов, теплятся лампады. На окошечке прислонен небольшой образ святаго архидиакона Стефана, таинственно явившийся по стуку в это окошко матушке Александре[6].

Другая половина келлии совсем маленькая: в глубине ее ложе с маленьким изголовьем, служившее местом отдыха великой подвижнице, тут же она почила сном праведницы на другой день после посещения ее преподобным Серафимом, тогда еще иеродиаконом[7]. Из этого помещения ведет дверца в совсем уже крохотную и темную каморку, где с трудом только может поместиться один человек. В углу висит Распятие, озаренное

светом лампады. Это место, где больше всего любила проводить время матушка Александра, место ее тайных подвигов и молитвы.

Благодаря нашей спутнице мы получили в благословение по маленькому кусочку от каменного изголовья.

После посещения келлии матушки Александры мы направились к домику, где жила блаженная Пелагия — этот второй Серафим.

По дороге навстречу нам быстро шел кто-то высокий, без шапки, в лаптях, по виду странник.

Длинная белая рубаха почти до колен подпоясана кушаком, седая бородка развевалась по ветру. Он размахивал руками, словно что-то сам с собой рассуждая, иногда на мгновение останавливался, а затем опять поспешно начинал махать.

— Наш Гриша,— шепнула матушка,— блаженный [8],— и, когда он поравнялся с нами, она, поклонившись ему, сказала: — Ну, как, Гриша, спасаешься? — но странник совсем не обращал на нас никакого внимания, только, задержавшись снова на минутку, ткнул куда-то рукой в пространство и произнес: «Слышь, дымом-то как несет? То-то же»,— добавил он как бы с некоторой угрозой в голосе и снова зашагал дальше.

Мы переглянулись удивленно, так как нигде никакого дыма не было ни видно, ни слышно.

— К чему бы это он? — заметила тревожно матушка,— неспроста, видно, чует что-то душа его. Не попустит Царица Небесная до беды какой.

— А кто такой Гриша, матушка? — спросили мы.

— А этот раб Божий давно уже приметался к нашей обители и как родной всем нам стал.

Кроткий и незлобивый, он точно птица небесная живет, ни о чем не заботясь. Сестры наши его очень почитают и верят, что молитвы его доходны до Господа. Иной раз, правда, говорит он прикровенно, так что и невдомек порой, ан, смотришь, дело-то затем показывает, что не попусту Гриша-то наш сказывал.

Беседуя так, мы незаметно для себя подошли к домику блаженной Пелагии, где 45 лет прожила она. Невыразимы при жизни были страдания, и физические и нравственные, этой отверженной вначале всеми великой духовной рабы Божией, поставленной самим Серафимом на служение Дивеевской обители.

— Иди, матушка, иди немедля в мою обитель,— сказал старец Серафим,— побереги моих сирот, и будешь свет миру, и многие тобой спасутся.

Свято выполняя волю Старца, невзирая на нечеловеческие истязания своих родных, клевету и насмешки окружающих, блаженная Пелагия удалилась в Дивеево, где в течение 45 лет просияла необычайными подвигами, так что разум отказывается постичь все величие и силу их. И только 30 января 1884 года, когда скончалась она, поняли все тогда, какую невознаградимую потерю понесла как сама обитель, так и бесчисленные ее духовные дети с ее утратой. Девять дней стояло без малейшего изменения тело Блаженной в храме. Днем и ночью, не умолкая, шли панихиды, тесной толпой окружал народ ту, которая, отвергши ради Христа все искушения мира, победила козни врага нашего спасения.

С трепетным чувством переступили мы порог этой келлии. Полутемный коридор, из которого

тут же дверь налево ведет в небольшую прихожую. Здесь возле печки, сидя на коврике, проводила почти все ночи напролет, борясь со сном, в полудреме Блаженная. Из прихожей вело трое дверей в отдельные келлии, в одной из которых она и скончалась. Здесь стоит деревянная кровать, покрытая одеялом, где и лежала последние три недели своей жизни в смертельном недуге почившая. В углу висят образа, а под ними на столике лежит толстая железная цепь, которой некогда была прикована страдалица своим мужем к стене. Монахиня, читавшая Псалтирь, оторвавшись на минуту, сняла цепь со стола и дала нам приложиться к ней, а затем, к великой нашей радости, опять по просьбе нашего ангела-хранителя матери Александры, отрезала два небольших кусочка от одеяла на молитвенную память о дивной угоднице Божией.

— Ну вот, на сегодня, пожалуй, и достаточно, а то, поди, устали совсем,— сказала мать Александра, когда мы вышли на улицу.— Ведь вы еще у нас погостите. А завтра, даст Бог, и закончим наше путешествие.

Закончили день, присутствуя на вечернем богослужении, которое мы старались никогда не пропускать.

Ночью где-то недалеко проходила гроза, и небо зловеще полыхало зарницей, но утро было чудесное, безоблачное, свежее, когда мы снова с матерью Александрой пошли по монастырю.

— Ныне побываем у блаженной Наталии,— заметила матушка.— Ее-то, правда, меньше знают в народе, но тоже великая раба Божия была и трудный, многоскорбный путь юродства

проходила. Некоторые даже в обнтели поначалу соблазнялись ею, но она все вытерпела н уже при конце своей жизни многим была известна своими благодатнымн дарами.

Ах как легко готовы мы осудить каждого и как всегда мы забываем слова Господа: «Кто без греха, брось в нее первый камень».

Корпус, где спасалась некогда блаженная Наталия, был за Канавкой по левой стороне от собора. Небольшое крылечко, несколько ступеней вверх, и мы в келлни у Блаженной. Все сохраняется в образцовом порядке. Понимаешь, что это не только дорогая память об ушедшнх, но что эти места, где происходила велнкая брань избраннниц Божиих с духами злобы поднебесной, окончившаяся победой над ними, н ныне укрепляют и освящают незримо каждого, кто с верой призывает имена их насельннц.

Недолго мы пробыли здесь н поспешилн поклониться могилке блаженной Пелагии, находящейся сейчас же за алтарем Троицкого собора. На ней чугунная плита, окруженная оградой, и большой крест.

Отсюда совсем недалеко до деревянной часовенкн, где хранятся два небольших ручных жернова для помола зерна. Ими когда-то пользовался сам Преподобный, а затем отдал их своему любимому Дивееву.

Сердце как-то учащенно забилось, когда мы подходилн к великой святыне — Блнжней пустыньке преподобного Серафима, перевезенной после кончины Батюшкн его духовным сыном и другом Н. А. Мотовиловым для утешення сирот в Дивееве.

В настоящее время сама эта пустынька, более чем столетней давности, для сохранности от действия времени и непогоды защищена особым домом-футляром. Нас встретила мать Илария — хранительница этой святыни — и ввела внутрь ее.

Совсем темные маленькие сени с крошечным квадратным оконцем почти на высоте человеческого роста, и тут же дверь направо в саму келлию.

Вот она, вся облагоуханная молитвами Батюшки, вся осиянная дивными видениями горнего мира, освященная явлением небожителей пустынька убогого Серафима!

Здесь как-то особенно реально чувствуется благодатное присутствие Преподобного и звучит его голос: «Радость моя!»

С глубоким волнением вошли мы в нее и преклонили колена. Прямо на стене находится известный портрет — образ Преподобного, столь поразительно описанный С. А. Нилусом при посещении им в 1903 году Елены Ивановны, жены Н. А. Мотовилова.

Вот что тогда Елена Ивановна поведала ему о нем: «Долго мой муж упрашивал о. Серафима позволить снять с него портрет, и только после неоднократных и долговременных настояний Батюшка согласился. Вот этот-то портрет его я и хочу показать вам — он необыкновенный: иногда он сурово смотрит, а иногда улыбается, да так приветно... Вот сами судите!

В моленной Елены Ивановны, над небольшим столиком, на стене я увидел этот портрет.

— Смотрите, смотрите: улыбается! Да еще как улыбается!

Лицо, прямо обращенное к входящему,

улыбалось такой улыбкой, что сердце светлело, глядя на эту улыбку,— столько в ней благости, привета, теплоты неземной, доброты чисто ангельской. И улыбка эта не была застывшей улыбкой портрета: я видел, что лицо это все более и более оживлялось, точно расцветало».

Ныне этот портрет, после кончины Елены Ивановны перенесенный в Ближнюю пустыньку, был перед нами. С великим благоговением приложились мы к нему.

Кроме батюшкиного образа были еще в келлии и другие образа, висевшие при жизни Преподобного в ней. Много лампад.

Кроме нас, никого из посторонних в келлии не было. Было так тихо, покойно на душе, такая светлая радость охватила все существо, что, кажется, вовек бы не ушел отсюда.

— Матушка, родненькая,— взмолился я,— не сердись, пожалуйста, но так здесь дивно хорошо, что хочется остаться подольше.

— Вот и прекрасно! Помолитесь, помолитесь, это не вы только, а и все чувствуют, кого Бог приведет сюда, и мир душевный и святую радость по молитвам Батюшки.

Немало времени прошло, пока наконец мы решились покинуть этот благодатный уголок. Услышав шаги наши, вышла из своей келлии и мать Илария.

— Как вы счастливы, матушка, что живете под одной как бы кровлей с Преподобным,— сказал я.

— Да, это великая милость Божия ко мне, грешной, что Господь сподобил меня быть на этом послушании. Нигде так не близок Препо-

добный духом, как в своей пустыньке. Я-то, грешная, не сподобилась,— продолжала матушка,— а вот несколько лет тому назад наши сестры видели здесь Батюшку как живого. Пришли как-то расстроенные помолиться, поплакать, когда гонение-то на Святую Церковь началось и убили Царя-батюшку. Вспомнили, как угодник-то Божий предсказывал наступление страшного времени: «До антихриста не доживете, а времена антихристовы переживете»,— сказывал некогда сестрам, прорекая будущее. Поплакали, поскорбели сестры и только вышли из его келлии, как вон там, у большой березы, что на углу пустыньки-то растет, стоит наш дорогой, наш любимый Батюшка, с шапочкой на голове и в беленькой одежде и так ласково, ласково и в то же время скорбно посмотрел на них. Онемели сестры, потом закричали, а Батюшка повернул за угол и исчез из глаз. Долго потом вспоминали в нашей обители и об этом чудесном явлении,— закончила матушка.

— А теперь,— добавила она,— как батюшка Преподобный при жизни своей имел обыкновение раздавать сухарики приходившим к нему, так и в наше время обитель сохранила этот обычай и дает как бы из рук самого Батюшки в благословение. Вот пойдемте к этому окошечку, откуда некогда сам Батюшка давал сухарики, и возьмите их сами. Мы подошли и увидели на нем горку черных, специально нарезанных квадратиками сухариков. С радостью взяли мы их, и доселе сохранил я их как святыню.

— А это от меня примите на молитвенную память,— сказала матушка, подавая завернутые

в бумажку несколько кусочков дерева.— Это от пустыньки.

Горячо поблагодарили мы матушку за дорогой подарок.

Приближалось 28 июля — день празднования величайшей святыни Дивеева — иконы Умиления. Этот праздник всегда проходит в Дивееве не менее торжественно, чем и день 19 июля, день открытия мощей святого Серафима.

Начали прибывать к этому дню и паломники. Их было не так много по сравнению с прошлыми годами, но все же обитель значительно оживилась.

Торжественно прошла всенощная в сослужении трех епископов[9]. Мог ли я думать, что это было последнее всенародное прославление Царицы Небесной перед разгромом монастыря и что Господь удостоил меня еще присутствовать на нем. Утром за литургией мы причастились Святых Таин.

Окончился праздник, разошлись богомольцы, и жизнь обители вошла в свою обычную колею.

Нет слов, хороши праздники в монастырях с их торжественными и благолепными богослужениями, но для меня лично всегда были еще более дороги скромные, будничные службы, когда ничто внешнее не отвлекает и не нарушает твоего молитвенного настроения.

Жизнь наша в обители уже приняла известные формы. Утром и вечером посещение богослужений, в промежутках между ними обязательно обход келлий блаженных, Канавки и пустыньки.

Постепенно круг знакомств наших среди насельниц Дивеева все расширялся, и свободные вечера после храма мы иногда проводили то

у одной, то у другой из монастырских стариц, упиваясь вдохновенными рассказами их о прошлом Дивеева, о бесчисленных чудесах, совершавшихся в нем по молитвам преподобного Серафима.

У матушки Людмилы мы должны были бывать по крайней мере через день, иначе являлась послушница от матушки с наказом не забывать ее и навестить.

Мы, конечно, с радостью принимали это приглашение, и я однажды по просьбе сестер сфотографировал целую группу их вместе с матушкой Людмилой...

* * *

Как-то в один из вечеров пришла к нам мать Александра и пригласила в гости к одной из монахинь, которая сейчас больна ногами, не может сама передвигаться, но очень хотела бы познакомиться с нами. Мы не замедлили воспользоваться этим приглашением и пошли.

Мать Александра сотворила обычную молитву, слегка постучавши в дверь, и оттуда послышалось ответное «аминь!», а затем нарочито суровый голос произнес:

— Ну-ка, покажи своих гостей, дай-ка поглядеть на них.

— Глядеть-то, пожалуй, и не на что,— шутливо ответил я вместо матери Александры,— все равно ничего хорошего не увидите.

— Ишь какой шутливый на ответ,— улыбнулась хозяйка.— Спасибо, что навестили старуху, вот Господь за грехи и приковал к креслу, грешница я великая,— вздохнула матушка.

Вскоре за чайком завязалась беседа.

— Матушка, давио вы спасаетесь в моиастыре? — иачал я.

— А вот 23-й годок, милые, доживаю в обители. Как приехала иа открытие мощей Угодника-то иашего, так и осталась здесь, полонил меия Батюшка, забрал к себе и ие пустил больше в мир, где чуть ие загубила душу свою, если бы ие святитель Николай.

— Матушка, ие ради праздного любопытства, а для иазидания поделитесь с иами, если можно, историей этого события в вашей жизни.

— Что ж, я из этого ие делаю тайны, тем паче, что иа мне, грешнице, Господь проявил Свое милосердие.

Родилась я в маленьком городке. Отец умер рано, и я росла у матери, которая души во мне ие чаяла — своем единствениом дитяти. С трудом оиа, бедная, зарабатывала средства иа жизнь и для себя, и для меия, ио я это как-то мало тогда поиимала. Избалована уж очень была матерью. Все-то только подавай, и то, и другое, и иовое платье, и обувь, а сколько это стоило бессонных иочей для бедной моей матери, об этом я совсем ие задумывалась. Я даже воспитывалась иа ее последние гроши в гимназии, хотелось ей дать мне образование. Была мать моя очень верующая, и мне старалась внушить свою веру и любовь ко Господу и всегда брала меия с собой в храм по праздничным дням. Правда, мне нравилось бывать в церкви, а особеиио иа Пасхальиой заутрени. Любила я и колокольный звои, ио особой религиозности все же ие проявляла. Танцы, вечера, балы — это была моя стихия, и как воз-

мущалась я, что судьба, как на зло, послала мне в удел такую бедность! Самолюбие страдало ужасно! Но вот и ученье кончилось, и я твердо решила пробить себе дорогу к самостоятельной жизни. В Петербург, на курсы, там спасенье! Напрасно бедная мать умоляла меня не покидать ее, указывая на все опасности жизни одинокой в большом городе,— я была неумолима. Молодость ведь жестока!

Горько плакала мать, расставаясь со мною, да и у меня было тяжко на душе, но искушение свободной жизни все превозмогло. Дала же мне на дорогу моя бедная мать последние крохи своих сбережений, сняла со стены небольшой образ в серебряной ризе св. Николая — наше единственное богатство и, благословляя меня им, сказала:

— Да будет воля Божия, моя дочурка, этим образом благословляла меня моя покойная мать, а теперь я тебя вручаю св. Николаю, всю жизнь молилась я ему о твоем благополучии и теперь верю, что сжалится он над моими слезами и защитит тебя в нужную минуту.

Петербург сразу встретил меня неприветливо, и жутко стало мне, что оторвалась от родного крова. Поселилась я в крошечной меблированной комнатке у одной хозяйки, разложила свои скудные пожитки, повесила образ в углу и бросилась искать подходящих занятий. Но работы все не находилось. Напрасно я бегала, ища уроков, так как ничего другого делать не умела. Уже задолжала за квартиру, и хозяйка грубо требовала платы, а надежда на заработок все уменьшалась. Наконец, я дошла до такой крайности, что остались только последние 50 копеек — да

образ св. Николая в серебряной ризе, который не хватало духу продать.

Решила я на эти деньги дать еще раз объявление в газете о работе, а там будь что будет. Впереди или голодная смерть, или позор улицы.

Два дня прождала, не выходя из комнаты, ожидала, что вот-вот кто-нибудь явится, и тут хозяйка закатила такую сцену, что я пришла в полное отчаяние.

Можно было написать матери, правда, но самолюбие не позволяло, да и знала я, что у самой последнее взяла. И вот, на третий день после объявления в газете, дошла я до такого ужаса от своей беспомощности, что решилась покончить с собой. На окне стоял флакон с уксусной кислотой. Дрожащей рукой вылила я содержимое его в стакан, сама не помню как схватила его и поднесла ко рту. Взор невольно как-то упал на образ св. Николая. Вдруг вспомнилась мама.

Сердце сжалось до боли.

— Простишь ли ты меня, бедная моя мамочка? — тихо прошептала я.

Машинально подошла я к углу, где висел образ, протянув руку со стаканом.

— Святителю Николае, прости меня, грешную! — закрыла глаза и открыла рот, чтобы глотнуть.

Вдруг что-то сильно ударило меня по руке: стакан со звоном упал на пол и разбился на мелкие осколки, и когда я, в страшном испуге, открыла глаза, то увидела, что на полу, рядом с разбитым стаканом, лежит образ св. Николая. Сорвавшись со стены, он ударил меня так крепко по руке, что я невольно выронила стакан.

Нервы больше не выдержали. Я упала на кровать и рыдала, чувствуя, что меня спасло несомненное чудо. Образ лежал со мной на подушке, и я буквально обливала его слезами. Едва успокоившись, я легла на кровать, как вдруг неожиданный стук в дверь.

«Хозяйка, опять неприятный разговор»,— мелькнуло в голове.

Открываю. На пороге прилично одетый господин с удивлением смотрит на мое опухшее от слез лицо и растрепанные волосы.

— Я по объявлению,— говорит он,— мне нужна на лето к девочке учительница...

Как в сказке, через 2 дня я уже была как родная у прекрасных людей в качестве гувернантки.

Я никому тогда не рассказала о том, что произошло со мной, даже матери, чтобы не расстраивать ее больное сердце, но жизнь моя круто изменилась. Заработав деньги, я вернулась домой, и мы счастливо прожили пять лет. После смерти же ее я твердо решила уйти в монастырь, но какой — не знала, а тут как раз подошло открытие мощей преподобного Серафима. Собралась я в Саров, горячо молилась у гроба угодника Божия, прося его помощи, а на обратном пути заехала в Дивеево, да и зашла к блаженной Паше, а она, как увидела меня, как закричит: «Где была до сих пор, где шатаешься, ее тут ждут, ждут, а она все шатается невесть где!» — да палкой все мне грозит.

Поняла я, грешная, что здесь мой удел, и осталась в Дивееве.

Во все время рассказа лицо матушки меняло свое выражение, слезы текли из глаз, она

переживала свое прошлое столь же живо, как настоящее. С неменьшим вниманием слушали и мы эту повесть о душе человеческой, столь дивно ведомой и охраняемой Промыслом Божиим.

Дни мелькали один за другим, и вот уже незаметно прошла неделя, как мы в Дивееве. Жили мы, окруженные любовью, радушием, неподдельным гостеприимством, упиваясь благоуханием святыни благодатного Дивеева.

Когда же в Саров?

Было решено, что завтра уж непременно направим свой путь туда, однако случилось одно обстоятельство, задержавшее на один день нашу поездку.

Совершенно неожиданно для меня приехал мой друг детства, наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Гермоген со своим келейником В. Встреча была очень радостной. К сожалению, он располагал только сутками свободного времени.

После прощальных визитов к матушке игумении и казначее мы вместе с ним и данной ему для сопровождения монахиней отправились для поклонения святыням. На этот раз, кроме осмотренного нами ранее, удалось видеть в алтаре и ризнице собора замечательную художественную утварь, пожертвованную многими почитателями преподобного Серафима.

Отсюда мы последовали в храм в честь Тихвинской иконы Богоматери. В нем собрано очень много известных и почитаемых икон Богоматери. Храм этот во время нашего пребывания был закрыт, и только изредка в нем совершал богослужения епископ Серафим, бывший пока здесь

в почетной ссылке, глубоко духовный и светлый облик которого нельзя никогда забыть. Для обычных же паломников храм не открывали. Таково было предписание власти. Затем мы иаправились в кладбищенскую Преображенскую церковь. Несмотря на свой более чем скромный вид, она таила в себе много дорогих святынь, н, прежде всего, алтарем этого храма служила Дальняя пустынька Преподобного.

Внутрн храма былн витрины, где сохранялнсь личные вещи Преподобиого. Вот его мантия, лапти, топорик, большой крест, который Преподобный всегда носил на груди, Евангелие, слегка обгоревшее в момент его кончины.

Нам открыли витрину, н мы могли непосредственно приложиться к этим вещественным памятникам жнзнн угодника Божня.

Затем матушка ввела иас в алтарь. В одном углу его лежал обрубок того дерева, которое преклоннлось иекогда по молнтве Преподобного, в другом углу — остаток камня, иа котором Преподобный молился в течение 1000 дней н ночей.

Он был уже значительно уменьшенных размеров по сравнению с первоначальным его видом, так как верующне разбиралн его по кусочкам.

Затем матушка подвела нас к маленькому, незаметному на вид столику, стоявшему за алтарем, и сказала:

— Это тоже наша великая святыня. На этом столике в течение всей жизни Преподобного стоял образ Умиления, и иа иего же склонилась глава Преподобного в момент его кончины.

Затем она выдвннула нз столнка небольшой ящик и добавила:

— А это шапочка Преподобного, которую он почти не снимал с головы в последние годы своей жизни, а это вот его поручи.

Шапочка была темная, на желтого цвета подкладке, а поручи зеленого бархата с потемневшими от времени золотыми позументами. С великим благоговением приложились мы к этим святыням. Очевидно, было что-то такое в наших глазах, что матушка совершенно неожиданно вынула ножницы и отрезала по маленькому кусочку от подкладки и, выдернув по ниточке из поручей, раздала их нам.

О, как я благодарил тогда Господа и преподобного Серафима за этот дар мне, грешному, и благословлял промыслительный приезд моего друга, без которого вряд ли мог получить столь драгоценную святыню.

И доселе в кресте с мощами преподобного Серафима, полученными уже значительно позже, хранятся эти святыни у меня как самое дорогое, что может быть на свете.

Когда мы возвращались домой, навстречу нам опять попался Гриша. На этот раз он улыбался и, указывая пальцем на юного келейника о. Гермогена, тогда совсем еще не инока и в светской одежде, громко сказал: «Ага, диакон, ага, диакон»,— и побежал дальше.

Отец архимандрит спешил и поехал в Саров лошадьми. Я же решил со своим другом обязательно идти в Саров и обратно пешком, и только искали мы попутчика. Мать Киприана, узнав о нашем желании идти в Саров пешком, вполне одобрила этот план.

— Уж потрудитесь ради Преподобного, и он

вас не оставит, а в дорогу, пожалуй, пошлю с вами племянницу, давно уже просится в Саров помолиться, да заодно и навестить дядю своего родного, моего брата, значит, иеромонахом он там. У него и остановитесь, если только дома застанете, больше в лесу он живет, чем под крышей.

Все по молитвам Преподобного устроилось как нельзя лучше. На другой день после литургии, с большим металлическим бидоном для воды из источника и в сопровождении нашей спутницы, напутствуемые благословением матери Киприаны, двинулись в путь.





Профессор И. М. Андреевский

ПУТЕШЕСТВИЕ В САРОВ И ДИВЕЕВО В 1926 ГОДУ

Еще с раниего детства я много слышал о Саровской обнтели и дивном Дивееве, где подвизался святой преподобный Серафим Саровскнй и всея России чудотворец.

Часто мечтал я побывать там, но мне это долгое время не удавалось.

Однажды летом 1926 года, в июле месяце, мне пришлось быть в Киеве. Как-то раз я сидел иа берегу Днепра и любовался Киево-Печерской лаврой. Ко мне подошел какой-то странник и заговорил. Он сообщил о себе, что, путешествуя по святым местам, теперь из Киева собирается идти в Саров, к мощам преподобиого Серафима.

«Какой вы счастлнвый,— сказал я ему, — будете в таком святом месте. А я вот давио мечтал там побывать, да все ие удается!»

Тогда странник встал, пристально посмотрел на меня и сказал: «Раб Божий Иоанн! Ты там раньше меия будешь». После этого ои благословил меня и ушел.

Я приехал в Ленинград и узнал, что иовая моя служба иачнется только в сентябре. Один мой друг

посоветовал мне использовать свободное время и съездить в Саров.

У меня оказались в руках небольшие деньги, и кроме того, я получил на своей новой службе бесплатный билет по любому маршруту.

5 августа по новому стилю я пошел на городскую станцию узнать, когда нужно компостировать билет: в день отъезда или раньше.

Очень жалел я, что Серафимов день, 19 июля (1 августа н. ст.) уже прошел. Мой друг утешал меня и говорил, что во второй половине августа в Дивееве празднуется день иконы Божией Матери Умиление, перед которой всю жизнь молился и умер преподобный Серафим.

Мне очень захотелось побывать в Дивееве и в Сарове именно в этот праздник, и я молился Пресвятой Богородице и преподобному Серафиму, чтобы они привели меня в этот день туда.

Наметил я выехать 7 августа. На мою просьбу прокомпостировать билет на 7 августа кассир почему-то вдруг сказал мне: «Зачем вам ехать послезавтра, поезжайте завтра!»— и прокомпостировал мой билет на 6 августа.

Мой духовный отец, протоиерей Сергий Тихомиров, расстрелянный большевиками в 1930 году, говорил мне, что при путешествии к преподобному Серафиму все складывается само собой и не надо этому сопротивляться. Вспомнив этот совет, я подчинился необходимости выехать на сутки раньше, чем предполагал, хотя и был несколько огорчен.

6 августа поздно вечером я приехал на вокзал, но там узнал, что поезд на Москву идет поздно ночью, и у меня оставалось часа два свободного времени.

Я подошел к церкви Знамения Божией Матери, разрушенной впоследствии большевиками, после смерти академика И. П. Павлова, который был прихожанином этой церкви. Почему-то я постучался в закрытую церковь. Несмотря на поздний час, старик сторож открыл мне дверь и, узнав, что перед паломничеством в Саров я хотел бы помолиться, приветливо впустил меня, сказав: «Помолитесь, помолитесь, ведь у нас в церкви придел преподобного Серафима». Я очень этому удивился и обрадовался.

Когда я молился перед большим, во весь рост, образом преподобного Серафима, то почувствовал сердцем, что он меня сам благословил на путешествие.

После церкви я зашел к одной своей дальней родственнице вблизи вокзала. Она меня угостила чаем. Жила моя родственница в так называемой «коммунальной квартире», где было много комнат и где жило множество разных людей. Во время беседы за стаканом чая в комнату постучали, и какая-то незнакомая женщина спросила: «Тут находится странник, который идет в Саров?»

Я удивился и сказал: «Да, я собираюсь ехать в Саров».

«Так вот одна старая больная женщина, живущая в последней комнате, просит за нее помолиться у мощей преподобного Серафима, которого она очень чтит. А вот и 50 копеек на просфору. Зовут эту женщину София. Она просит вас помолиться, а также узнать ваше имя, чтобы и она могла за вас молиться. Может быть, в пути какая-нибудь София вас и приютит!»

Я взял 50 копеек, сказал свое имя и обещался помолиться за рабу Божию Софию.

Поздно ночью я выехал из Ленинграда в Москву. Я знал, что в Москве имеется два поезда на Арзамас: один уходит утром и приезжает в Арзамас ночью, а другой выезжает ночью и прибывает утром. Конечно, я решил ехать на втором, ночном, поезде, чтобы не заботиться о ночлеге и не тратить на него лишних денег, которых я взял с собой, по совету духовных моих руководителей, всего лишь пять рублей. Кроме того, я взял с собой небольшое количество лекарств. Я врач, и в пути, может быть, понадобится комунибудь врачебная помощь. Я предполагал целый день, до отхода ночного поезда, пробыть в Москве, где я давно не был, у своих родных, друзей и знакомых.

Но когда я пошел в Москве в кассу, чтобы прокомпостировать свой билет на ночной поезд, то и здесь, как и в Ленинграде, кассир вдруг почему-то сказал мне: «Вы еще поспеете на утренний поезд, ведь надо только перейти площадь и там находится Казанский вокзал, с которого через полчаса отходит поезд на Арзамас». И он выдал мне билет на утренний поезд. Я был весьма огорчен этим, но, вспомнив, что надо безропотно подчиняться тому, что случится,— решил, что, может быть, благодаря более раннему отъезду я встречу кого-нибудь мне нужного или избегну какой-либо неприятности.

Поезд был переполнен народом. Кругом слышались брань, крики, плохая музыка на гармошке. Поезд двигался медленно, подолгу останавливаясь на станциях. Ехали целый день. Наступил вечер, спустилась тьма, пошел дождик. Народ стал убывать из вагона, и когда ночью поезд подошел

к Арзамасу, из пассажиров почти никого не оставалось.

Обеспокоенный мыслью, что ночью, в темноте, в дождь, без денег приеду в незнакомый город, я прикрыл глаза рукой и мысленно помолился преподобному Серафиму, чтобы он помог мне с ночлегом.

Вдруг ко мне подошла какая-то пожилая, чисто и опрятно одетая женщина и заговорила со мной. Узнав, что я из Ленинграда, еду в Саров, к преподобному Серафиму, она умилилась и обрадовалась.

— Ну а где же ночевать-то будете? Есть тут какие-нибудь у вас родные или знакомые?

Я ответил, что у меня нет никакого знакомства в Арзамасе и что я только что помолился, чтобы преподобный Серафим помог мне найти ночлег.

— Ну, тогда ночуйте у меня, батюшка,— воскликнула женщина.— Сама София тебя приютит,— добавила она.

Я вздрогнул, вспомнив вчера сказанные мне слова о том, что «может быть, какая-нибудь София его и приютит», и очень удивился, почему эта женщина говорит о себе «сама София».

— Вас Софией зовут? — спросил я ее.

— Нет, я Ксения Дмитриевна Кузнецова, но я работаю сторожихой Софийского собора и живу под самой колокольней. Вот я и сказала, что София, Премудрость Божия, тебя приютит!

Ксения Дмитриевна повела меня в темноте по городу Арзамасу и привела к себе в комнату под колокольней Софийского собора.

— Вот напою тебя чайком, накормлю, да

и спать положу на кровати, а сама лягу в уголку, на полу! — сказала она.

Я запротестовал, заявив, что лягу с удовольствием на полу, и прибавил, что у меня, к сожалению, очень мало денег.

— Что ты, что ты, батюшка! Тебе самому нужны деньги, так я дам, а с тебя не возьму ничего. Где это видано, чтобы со странника по святым местам деньги за ночлег брать? И на полу не положу тебя, а ляжешь на кровати... Я не хочу из-за тебя в ад попасть! — неожиданно заключила она.

Видя мое удивление, она сказала: «Страннику должен быть почет и уважение и лучшая постель в доме, а то Господь рассердится!»

Утром она снова напоила и накормила меня, положила в мешок лепешек, дала мне большой деревянный посох с крестом, который просила вернуть на обратном пути, и, указав путь до Дивеева, находящегося в семидесяти километрах, посоветовала пройти это расстояние за два дня.

— Но перед тем, как идти к преподобному Серафиму,— сказала Ксения Дмитриевна,— не поленись и сходи в противоположную сторону за два километра и поклонись чудотворному образу святителя Николая Чудотворца в Никольском женском монастыре.

Я сначала было подумал про себя — зачем я буду менять намеченный маршрут в Дивеево, а потом понял, что этой мыслью я обидел дивного святителя Николая, которого, как и преподобного Серафима, особенно чтил с детства.

И я пошел сначала в Никольский монастырь. Там я увидал чудотворный образ св. Николая,

выдолбленный из дерева. Мне показалось, что св. Николай сурово на меня посмотрел. Я упал на колени и просил прощения за свои помыслы. С посохом в руках тронулся я в путь по направлению к Дивееву. Полил сильный дождь. Я промок до костей, и мне казалось, что св. Николай послал на меня легкое испытание-епитимью за мое нерадение.

С большим трудом, усталый и измученный, добрел я до первого села Ямище. Село действительно стояло в большой яме, в овраге, и мне вспомнилось описание одного селения в повести Чехова «В овраге». Село было грязное, шумное, неприветливое. Был какой-то советский праздник, играли на гармошках, раздавалась сочная ругань. Я прошел все село и нигде не решился зайти отдохнуть. Вышло солнышко, стало подсушивать, и я, отдохнув за селом на камешке, пошел дальше. Погода совсем разгулялась.

В десятом часу вечера, уже в полной темноте, я дошел до села Ореховец, на полпути до Дивеева. Надо было ночевать, и я стал стучаться в избы. Но нигде меня не впускали, узнавая, что я «прохожий», «странник». Иногда грубо говорили: «Проваливай дальше, много вас тут шляется». Наконец, один селянин сказал мне: «Вот там живет поп, может быть, он тебя пустит». Я направился к дому священника и постучал. Через несколько минут раздались шлепающие шаги, и старенький священник приоткрыл дверь. На мою просьбу о ночлеге он ответил, что, к сожалению, не может меня принять, так как это ему запрещено властью под страхом сурового наказания, но посоветовал обратиться в избу на углу, в комсомол, где можно, быть может, и переночевать.

— Ах, батюшка,— ответил я,— только не в комсомол. Я ведь иду к преподобному Серафиму помолиться... Вы не бойтесь меня, у меня есть с собой исправные документы, я верующий человек...

— Да к тому же у меня дети больны,— перебил меня священник.

— Батюшка,— горячо воскликнул я,— да ведь я врач, и между прочим специалист и по детским болезням, я осмотрю ваших детей, да и лекарства у меня с собой есть.

Священник, убежденный моими доводами, впустил меня и познакомил с матушкой. Осмотрев больных детей, я успокоил родителей, что это только грипп, и дал лекарства.

Матушка поставила самовар, мы втроем сели за чай, разговорились, и через какой-нибудь час стали друзьями.

— Простите меня,— сказал вдруг священник,— что я хотел вам отказать в ночлеге. Бог мне такого интересного гостя послал, а я его хотел прогнать.

Я в свою очередь извинился, что был столь назойлив в моей просьбе о ночлеге.

Переночевав, рано утром, напившись чаю с баранками, я пошел дальше. Матушка высушила, вычистила и выгладила мое платье и положила в мой мешок лепешек. Батюшка взял с меня слово ночевать у него на обратном пути.

День был ясный, теплый, пели птицы, и на душе было легко. Я шел и молился преподобному Серафиму, обгоняя прохожих. Все приветливо улыбались и кланялись. С некоторыми я заговаривал.

— Вот, видите, сколько народу идет и едет,— сказал мне один прохожий,— ведь это все

к Преподобному идут, с разных концов земли Русской!

Действительно, кого я ни спрашивал, все отвечали, что идут и едут к преподобному Серафиму. Кого и откуда тут только не было. И простые люди, и интеллигенты, и мужчины, и женщины, и молодежь, и дети.

Одни были из Москвы, другие из Одессы, иные из Архангельска, иные из Сибири... Меня это чрезвычайно удивило и особенно обрадовало.

— Вот видите, впереди подымается на горку молодой человек, монах, это отец Платон, сын известного профессора И-ва из Москвы. В такое время, когда все в комсомол норовят, он в монахи пошел,— объяснила мне одна пожилая дама из Тулы.

Мне почему-то вдруг захотелось познакомиться поближе с этим молодым монахом. Я нагнал его, поклонился, разговорился, и мы стали друзьями. Все последующее путешествие мы провели вместе.

У о. Платона был только билет из Москвы до Арзамаса и обратно. Ни денег, ни вещей он не имел.

— Преподобный Серафим всегда пропитает и ночлег пошлет,— говорил он убежденно.

— В Дивееве у вас есть кто-нибудь из знакомых? — спросил я его.

— Нет, но преподобный Серафим пошлет знакомых!

— Может быть, через меня, грешного, он пошлет вам этих знакомых,— сказал я.— Я надеюсь встретить в Дивееве мою хорошую знакомую, врача-профессора, которая после смерти своего мужа, тоже профессора, уехала в Дивеево и ра-

ботает там в монастырской больнице,— разъяснил я о. Платону.

— Ну вот и слава Богу,— ответил молодой монах. Мы пошли дальше.

Однажды, когда я предложил о. Платону посидеть и отдохнуть, он мне ответил: «Нет, нельзя отдыхать, надо спешить, а то ведь мы ко всенощной опоздаем. Ведь такой великий праздник!»

— Какой праздник? — удивился я.

— Как же, завтра праздник Дивеевской иконы Божией Матери Умиление, одновременно и праздник Смоленской Божией Матери Одигитрии.

Пелена точно спала с моих глаз, и я сразу понял, почему и в Ленинграде и в Москве мне кассиры прокомпостировали билеты почти на двое суток раньше, чем я хотел. Явная помощь Божией Матери, Которая ответила мне на мои молитвы о том, чтобы дивеевский праздник Умиления — провести там. Вот Одигитрия, то есть Путеводительница, и взяла меня за руку и повела ко дню Умиления, умилив душу мою тихой радостью...

Подошли мы к Дивееву при колокольном звоне, прямо к началу всенощной. Усталости как не бывало, хотя мы ведь прошли более тридцати километров. В церкви было много народу.

Служили три епископа — преосвященные Серафим, Филипп и Зиновий.

В этот вечер и на следующий день в Дивеево пришло около 3000 богомольцев.

Когда я спросил одну монашенку, находится ли в монастыре профессор доктор В. В. Щ., она мне ответила, что «матушка Вера здесь», и провела меня к В. В., которая была уже монахиней и заведовала монастырской больницей.

— Ночевать будете в больнице,— сказала она мне и о. Платону.— У меня одна палата на две койки совершенно свободна. А теперь идите в церковь. После службы приходите ко мне пить чай...

Богослужение было дивное. Прекрасный хор, совершенно особенные «дивеевские» мотивы и манера петь...

После всенощной мы с о. Платоном были у В. В. и долго беседовали о дивном Дивееве, о преподобном Серафиме и его заветах.

— Завтра после обедни мы сразу пойдем в Саров, к мощам преподобного Серафима,— сказал о. Платон, и я с ним согласился: «Скорее в Саров!»

— Нет,— сказала В. В.,— вам нужно не менее суток пробыть в Дивееве. Разве вы не знаете, что сказал преподобный Серафим? Счастлив тот, кто сутки пробудет в Дивееве, ибо около него пройдет Пресвятая Богородица. Владычица один раз в сутки сходит на землю и обходит обитель.

Затем В. В. рассказала нам, что имеется «правило» преподобного Серафима, которое надо выполнить, а именно: обойти с четками в руках трижды Канавку, то есть по дорожке вокруг обители, и прочитать 150 раз «Богородицу» и 150 раз «Отче наш», затем помолиться обо всех родных и знакомых, как живых, так и мертвых. После этого можно сказать свое самое сердечное, самое необходимое желание и оно непременно исполнится.

Одна из послушниц Дивеева как-то раз сказала матери игумении Александре: «Вот бы знать эту минуточку, когда Владычица обходит обитель по Канавке!» На это мать игумения ответила: «А вот живи весь день так, как будто в это время

Пресвятая Богородица проходит мимо тебя!» Замечательный ответ.

Мы, конечно, решили с о. Платоном остаться еще один день в Дивееве.

Вечером, после осмотра всех достопримечательностей монастырских, особенно кладбища, где похоронены и Мантуровы, и 19-летняя Мария-Марфа, и другие насельницы, известные по «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» митрополита Серафима Чичагова,— мы с о. Платоном, с четками в руках, начали выполнять «правило» преподобного Серафима и трижды обошли тихо по Канавке вокруг монастыря.

Я предполагал испросить себе после обхода многое как из области духовной, так и материальной.

Но когда, выполнив, в конце третьего обхода Канавки, все правило, я захотел высказать свои сердечные желания, со мной, очевидно, по великой милости преподобного Серафима, произошло чудесное явление. Меня вдруг охватила совершенно особенная духовная тихая, теплая и благоуханная радость — несомненное убеждение всем существом в существовании Божием и в совершенно реальном с Ним молитвенном общении. И вот мне стало совершенно очевидным и ясным, что всякая просьба о чем-нибудь земном будет равносильна молитве: Господи, отойди от меня и лиши меня Твоего чудного дара...

И я внутренне горячо обратился к Господу: «Господи, не давай мне ничего, отними от меня все земное благополучие, только не лишай меня радости общения с Тобой, или если это невозможно сохранить навсегда в нашей жизни, то

дай мне память сердечную, дай мне возможность сохранить до смерти воспоминание об этой настоящей блаженной минуте ощущения Твоего Святого Духа!»

На другой день мы пошли с о. Платоном в Саров... Приложились к мощам преподобного Серафима с большим волнением, с духовным страхом и благоговением. Я чувствовал, что духовно родился вчера в Дивееве. Все стало внутри по-новому. Прежде я не понимал такой простой истины, что духовное от душевного отличается больше, чем душевное от телесного. А теперь я это все хорошо понял.

Внутри, в глубине души моей, было тихо, спокойно, радостно. Внешние чудеса у раки преподобного Серафима, происходившие у меня на глазах,— не поражали. Все это казалось простым и естественным.

Исцелился у мощей сухоногий мальчик, исцелилась душевнобольная; все это так и должно было быть.

У мощей преподобного Серафима постоянно стоял старый монах. Он уже много лет занимал эту должность — стоять при мощах и освящать образки и крестики.

Один мой друг, много лет тому назад бывший в Сарове, рассказал мне следующий случай. Подходя в очереди к мощам Преподобного и держа в руках маленький образок для освящения, он заметил, что старый монах по имени Исаакий брал образки, клал их попеременно на лоб и на грудь Преподобного и затем возвращал назад; иногда, если образа были большие, на них ставилась печать: «Освящена на мощах преподобного Серафима Саровского».

Мой друг, инженер по профессии, подумал про себя: «Как же это так? ведь освящать образа надо бы святой водой!.. Но он ничего не сказал и, подойдя к старцу, молча подал свой образок. Тогда монах вдруг остановился на одну секунду в своем движении, как бы в нерешительности, и не положил образок ни на лоб, ни на грудь преподобного Серафима, но попросил одного из послушников принести святой воды и окропил ею образок. Очевидно, старец был прозорливец и читал мысли.

Глядя на этого старца, я вспомнил рассказ моего друга, который впоследствии принял иерейский сан...

В Сарове мы побывали в Ближней и Дальней пустыньке, осмотрели колодцы, вырытые преподобным Серафимом, выкупались в святом источнике целебной воды, повидали под стеклом камень, на котором Саровский подвижник молился 1000 ночей и дней, и многое другое.

Повидали мы и одну старую монахиню, которая рассказала нам, что в 1903 году при открытии мощей преподобного Серафима, она присутствовала при передаче Государю Императору Николаю II письма преподобного Серафима (адресованного «четвертому Государю, который сюда приедет»). Письмо хранилось в Саровском монастыре в течение четырех царствований. Государь был глубоко взволнован, когда прочитал это письмо. О содержании послания никому ничего не известно. Рассказ монахини меня весьма поразил, ибо никогда и нигде я об этом факте не слыхал.

Нам с о. Платоном очень захотелось получить хоть крошечную песчинку от камня, на котором

преподобный Серафим молился, но нам сказали, что если бы каждому посетителю Сарова давалось бы по песчинке, то камня давно бы уже не было.

Отец Платон предложил мне пойти с ним в глубину леса и помолиться преподобному Серафиму, чтобы он послал нам песчинку от его камня.

Как дети, с твердой верой, что наша молитва будет услышана, мы встали на колени и помолились. Наша молитва вскоре же была услышана. Не прошло и получаса, как, блуждая по лесу, мы остановились около большого деревянного креста, каких в Тамбовской губернии было очень много в лесах, в полях, на дорогах. Крест этот был разрисован красками одной монахиней, изобразившей Спасителя. Монахиня доканчивала работу, когда мы подошли к ней и поздоровались.

— Как ваше имя, матушка?

— Варвара,— отвечала она.

— Как хорошо вы пишете! — сказал я.

— Нет, не очень,— скромно произнесла мать Варвара,— это не моя специальность; я — миниатюристка. Вот иногда некоторые архиереи получали кусочки камня преподобного Серафима, с ноготок величиной, так вот я на таком камушке писала лики Угодника...

— Матушка! — воскликнул о. Платон,— а вот мы так хотели бы получить хоть песчинки от этого камня!

Монахиня пристально на нас посмотрела и сказала:

— Как величайшую святыню я берегу несколько песчинок от святого камня... Эти песчинки остались у меня после шлифовки камушков,

на которых я писала образки. Но этн песчинки хранятся у моих родных, далеко, семьдесят километров отсюда... Может быть, вы дадите мне свои адреса, и я пришлю вам эти песчннки почтой...

У меня оказалось два конверта с марками. Я напнсал свой, ленинградский, и о. Платон — московский адрес, приписал «заказное» и подал матушке Варваре. (Через две неделн по возвращенин домой я получил по почте несколько этих песчинок, как и обещала мать Варвара, с которой мне пришлось встретиться в Саровском лесу прн такнх странных обстоятельствах.)

В теченне последующнх двух дней мы побывали в замечательной иконописной художественной мастерской, побеседовали со многими старыми иноками н инокинями; погуляли по густому лесу с огромнымн, в два обхвата, соснами; подышали «ладаном саровских сосен», как выразился о благоуханнн Сарова один русскнй поэт — Клюев.

Я решнл приобрестн маленький серебряный образок с изображением на одной стороне лика Божией Матерн Умиление, а на другой — преподобного Серафима, чтобы носнть на шее всю жизнь. Но, к сожаленню, такой иконки, обычно в большом количестве имеющейся в монастыре, в данное время не было. Этим обстоятельством я был весьма огорчен, но о. Платон сказал мне: «Помолитесь, чтобы преподобный Серафим послал вам эту иконку».

Снова с детской верой мы с о. Платоном просили Преподобного послать мне этот образок (мой спутнкк таковой уже имел).

— Ну, теперь, по приезде домой, вы обязательно получите эту иконку,— сказал мне

убежденно о. Платон.— Вам или подарит ее кто-нибудь или вы купите ее!»

Духовно напнтавшись в Сарове н Дивееве, мы отправились обратно в Арзамас.

В Саров принято приходить нз Арзамаса пешком за 70 верст. «Надо тому лапоточкн сносить, кто ко мне в гости идет»,— говарнвал преподобный Серафнм. Поэтому почтн все богомольцы прнходилн в Саров пешком. Впрочем, обратно обычно уезжалн на телегах, в которых помещалось по десять человек, по рублю с головы... Но условие поездкн было такое, чтобы сразу всем десятерым не сидеть, а сменяться по очереди, идя часть путн пешком.

Мы с о. Платоном так н поехали. Последнюю ночь в Сарове я почти не спал, а слушал, как били башенные часы. Они били ежеминутно один раз тонкнм колокольчнком, затем четвертн — несколько бóльшим н, наконец, часы отбивались уже большим колоколом...

По пути в Арзамас мы заметили впереди нас другую телегу, нанятую тоже десятком пассажиров. Среди этнх последних наше внимание привлекли две женские фнгуры: молодой схимонахинн н ее спутннцы, сестры милосердия в белой косынке.

Сестра милосердня часто прнсаживалась на телегу, хотя была крепкой краснощекой женщиной. Схимонахиня же, бледная, хрупкая, крайне болезненная на вид, шла бодро и ни разу не прнсела на телегу.

Мы заинтересовались этими богомолками, нагналн сестру милосердия н разговорилнсь с нею.

Узнав, что я врач, сестра милосердия спросила меня: «Объясннте мне, доктор, как понять

следующий случай». И она рассказала мне, что ее родственница, молодая монашка Смоленского монастыря Вероника, была больна туберкулезом легких в последней стадии. Врачи приговорили ее к смерти через две-три недели. Тогда она умолила дать ей схиму, а затем отвезти к мощам преподобного Серафима. Едва живую ее привезли в отдельном купе поезда и затем на телеге в Саров.

Приложившись к мощам преподобного Серафима, матушка Вероника почувствовала себя исцеленной и сказала: «Прости меня, преподобный Серафим, что я не могла к тебе прийти пешком и сносить лапоточки, но зато теперь обратно в Арзамас я не поеду, а пойду пешком семьдесят километров». И вот она идет.

Я ответил, что я не только врач, но еще и верующий православный христианин, а потому понимаю этот факт, как несомненное чудо, сотворенное преподобным Серафимом... Через три года после этого события, находясь за свои религиозные убеждения в Соловецком концлагере, я встретился там с епископом Иларионом из Смоленска, который мне поведал, что матушка Вероника до 1929 года, когда он был оттуда увезен, оставалась жива, и об ее чудесном исцелении знают многие верующие в Смоленском крае...

По дороге в Арзамас о. Платон и я заехали к о. Алексею, священнику в селе Ореховцы, и провели с ним в духовной беседе незабываемый час, пока отдыхали лошади.

В Арзамасе я распрощался с о. Платоном: он поехал в Москву, а я зашел к своей новой знакомой — сторожихе Софийского собора Ксении Дмитриевне.

Я возвратил ей ее посох, поблагодарил за все, по душам побеседовал с нею.

— Уж не знаю, что вам на память-то подарить,— сказала Ксения Дмитриевна и на минутку задумалась.— Да, вот что!.. Я-то найду в Сарове такой образок, а вот вы-то уж вряд ли в Ленинграде достанете.— И она сняла со своей шеи маленький серебряный образочек и показала мне.— Вы не имеете такой иконки?

Я посмотрел и обомлел: это был образок с изображением Божией Матери Умиление и преподобного Серафима. Это была такая иконка, о получении которой я вместе с о. Платоном молился накануне в лесу.

— Эта иконка,— объяснила мне Ксения Дмитриевна, надевая ее на меня,— лежала на лбу и на груди преподобного Серафима в день открытия его мощей в 1903 году...

Я уехал домой, и с тех пор вот уже 25 с лишним лет эта иконка постоянно со мной. Дай Бог чтобы и в могилу мне цойти с нею. Надеюсь на это крепко.

Вся моя жизнь после моего паломничества в Саровскую пустынь изменилась. Господь отнял от меня, по моей молитве на Канавке, все блага земные, но сохранил навсегда память о той минуте, когда, по безграничному милосердию Своему, по милости Пресвятой Богородицы и по молитвам преподобного Серафима, я, грешный, совершенно незаслуженно сподобился пережить в себе тихое, радостное, благое и благоуханное веяние Святого Духа Господня...





Сергей Бехтеев

ВИДЕНИЕ ДИВЕЕВСКОЙ СТАРИЦЫ

Зима лихолетья 1917 года

Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
В сизом тумане над белой поляной одна
Робко, как призрак, скользит золотая луна,
Блещет огнями на рыхлых алмазных снегах,
Ярко играя на скитских червонных крестах.
Мирно обитель в сугробах навеянных спит,
Только вдали огонек одинокий блестит.

В келье сосновой, окутанной трепетной мглой,
Жарко лампада горит пред иконой святой.
Пламя, мерцая, то гаснет, то, вспыхнув, дрожит,
Старица Ксенья на образ с любовью глядит.
Катятся слезы из староньких, слепеньких глаз,
Шепчут уста: «О Господь, заступись Ты за нас!
Гибнет Россия, крамола по царству растет,
Мутит нечистый простой православный народ.
Кровь обагрила родные леса и поля,
Плачет и стонет кормилица наша земля.
Сжалься, Спаситель, над темной, безумной страной:

Души смири, распаленные долгой войной.
Русь православная гибнет, на радость врагам,
Сжалься, Господь, не карай нас по нашим грехам.
Боже Великий, создавший и твердь и моря,
К нам снизойди и верни нам родного Царя!..»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада горит пред иконой святой.
Старица смотрит — и видит Христа пред собой:
Скорбные очи с любовью глядят на нее,
Словно хотят успокоить, утешить ее,
Нежно сказать: «Не печалься, убогая дщерь,
Духом не падай, надейся, молися и верь».
Робко лампада, мерцая во мраке, горит,
Старица скорбно во мглу, в безнадежность глядит.
Смотрит — и видит, молитву честную творя,
Рядом с Христом — самого страстотерпца Царя.
Лик его скорбен, печаль на державном лице,
Вместо короны стоит он в терновом венце,
Капли кровавые тихо спадают с чела,
Дума глубокая в складках бровей залегла.
Смотрит отшельница, смотрит, и чудится ей —
В облик единый сливаются в бездне теней
Образ Господень и образ страдальца-Царя...
Молится Ксенья, смиренною верой горя:
«Боже Великий, Единый, Безгрешный, Святой,
Сущность виденья рабе беталанной открой,
Ум просветли, чтоб могла я душою понять
Воли Твоей недоступную мне благодать!..»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,

Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада пред образом Спаса горит,
Старица Ксенья во мглу, в беспредельность глядит.
Видит она — лучезарный, нездешний чертог,
В храмине стол установлен, стоит поперек:
Яства и чаши для званых рядами стоят,
Вместе с Исусом Двенадцать за брашной сидят,
И за столом, ближе всех одесную Его,
Видит она Николая, Царя своего.
Кроток и светел его торжествующий лик,
Будто он счастье желанное сердцем постиг,
Будто открылись его светозарным очам
Тайны, незримые нашим греховным глазам.
Блещет в алмазах его драгоценный венец,
С плеч ниспадает порфиры червленый багрец,
Светел, как солнце, державный, ликующий взор,
Ясен, безбрежен, как неба лазурный простор.
Падают слезы из стареньких, слепеньких глаз:
«Батюшка-Царь, помолись ты, кормилец, за нас!» —
Шепчет старушка, и тихо разверзлись уста,
Слышится слово, заветное слово Христа:
«Дщерь, не печалься. Царя твоего возлюбя,
Первым поставлю Я в Царстве святых у Себя!»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.

25 ноября 1922 г.





Монахиня Антония (Берг)

ПОДВИГ СТАРЦА СЕРАФИМА

Ночка безмолвная, зрители —
Звездочки смотрят с небес.
Тихо вокруг. От обители
Тянется Са́ровский лес.
Келлия там одинокая,
В ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая
Подвиг, что он совершал.
Там, при дорожке под соснами,
Камень тяжелый лежал,
Старец ночами бессонными
Здесь на коленях стоял.
Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял с волей Господнею
Тысячу дней и ночей.
Весь без вниманья ко внешнему
В сердце молитву слагал.
«Боже, будь милостив грешному»,—
Старец смиренно шептал.
Хлеб и вода ключевая,
Каторжный труд среди гор.
Скоро кончина святая —

Слышится ангельский хор.
Тихо лампада мерцает,
В келье священный покой.
Радостно жизнь покидает
Старец-подвижник святой.





ИЗ ХРОНИКИ СЕРАФИМО-ДИВЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

1767—75 гг.— в Дивееве на месте старой деревянной церкви мать Александра Мельгунова, монахиня Киево-Флоровского монастыря, воздвигла каменный храм в честь Казанской Божией Матери и построила келлии для себя и четырех послушниц. Эта общинка была устроена на земле, указанной Самой Пресвятой Богородицей.

1825 г.— деятельное участие в жизни Дивеевской общины принимал старец Серафим.

1828 г.— заложена церковь Рождества Христова (с западной стороны от Казанской церкви), которая через год была построена и освящена стараниями М. В. Мантурова.

1829 г.— по молитве о. Серафима Мельничной общинке было пожертвовано три десятины земли. Эту землю обрыли Канавкой в три аршина глубиной, складывая вырытый грунт внутрь отведенной площади, чтобы образовался вал. Так появилась Канавка Пресвятой Богородицы.

1861 г.— Серафимо-Дивеевская обитель преобразована в монастырь.

1862 г.— игуменией монастыря поставлена

матушка Мария (Ушакова); возглавляла монастырь более 40 лет.

1864 г.— возобновлено строительство Свято-Троицкого собора, закладка освящена еще в 1848 г. преосвященным Иаковом на месте, указанном преподобным Серафимом.

1875 г.— собор был освящен в честь Пресвятой Троицы. Внутренняя отделка собора продолжалась силами сестер обители.

19 августа 1904 г.— кончина игумении Марии. В обители насчитывалось около 1000 сестер, в хозяйственном устроении было «изобилие во всем». Наместницей стала матушка Александра (Траковская).

1905 г.— заложен против Канавки огромный теплый собор. Построен по проекту архитектора А. А. Румянцева и расписан сестрами обители под руководством художника Парилова. (1915–1916). Собор предполагалось освятить в феврале 1917 г., но он так и не был освящен.

Ноябрь 1917 г.— конфискованы монастырские хутора.

1927 г.— закрыта организованная при монастыре артель, богослужения запрещены.

1937 г.— по суду «тройки» оставшиеся монахини были сосланы в лагеря Средней Азии.

1989 г.— верующим передан Троицкий собор. В Париже под руководством Н. Д. Хвостовой основан фонд помощи русских, сущих в рассеянии, на восстановление Троицкого собора.

31 марта 1990 г. на праздник Похвалы Богородицы архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай вновь освятил Троицкий собор.

Только одна сестра дореволюционного Сера-

фимо-Дивеевского монастыря дожила до этого времени — схимонахиня Маргарита (Лахтионова).

30 июля 1991 г. мощи преподобного Серафима Саровского торжественно внесены в Троицкий собор монастыря. В прославлении великого угодника Божия Серафима принимал участие Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем сборнике по возможности во всей полноте представлены материалы о судьбе Серафимо-Дивеевского монастыря и его насельниц в XX веке. Рукописные материалы матушек и паломников, оказавшиеся в руках составителя, были, как правило, написаны бегло, поэтому их пришлось подвергнуть литературной обработке (все подобные случаи оговариваются). Что касается полноты текстов, то она неукоснительно выдерживалась при подготовке к печати, и сокращению подлежали разве что повторяющиеся фрагменты либо обширные выписки из общеизвестного труда владыки Серафима (Чичагова), посвященного этой обители. В таком составе сборник впервые предлагается вниманию благочестивых читателей, любящих святыни своей страны, прибегающих к их спасительному воздействию на обремененные сердца. Мир вам и радование духовное! В примечаниях к публикациям читатели найдут подробности об авторах материалов и некоторые разъяснения текстов. Источники указаны в библиографических ссылках.

Монахиня Серафима (Булгакова)
Дивеевские предания

Монахиня Серафима, в миру Софья Александровна Булгакова (1903–4.3.1991), одна из последних дивеевских сестер. Постриг с именем Серафима приняла в 1924 году. Проходила послушание в иконописной мастерской. Родина матушки — Москва, родилась в интеллигентной семье: отец инженер, мать — балерина. По возвращении из лагерей и ссылок поселилась в селе Выездное, вблизи Арзамаса. Здесь на тихой улочке монахиня Серафима скапливала все, что относится к жизни Дивеевской обители: иконы, книги, литографии, рукописные материалы, вещи преподобного Серафима и блаженной Паши Саровской. Умилительны были встречи с нею паломников;

всегда приветливая, строгая в соблюдении благоговейности перед святостью, оиа вместе с тем щедро делилась воспоминаниями о былом своей обители, о людях, крепко стоявших в вере. Ее очерки моиастырского быта даиы в литературиой обработке составителя. Эту правку матушка одобрила. Глава «В скорбях и печалях» поначалу была опубликована в сборнике «Надежда», вып. 15 (Франкфурт-на-Майне [1991]). Публикатор — Алла Дронова. В иастоящем издании этот же текст дан в ииой редакции. Правка текста проведеиа составителем, им же дан и заголовок. Очерк «Схимоиахиия Анатолия» публикуется по записи иеромонаха Дамаскина (Орловского), а обширный материал о священиомучеиике Петре (Звереве) дан под редакцией игумена Андроника (Трубачева). Ему же прииадлежат и примечания к этому очерку. Похоронена матушка Серафима иа кладбище в селе Выездном. Ее могилка, отмеченная высоким крестом, посещается многими паломииками. И память о великой страдалице жива.

Устройство и быт монастыря

[1] Блажеиная Наталия Ивановна устроила моиастырь на монастырском хуторе Меляево.

[2] Воспоминания матушки Анфии, руководившей устроеиием московского подворья Серафимо-Дивеевского моиастыря в 20-е годы текущего столетия, опубликованы в записи Михаила Ефимовича Губаниииа; см.: Патриарх Тихои и история Русской Церковиой смуты. Ки. 1. М., Сатисъ, 1994. С. 192–205.

Что я слышала от сестер и видела и слышала сама

[1] Икоиа Божией Матери Умиление, перед которой скончался великий старец Серафим, долгие годы пре-

бывала в Дивеевском монастыре, знаменуя собою верховенство Богородицы над Ее Четвертым жребием. Поэтому-то и почитали Ее здесь Верховной Игуменией, а все поставленные игумении считали себя лишь наместницами. Сам образ Умиления написан был во второй половине XVIII века на кипарисовой доске размером 67 x 49 см. Впоследствии на икону усердием одной богомолки, Наталии Ивановны Богдановой, была положена вызолоченная риза. В незабываемые Саровские торжества 1903 года икона украсилась драгоценной ризой, пожертвованной Императором Николаем II.

В смутные, погромные годы революции дивеевские сестры сделали несколько точных списков с подлинной иконы, чтобы сохранить в памяти потомства чудотворный образ Умиления. Когда же настал погром обители 21 сентября 1927 года и сестры «рассыпались как горох» за пределами Дивеева, в пустующем Троицком соборе все так же на своем месте стояла святая икона, только не подлинник, а его копия. Сама же Серафимова Радость всех радостей ушла вместе с наместницей в потаенное место. Таким местом оказался сказочный русский городок Муром. Именно его выбрала наместница обители матушка Александра (Траковская; † 4.2.1942) для своего уединенного жития. Вместе с нею обосновались ее келейница Нюша Баринова — та, что после кончины матушки возглавит монастырь в миру, и врач — монахиня Серафима. Домик дивеевских изгнанниц стоял подле стен разгромленного Благовещенского монастыря. Сюда тайком наведывались многие дивеевские сестры, и руководство Верховной Игумении не прекращалось ни на час.

Саму же подлинную икону пришлось перепрятывать. С нее была снята государева драгоценная риза: сестры зарыли ее в садике, напротив своего изгнаннического приюта. Без ризы образ стал менее заманчив для безбожников, рыскавших по городу в поис-

ках ценностей. Да и поставлен был образ в самом темном углу матушкиной кельи, и не на божнице, а на комоде. После смерти матушки Александры наместницей, с согласия сестер, была поставлена монахиня Мария (Баринова), до пострига известная как келейница Нюша. Матушка Мария все так же продолжала жить в том крошечном домике возле стен былой могучей обители — Муромского Благовещенского монастыря, и при ней, как при ее предшественнице, все так же обретался чудотворный образ Умиления. Подрабатывали сестры в миру благочестивым занятием — изготовлением митр, омофоров и церковной утвари. Этому искусству они обучили иеромонаха Пимена, будущего Патриарха Московского и всея Руси, который в 40-е годы служил в Благовещенском храме, последнем из действующих во всем Муроме. В этом храме на клиросе пели уцелевшие дивеевские монахини муромского рассеяния.

И вот прошли годы. Матушка Мария, чувствуя приближение смерти, постановила извлечь драгоценную ризу из тайника. Когда ризу извлекли из земли, она предстала в весьма обветшавшем виде: чеканка почернела, жемчуг — им был выложен покров Владычицы — от сырости растворился, пропал. Требовалось серьезное поновление всего дивного изделия. По благословению Святейшего Патриарха Пимена за поновление ризы взялся отец Виктор Шаповальников. И что же? По молитвам преподобного Серафима его святыня ожила. Священник Виктор вернул ризе всю ее красоту, все ее сияние. Целых десять лет, с 1980 по 1991 год, он хранил в тайне убранную ризой чудотворную икону. В его подмосковном доме, где благоговейно содержалась святыня, денно и нощно теплилась пред иконой Умиления неугасимая лампада. А в июне 1991 года отец Виктор передал чудотворный образ Святейшему Патриарху Алексию II. Радость всех радостей возвратилась в Дивеев мо-

настырь, где и пребывает в молитвенном почитании.

[2] О том, как создавалась «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», ее автор священник Леонид Михайлович Чичагов, впоследствии митрополит Серафим, рассказал в своих записках. Рассказ приводим по рукописи, предоставленной составителю внучкой Преосвященного Варварой Васильевной Черной (ныне игумения Новодевичьего монастыря Серафима). В записках читаем:

«Когда после довольно долгой государственной службы я сделался священником в небольшой церкви за Румянцевским музеем, мне захотелось съездить в Саровскую пустынь, место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного. И когда наступило лето, поехал туда. Саровская пустынь произвела на меня сильное впечатление. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвизался Преподобный. Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь, где мне очень понравилось и многое напоминало о преподобном Серафиме, так заботившемся о дивеевских сестрах. Игумения приняла меня очень приветливо, много со мной беседовала и, между прочим, сказала, что в монастыре живут три лица, которые помнят Преподобного: две старицы-монахини [Еванфия и Ерминия] и монахиня Пелагея (в миру Параскева, Паша). Особенно хорошо помнит его Паша, пользовавшаяся любовью Преподобного и бывшая с ним в постоянном общении. Я выразил желание ее навестить, чтобы услышать что-либо о Преподобном из ее уст. Меня проводили к домику, где жила Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая в постели (она была очень старая и больная), воскликнула:

— Вот хорошо, что ты пришел, я тебя давно поджидаю: преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил Государю, что наступило время открытия его мощей и прославления.

Я ответил Паше, что по своему общественному

положению не могу быть принятым Государем н передать ему в уста то, что она мне поручает. Меня сочтут за сумасшедшего, еслн я начну домогаться быть принятым Императором. Я не могу сделать то, о чем она меня просит.

На это Паша сказала:

— Я ничего не знаю, передала только то, что мне повелел Преподобный.

В смущении я покинул келлию старицы. После нее я пошел к двум монахиням, помнившим Преподобного. Они жили вместе и друг за другом ухаживалн. Одна была слепая, а другая вся скрюченная н с трудом передвигавшаяся по комнате: она заведовала прежде квасоварней н как-то передвигала в погреб по ступенькам лестннцы тяжелую бочку с квасом, полетела вниз, н вслед за ней бочка, ударнвшая ее по среднпм позвонкам спинного хребта всею своею тяжестью. Обе старицы былн большие молитвеннпцы. Слепая монахиня постоянно молилась за усопшнх, прн сем души их являлись к ней, и она видела их духовными очами. Кое-что она могла сообщить и о Преподобном.

— Перед отъездом в Саров,— продолжал Митрополит,— я был у о. Иоанна Кронштадтского, который, передавая мне пять рублей, сказал:

— Вот прнслали мне пять рублей и просят келейно молиться за самоубийцу: может быть, вы встретнте какого-нибудь нуждающегося священника, который бы согласился молиться за несчастного.

Придя к монахиням, я прочитал перед слепой запнсочку, в которую вложил пять рублей, данных мне о. Иоанном. Помимо этого я назвал имя своей покойной матери н просил молиться за нее. В ответ услышал:

— Придите за ответом через три дня.

Когда я пришел в назначенное время, то получил ответ:

— Была у меня матушка ваша, она такая маленькая-маленькая, а с ней ангелочек приходил.

Я вспомнил, что моя младшая сестра скончалась трех лет.

— А вот другой человек, за которого я молилась, тот такой громадный, но он меня боится, все убегает. Ой, смотрите, не самоубийца ли он?

Мне пришлось сознаться, что он действительно самоубийца, и рассказать про беседу с о. Иоанном.

Вскоре я уехал из Дивеевского монастыря и, возвращаясь в Москву, невольно обдумывал слова Паши. В Москве они опять пришли мне в голову. И вдруг однажды меня пронзила мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафиме помнившие его монахини, разыскать других лиц из современников Преподобного и расспросить их о нем, ознакомиться с архивами Саровской пустыни и Дивеевского монастыря и заимствовать оттуда все, что относится к жизни Преподобного и последующему после его кончины периоду. Привести весь этот материал в систему и хронологический порядок, затем этот труд, основанный не только на воспоминаниях, но и на фактических данных и документах, дающих полную картину жизни и подвигов преподобного Серафима и значение его для религиозной жизни народа, напечатать и поднести Императору, чем и будет исполнена воля Преподобного, переданная мне в категорической форме Пашей. Такое решение еще подкреплялось тем соображением, что Царская Семья, как было известно, собираясь за вечерним чаем, читала вслух книги богословского содержания, и я надеялся, что и моя книга будет прочитана.

Таким образом зародилась мысль о «Летописи».

Для приведения ее в исполнение я вскоре взял отпуск и снова отправился в Дивеево. Там мне был предоставлен архив монастыря, так же как и архив Саровской пустыни. Но прежде всего я отправился к Паше и стал расспрашивать ее обо всех известных ей эпизодах жизни Преподобного, тщательно записы-

вал все, что она передавала мне, а потом ей записи прочитывал. Она находила все записанное правильным и наконец сказала:

— Все, что помню о Преподобном, тебе рассказала, и хорошо ты и верно записал, одно нехорошо, что ты меня расхваливаешь.

В это время игумения Дивеевского монастыря отправилась в Нижний Новгород на ярмарку, чтобы закупить годовой запас рыбы для монастыря, а когда я в ее отсутствие пожелал навестить Пашу, то застал ее совершенно больной и страшно слабой. Я решил, что дни ее сочтены. Вот, думалось мне, исполнила волю Преподобного и теперь умирает. Свое впечатление я поспешил передать матери казначее, но она ответила:

— Не беспокойтесь, батюшка, без благословения матушки игумении Паша не умрет.

Через неделю игумения приехала с ярмарки, и я тотчас пошел сообщить о своих опасениях относительно Прасковии, уговаривая ее немедленно сходить к умирающей, дабы проститься с ней и узнать ее последнюю волю, иначе будет поздно.

— Что вы, батюшка, что вы,— ответила она,— я только приехала, устала, не успела осмотреться; вот отдохну, приведу в порядок все, тогда и пойду к Паше.

Через два дня мы пошли вместе к Паше. Она обрадовалась, увидя игумению. Они вспомнили старое, поплакали, обнялись и поцеловались. Наконец, игумения встала и сказала:

— Ну, Паша, теперь благословляю тебя умереть.

Спустя три часа я уже служил по монахине Пелагее первую панихиду.

Возвратившись в Москву с собранным материалом о преподобном Серафиме, я немедленно приступил к своему труду. Когда «Летопись» была окончена, я, просматривая корректуру последней (это было

поздно вечером), внезапно увидел налево от себя преподобного Серафима сидящим в кресле. Я как-то инстинктивно к нему потянулся, припав к груди, и душу мою наполнило неизъяснимое блаженство. Когда я поднял голову, никого не было. Был ли это кратковременный сон или действительно мне явился Преподобный, не берусь судить, но я понял это так, что Преподобный благодарил меня за исполнение переданного мне Пашей его повеления. Остальное известно. Я поднес свой труд Императору, что, несомненно, повлияло на решение прославления преподобного Серафима.

Вскоре я овдовел и принял монашество с именем Серафима, избрав его своим небесным покровителем». (Впервые этот рассказ в сокращении опубликован: *В. Черная.* Митрополит Серафим (Чичагов) // Журнал Московской Патриархии. 1989. № 2. С. 15.)

Из Саровской жизни

[1] Саровский краевед А. Подурец провел интересные разыскания о прошлом монастырского хутора Маслиха (Городской курьер. 1991. 3 июля). В заметке читаем:

«По народному преданию, у Маслихи когда-то была большая битва татар с мордвою, в монастырские времена нередки были там находки в земле человеческих костей, оружия.

В 1750-х годах здесь появилась водяная мельница, называвшаяся Масленковой, видимо, по фамилии хозяина, Ивана Васильевича Масленкова. Он жил в Арзамасе и был близким другом основателя Саровской пустыни игумена Иоанна. И. В. Масленков помогал блаженному Иоанну еще при построении первой церкви и подарил в нее главную святыню — икону Божией Матери Живоносный Источник.

Масленкова мельница вскоре перешла к Саровской пустыни, но просуществовала недолго. По доку-

ментам Генерального межевания (1782–1783) мельница уже значится как скотный двор, а в 1798 году она была окончательно разобрана. Одна из причин ее упразднения — подтопление лугов, необходимых для выпаса скота.

В 1795 году при строителе Исаии монастырский скотный двор расширили. Был Исаия и большим любителем пчеловодства, на Масленковой пустыньке он завел пасеку.

В 1796 году впервые в монастырских записях появляется название Маслиха. Получилось оно, видимо, из комбинации первоначального названия мельницы и масла, которое сбивала монастырская маслобойня.

В 1900–1905 годах деревянные постройки скотного двора заменили каменными. Два одноэтажных здания на территории современного больничного городка стоят с монастырских времен».

Об архиепископе Петре (Звереве)

Первая публикация текста: «Троицкое слово». 1990. №6. С 12–27.

[1] В 1897 г.

[2] Постриг был совершен 19 января 1900 г.

[3] В 1902 г.

[4] Иеромонах Петр состоял на духовно-учительской службе. С 1909 г. — инспектор Новгородской духовной семинарии.

[5] Настоятель Спасо-Преображенского Белевского монастыря в 1910–1917 гг. Впоследствии — настоятель церкви Владимирского Епархиального дома в Москве, что в «Воспоминаниях» не отмечено.

[6] Архиепископ Евдоким (Мещерский, 1869–1936). В 1894 г. окончил МДА. В 1903–1909 гг.— ректор МДА. 1904 г. — епископ Волоколамский, 1909 г. — епископ Каширский, 1914 г. — архиепископ Алеутский и Североамериканский. Участник Поместного

Собора 1917–1918 гг. В 1919 г. — архиепископ Нижегородский. 16 июня 1922 г. уклонился в обновленчество, подписав «Воззвание трех» (см. прим. 8). С тех пор — основоположник обновленческого раскола, возведен в сан «митрополита», назначен председателем ВЦУ в 1923 г. Председатель (1923), затем постоянный член (1925) президиума обновленческого Синода. С 1924 г. жил в Гаграх. Скончался в Хосте в марте 1936 г.

[7] Архиепископ Иларион (Троицкий; 1886–1929). В 1910 г. окончил МДА, где и оставлен для преподавания. В 1913 г.— архимандрит, магистр богословия и профессор, инспектор МДА. В 1920 г.— епископ Верейский, викарий Московской епархии, 1923 г.— архиепископ. Борец за восстановление Патриаршества, выступал и против обновленчества. С 1925 г.— в Соловецком лагере. Скончался от сыпного тифа как исповедник веры в Ленинграде 15(28).12.1929 при пересылке в Ташкент.

[8] Вероятно, имеется в виду «Воззвание трех», опубликованное в обновленческом журнале «Живая Церковь» (№ 4–5 от 1–15 июля). «Мы, Сергий, митрополит Владимирский и Шуйский, Евдоким, архиепископ Нижегородский и Арзамасский, и Серафим, архиепископ Костромской и Галичский, рассмотрев платформу Высшего церковного управления и каноническую законность Управления, заявляем, что целиком разделяем мероприятия Высшего церковного управления, считаем его единственной канонически законной верховной церковной властью и все распоряжения, исходящие от него, считаем вполне законными и обязательными. Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов Церкви, как вверенных нам, так и других епархий. 16 июня 1922 г.».

Приводя данное «Воззвание», митрополит Мануил (Лемешевский) писал: «Мы не имеем права скрыть

от истории тех печальных потрясающих отпадений от единства Русской Церкви, которые имели место в массовом масштабе после опубликования в журнале «Живая Церковь» письма-воззвания трех известных архиереев (то есть конкордата). Многие из архиереев и духовенства рассуждали наивно и правдиво так: если уж мудрый Сергий признал возможным подчиниться ВЦУ, то ясно, что и мы должны последовать его примеру. И переходили в тот сравнительно небольшой отрезок времени массами в обновленчество. Я уже не говорю здесь о рядовом духовенстве, когда десятки архиереев ринулись в обновленчество и тем приумножили и укрепили ряды церковно-обновленческой власти» (Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно). Ч. VI. Савва — Ювеналий. Составил митрополит Мануил. Erlangen, 1989. С. 174).

В обновленческом расколе митрополит Сергий находился в течение 14 месяцев и после выхода Патриарха Тихона из тюрьмы принес ему публичное церковное покаяние в день праздника Успения Пресвятой Богородицы перед литургией (на 3-м часе) в Донском монастыре.

[9] Епископ Александр (Надеждин. 1857–1931). Окончил СПДА. 1920 — март 1921 г.— епископ Кашинский, викарий Тверской епархии. Затем до ноября 1922 г.— правящий Вологодской епархией, до марта 1923 г.— правящий Тверской епархией, с марта 1923 г.— правящий Олонецкой епархией. В 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, был участником обновленческого Собора 1923 г. В дальнейшем обновленческий архиепископ (1925), митрополит (1927).

[10] Епископ Феофил (Богоявленский, 1886–1937). В 1911 г. окончил МДА. После 1918 г.— настоятель Новоторжского Борисовского монастыря. С 1920 г.— епископ Новоторжский, викарий Калининской епархии. С 1927 г.— епископ Кубанский и Черноморский.

[11] Митрополит Владимир (Шимкович, 1841–1925). В 1867 г. окончил Киевскую Духовную Академию. В 1887 г.— епископ Нарвский, с 1900 г.— епископ Острогожский, викарий Воронежской епархии. В сан архиепископа и митрополита Воронежского возведен в начале 1920-х гг.

[12] Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) образован в закрытом Соловецком монастыре в 1923 г. В 1937 г. СЛОН преобразован в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН), просуществовавшую до 1939 г. См.: *А. И. Солженицын.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Т. 2. М., 1989. С. 28–68 (Глава 2. Архипелаг возникает из моря).

[13] Анзерский остров, расположенный рядом с большим Соловецким островом. На Анзерском острове находились скиты Троицкий и Голгофо-Распятский, превращенные в места уничтожения узников.

[14] Успенский, сын священника. Чтобы избежать преследований после революции, «убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти... Ему дали легкий срок – и сразу пошел он в лагере по культурно-воспитательной линии, быстро освободился, и вот уже мы застаем его вольным начальником КВЧ Соловков» (*А. И. Солженицын.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Т. 2. М., 1989. С. 62).

[15] Троицкий скит на Анзерском острове основан преподобным Елеазаром в 1620 г.

[16] Копрская губа Анзерского острова.

[17] Не совсем точно. В Голгофо-Распятском скиту было два храма: 1) каменный, в честь Распятия Господня, с приделом в честь Успения Пресвятой Богородицы; 2) деревянный, в честь Воскресения Христова, под горой, перенесенный сюда в 1833 г. с горы. Описываемое далее явление Божией Матери и преподобного Елеазара иеросхимонаху Иисусу было 18 июня 1712 г.

[18] В житии святой великомученицы Варвары (память 4 декабря) рассказывается, что перед кончиной

она испросила у Господа, чтобы Он избавлял всех, прибегающих к ее помощи, от нечаянных бед, от внезапной смерти без покаяния и причащения Святых Тайн и изливал бы на них Свою благодать. На этом обетовании и основываются многочисленные явления святой Варвары со Святыми Тайнами для умирающих.

[19] В различных редакциях «Воспоминаний» указывается «архиепископ Полтавский» или «архиепископ Покровский». «Полтавский» — возможно, владыка Василий (Зеленцов). Окончил СПДА, в 1920-е гг.— священник в Полтаве и Харькове. В 1925 г.— епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии. В 1926 г. отправлен в Соловецкий лагерь, где находился, вероятно, еще до 1929 г. Расстрелян 4 апреля 1930 г.

«Покровский» – возможно, владыка Глеб (Покровский, 1881–1937). Окончил МДА. В 1923 г.— епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии. С 1925 г.— в Соловецком лагере. В 1932 г.— епископ Соликамский, в 1933 г.— епископ Пермский, в 1935 г.— архиепископ Свердловский. Скончался мученически в 1937 г.

Кроме того, архиепископ Петр 25 февраля (9 марта) 1928 г. в письме упоминает: «Работаю по счетоводству в продовольственном складе, где занимаются одни священники. Тут же живу в малой комнате вместе с преосвященным Григорием, епископом Печерским из Нижнего». В справочниках сообщается, что владыка Петр был переведен на Анзер зимой 1928 г., но, судя по данному письму, вероятнее, что еще 9 марта он находился на Соловецком острове. Епископ Григорий (Козлов, 1883–1937) окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1919 г.— священник в Костроме, в 1922 г.— епископ Ветлужский, в 1926 г.— епископ Печерский Нижегородской епархии. В 1936 г.— епископ Уфимский.

[20] А. И. Солженицын подробно описывает мучени-

ческий подвиг Георгия Михайловича Осоргина, совершенный на Пасху Христову 1928 г.: «Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел на Пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому отвез мантию и Святые Дары. По доносу посажен в карцер и приговорен к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая (он и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трех дней, и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. «Что с тобой?» — «Ничего»,— прояснился он тут же. Она могла еще остаться — он упросил ее уехать. Черта времени: убедил ее взять теплые вещи, он на следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу». (*А. И. Солженицын.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Т. 2. М., 1989. С. 45). На Соловках был зачат нынешний настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы и Преподобного Серафима Саровского в Париже протоиерей Михаил Осоргин.

[21] Епископ Лаврентий (Князев). Окончил СПДА. В 1917 г.— епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии.

[22] Память преподобного Антония Печерского совершается 7 мая и 10 июля.

Иеромонах Дамаскин (Орловский) Блаженная Мария Ивановна

Очерк написан по воспоминаниям самовидцев Блаженной — Валентины Долгановой, келейницы епископа Варнавы (Беляева), и инокини Серафимы (Ловзанской).

Публикуем по: *Иеромонах Дамаскин (Орловский).* Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1. Тверь, изд-во «Булат», 1992. С. 124–133.

Мученицы села Пузово

Впервые очерк напечатан: *Иеромонах Дамаскин (Орловский).* Указ. соч. С. 93–122. Воспроизведен текст по этому изданию.

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова) «Будет вам монастырь»

Последняя дивеевская старица, схимонахиня Маргарита (в миру Евфросиния Фомовна Лахтионова, в мантии Мария; род. 25.9.1899), жила в селе Вертьянове. Воспоминания впервые опубликованы в Дивеевском номере «Православного чтения» (М., 1990. № 3). Публикатор текста Георгий Шевкунов, ныне игумен Тихон. Воспроизведен текст без изменения.

Монахиня Таисия (Арцыбушева). Записки

Монахиня Таисия, в миру Татьяна Александровна Арцыбушева (1896—1942), урожденная Хвостова,

дочь Александра Алексеевича Хвостова (министра юстиции в 1915—1916 гг.) и Анастасии Александровны Ковалевской. Мемуары охватывают период с 1917 по 1930 гг. и при насыщенности происшествиями той эпохи могут показаться бедными со стороны внешней событийности. Они сосредоточены на духовной жизни автора — на пути к Церкви и в Церкви. Это и важно: их пишет монахиня — мать Таисия. Татьяна Александровна приняла тайный постриг 22 августа 1925 г. в Даниловом монастыре. Ее свидетельства о катакомбной Церкви и жизни в Дивееве ценны и интересны.

Духовным отцом монахини Таисии был известный подвижник архимандрит Серафим (в миру Григорий Юрьевич Климков, в схиме Даниил; 1893–1.2.1970), а старцем — иеросхимонах Зосимовой пустыни отец Алексий (в миру Феодор Алексеевич Соловьев; 1846–2.10.1928).

После того как в 1930 г. был расстрелян Михаил Петрович Арцыбушев — деверь Татьяны Александровны, на иждивении которого она официально числилась вместе в детьми после смерти своего мужа,— вся семья была выслана, с конфискацией имущества, в город Муром, а дивеевский дом Арцыбушевых был разрушен. Записки печатаются по: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 9. Париж, 1990. С.106–147.

Монахиня Серафима (Осоргина)
Преподобный Серафим в жизни матушки Фамари

Монахиня Серафима (в миру Антонина Михайловна Осоргина; 1900–25.12.1985), педагог. Постриг приняла в 1971 г. и с той поры состояла в Покровской общине (монастырь расположен в Бюсси, на юге Франции). Россию покинула вместе с родителями в 1922 г., долгое время проживала в Париже, где ее отец, священник, имел дом, радушно принимавший

русских мыслителей-изгнанников (так называемый «Бердяевский дом»). Протоиерей Михаил служил настоятелем храма в Кламаре. Этот храм был построен его усилиями и на его средства. Монахиня Серафима, еще будучи в миру, много помогала Покровской общине и вместе с тем вела неутомимую организаторскую работу по созданию школы русского языка. Воспоминания матушки выходили за рубежом анонимно, так же безымянно они были воспроизведены и в России.

Представленный в настоящем сборнике отрывок печатается по изданию: Матушка Фамарь. М., 1995. С. 21–29. Подробнее о схиигумении Фамари: Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995. С. 104–149.

В книге «Царю Небесному и земному верный» (сост. Т. Гроян. М., 1996. С. 396) авторство публикуемого отрывка воспоминаний о матушке Фамари ошибочно приписано монахине Серафиме (Булгаковой).

Схиигумения Фамарь, в миру княжна Тамара Александровна Марджанова (1.4.1869–10.4.1936), происходила из богатой грузинской семьи. Получила превосходное воспитание и образование. С 1902 г. — игумения Бодбийского монастыря в Грузии, в котором спасалось около трехсот сестер. Получала помощь и поддержку Кронштадтского пастыря — Иоанна Ильича Сергиева. В 1905 г. указом Святейшего Синода назначена настоятельницей Покровской общины в Москве, в которой монахини работали сестрами милосердия, подобно тому как это было в Марфо-Мариинской обители, руководимой Великой княгиней Елизаветой Феодоровной. В 1908 г. матушка Фамарь (в мантии Ювеналия) посетила Серафимо-Понетаевский монастырь, в сорока верстах от Дивеева, молилась перед чудотворной иконой Божией Матери Знамение. Здесь она получила от Пречистой внушение — создать Серафимо-Знаменский скит, который

по благословению Оптинского старца Анатолия, других молитвенников и был устроен (освящен в конце сентября 1912 г.). Просуществовал скит недолго — уничтожен большевиками в 1924 г. С той поры матушка Фамарь с десятью сестрами поселилась в Перхушкове, невдалеке от Москвы. Ее монастырь в миру просуществовал до 1931 г., когда власти арестовали схиигумению и ее сестер. Начались тюремные скорби, затем ссылка в сибирскую глушь. В 1934 г. страдалица вернулась в Подмосковье, где вскоре и скончалась. Отпевал схиигумению Фамарь на дому владыка Арсений (Жадановский). Похоронена на Введенских горах, недалеко от могилы о. Алексия Мечева.

Протоиерей Стефан Ляшевский
Дивеев монастырь в мятежные годы

Записки митрофорного протоиерея Стефана (Степана Николаевича) Ляшевского (17.6.1899–2.6.1986) задумывались им как продолжение «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», на что он и получил в свое время благословение митрополита Серафима (Чичагова). Мирская профессия о. Стефана — геолог: работал инженером-геологом, техническим руководителем геолого-разведочных партий, одновременно читал курс общей исторической геологии в Новочеркасском техникуме. С 1934 по 1936 г. — старший геолог Азово-Черноморского силикатного треста в Ростове. В 1936 г. арестован, провел три года в сибирском концлагере. Затем снова геологическая практика. Война застигла его в Краснодаре, рукоположен в священнический сан в Таганроге, после чего жил в Киеве, где занимался восстановлением Владимирского собора. Служил в этом соборе до эвакуации на Запад.

В 20-е годы Степан Николаевич часто посещает Дивеев монастырь с членами Таганрогского право-

славного братства, тщательно знакомится с бытом обнтели в мятежные годы, заручается доверием матушкн игуменнн Александры (Траковской) н ее влиятельных сестер. Его свидетельства по своей значимости уникальны для истории монастыря в годы утесненнй и гонений иа Церковь Хрнстову. После разгона обнтели Степан Николаевич навещает монахинь в Муроме и других городах, поддерживает с ними самое непосредственное общение.

Еще в 1921 г. нгумеиия монастыря благословила С. Н. Ляшевского чудиой иконой Богоматери Умилеиие, иаказав ему, чтобы ои всю жизнь иикогда не расставался с этой святыней. И о. Стефан не расставался с нею даже в военное лихолетье н в послевоенные скнтания по белу свету. Икона была всегда с иим до последних минут его жизни. Завещана протоиереем Стефаном возрождениому Дивееву. В настоящее время его икона Умиление находится в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. Будем иадеяться, что завещание Божня служителя будет нсполиено. Его матушка Капнтолиия, о которой идет речь в очерке, приняла постриг с именем Мария в 1975 г. перед самой своей кончнной.

Следует также напомнить, что о. Стефан нзвестен православиым людям как автор замечательных нсторико-богословских трудов. Проживая в США, в Балтиморе (Флорида), он нздал «Шесть дней творения. Трилогия» (1962), «Первоначальная библейская Церковь» (1960), «Библейская повесть о праотцах» (1964), «Агиология». Ч. 1–2 (1966); «История христианства в земле Русской с I века по XI. Очеркн по Предысторин Россин» (1968) и др.

В Балтнморе же протоиерей Стефан Ляшевский создает и свои воспоминания о встречах в Дивееве. Весьма иебольшой отрывок из этих записок был опубликоваи автором в газете «Россня» н перепечатан затем в журнале «Православная Русь». 1980. № 23.

Заглавие отрывка «Того Царя, который меня прославит,— я прославлю». После кончины автора в «Календаре Комитета русской православной молодежи за границей на 1993 г., 25-е юбилейное издание» уже посмертно публиковался еще один фрагмент этого труда. Основной массив черновой рукописи остался в бумагах семейного архива.

В начале 90-х годов копия рукописи о. протоиерея попала в Россию в распоряжение внучки митрополита Серафима (Чичагова) — Варвары Васильевны Черной (ныне игумения Новодевичьего монастыря в Москве — матушка Серафима). Составитель этого сборника искренне благодарит матушку Серафиму (Чичагову-Черную) за возможность ознакомления и право сделать первую публикацию всей рукописи, посвященной Дивееву. В процессе литературной обработки записок из них пришлось исключить фрагменты, повторяющие печатную дивеевскую «Летопись», а также эпизоды, не относящиеся непосредственно к теме нашего сборника. Стилистическая правка не затрагивала характера изложения и оценок сборника. Заглавие запискам дано составителем.

[1] Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов; 1856–11.12.1937) последний раз был арестован в ноябре 1937 г. Расстрелян большевиками в лагере НКВД Бутово в предместье Москвы.

[2] Игумения Серафимо-Дивеевского монастыря Мария (в миру Елизавета Алексеевна Ушакова; 30.8.1819–19.8.1904).

[3] Игумения Александра (Траковская, † 4.2.1942), возглавляла монастырь до самого его разгона.

[4] Епископ Зиновий (Дроздов; 14.7.1875 — после 1927) управлял Тамбовской и Шацкой епархией до 1923 г.

[5] Недавно эта икона была передана в Ватикан.

[6] Один из таких подлинных осколков с изображением Старца хранится у настоятельницы Новодевичьего монастыря игумении Серафимы.

Игумен Серафим (Путятин)
Листки воспоминаний

Серафим Путятин (1875–1959), игумен Серафимо-Алексеевского скита Пермской епархии, основанного в 1904 г.; духовник преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой (20.10.1864–28.7.1918), перевозивший ее гроб из Алапаевска в Пекин (1920), а затем в Иерусалим (1921). Скончался в Иерусалиме в греческом монастыре и похоронен на кладбище в Новой Галилее рядом с храмом. Публикуемые «Заметки» взяты из книги игумена Серафима «Православный Царь-мученик» (Пекин, 1920. С. 9–11, 57–62). Перу игумена принадлежит еще брошюра «Мученики христианского долга» (Пекин, 1920), посвященная памяти Великой княгини Елизаветы Феодоровны.

В своих «Заметках» автор пересказывает известное дивеевское предание о передаче письма преподобного Серафима, адресованное им последнему российскому самодержцу.

[1] Николай Александрович Мотовилов (3.5.1809–14.1.1879), симбирский помещик и совестный судья, известен в летописи Дивеевской обители как «служка Божией Матери и Серафимов».

[2] Автор пересказывает известную записку А. Ф. Тютчевой, фрейлины высочайшего Двора, «Святой Серафим Саровский в Царской Семье» (опубликована в «Русском Архиве». № 5. 1903) об исцелении дочери Императора Александра II Марии Александровны (5.10.1853–24.10.1920) и вдовствующей Императрицы путем возложения на болящих полумантии старца Серафима. Произошло это в 1860 г. Начало почитания Саровского чудотворца в Царской Семье относится к более раннему времени, к 40-м годам XIX столетия, когда Высочайшие Особы и придворные стали посещать серафимовские обители и рассказы о подвижнике

проникали во все слои русского общества. Достоверные сведения о прозорливом старце содержались и в докладных записках «служки Серафимова» Н. А. Мотовилова, поданных им на имя Императора Николая I.

[3] Это предречение святого Серафима о смутах и катастрофах в царствование Николая II предал огласке либеральный историк С. П. Мельгунов в своей очернительской книжке «Последний самодержец» (М., 1917. С. 5). Его версия немедленно была подхвачена революционными газетами для пропаганды неизбежной гибели монархии. Естественно, игумен Серафим с отвращением относился к подобным сообщениям.

Зоя Пестова
Поездка в Саров

Автор воспоминаний Зоя Вениаминовна Пестова (1900–1973), уроженка города Углича. Родилась в семье врачей Вениамина Федоровича и Марии Александровны Бездетновых. Семья была обеспеченной, жили в особняке на главной улице. Давнее паломничество в Дивеево и Саров Зоя Вениаминовна описала в назидание своей дочери Наташе и внучке Кате Соколовым, и сделала это на склоне жизни, в 1965 г. Дальнейшую свою жизнь она в воспоминаниях почти не раскрывает. Между тем, и дальнейшая судьба З. В. Пестовой поучительна.

После февральского переворота Зоя Вениаминовна приехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Остановилась у тетки на Таганке, невдалеке от церкви Мартина Исповедника. Через некоторое время поступила учиться в Московское высшее техническое училище и включилась в деятельность Христианского студенческого кружка (собирался в здании Политехнического музея до 1924 г.). В жесточайшие годы гонений на Церковь вела себя смело: носила в тюрьмы передачи для заключенных священнослужителей,

укрывала у себя преследуемых. Позже, вместе со своим мужем Николаем Евграфовичем Пестовым, устраивала на своей квартире молитвенные собрания.

З. В. Пестова с супругом были духовными чадами о. Сергия Мечева; муж к тому же состоял старостой храма Св. Николая в Кленниках, на Маросейке.

В 1931 г. Зою Вениаминовну арестовали, освободили через шесть месяцев. Но приклеенный к ней лубянский ярлык «сотрудничала с заграницей» не сняли до конца дней. В войну потеряла сына (погиб в бою под Смоленском). Скончалась Зоя Вениаминовна 15 ноября 1973 г., похоронена в селе Гребневе под Москвой. Ее воспоминания впервые опубликованы в сборнике «Надежда». Вып. 9. Франкфурт-на-Майне, 1983. С. 173–216. Не оговоренные постраничные примечания — авторские.

[1] Иак. 2, 19.

[2] Наталья Дмитриевна Крылова (1892–25.2.1963). Архиепископом Иосифом (Петровых), будущим митрополитом, пострижена в монахини (1922) в Толгском монастыре на Волге. В схиме — Серафима. Оказала большое духовное влияние на митрополита Никодима (Ротова) в годы его юности.

[3] Лк. 4, 23.

[4] Ин. 1, 46.

[5] Лк. 9, 62.

[6] Великое славословие, поется в конце всенощного бдения.

[7] Дивеево — «диво, чудесное, Божественное», к понятию «Дева» смысл этого топонима не восходит. Подробности о селе составителем найдены в старинном источнике.

«Дивеево, село Нижегородской губ., Ардатовского уезда, в 28 верстах от Ардатова, при речке Вичкинзе. Число жителей 274 души обоего пола, 31 двор, 2 церкви. В селе три женские общины: 1) Основана во второй половине XVIII в. полковницею Агафьей

Мельгуновой; эта община владеет своими землями, подаренными разными лицами, и помещается в доме близ сельской церкви Божией Матери; в ней в 1838 г. было 112 вдов и девиц. 2) Основана в 1827 г. по благословению иеромонаха Саровской пустыни Серафима, на земле, пожертвованной Баташевою. Дома, в которых помещалось в 1839 г. 103 девицы, обнесены простой канавою; 57 десятин, подаренных в 1834 г. двум общинам, обрабатываются самими отшельницами; имеют свое скотоводство и своих лошадей. 3) Община основана около 1820 г. и невелика, в ней не более 15 девиц. Все отшельницы этих трех общин занимаются шитьем риз и церковной утвари, ткут холсты, прядут, занимаются жатвой у сельских жителей. В селе этом, принадлежащем разным помещикам, находится суконная фабрика. Ярмарка здесь бывает 8 июля» (Журнал Министерства внутренних дел. Т. XIX, 1847. С. 281).

[8] *Тертуллиан.* О свидетельстве души.

[9] 1 Кор. 3, 16.

[10] Мр. 9, 24.

[11] Точное название книги «Царский путь Креста Господня, вводящий в жизнь вечную». В русском переложении святителя Иоанна Тобольского. М., 1904.

[12] Митрополит Ленинградский Иосиф (в миру Иван Семенович Петровых). Родился в 1872 г. В 1901 г. принял монашество. Хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярославского в 1909 г. На этой кафедре пребывал много лет. В 1920–1921 гг. назначен архиепископом Ростовским, викарием Ярославским. В 1928 г., будучи уже митрополитом Ленинградским, выступил против «Декларации» митрополита Сергия и вместе с ярославскими архиереями подписывал акт отхода от него. Становится одним из руководителей движения непоминающих, получивших название «иосифлян». Подвергался постоянным преследованиям. Сослан в Казахстан. Прожил в ссылке

несколько лет, работал бухгалтером на Медном комбинате. 20 ноября 1937 г., в навечерие Михайлова дня, вместе с митрополитом Кириллом (Смирновым) расстрелян в тюрьме в Чимкенте. Видно отрицательное отношение автора воспоминаний к «иосифлянству», однако интересно отметить, что, хотя Зоя Вениаминовна всегда посещала действующие московские храмы, в доме у нее (в 30-е годы) был «катакомбный» храм, престол которого сожжен уже в 60-е годы при переезде.

[13] Речь идет о митрополите Ленинградском Никодиме (Ротове), тогда епископе (хиротонисан во епископа в 1960 г.). Узнав о кончине Натальи Дмитриевны Крыловой, он приехал на ее отпевание, привез с собой для покойной полное схимническое облачение.

Анатолий Тимофиевич
В Дивееве летом 1926 года

Анатолий Павлович Тимофиевич († 1976), духовный писатель, врач по специальности. В предвоенные годы практнковал в Киеве, оставил пределы Отечества в конце Второй мировой войны. Сначала жил в Германии, затем в США (с 1949 г. в Новом Дивееве). Печатался в журнале «Православная жизнь». Его книга «В гостях у преподобного Серафима» выходила отдельным изданием (Джорданвилль, 1951). Включена в сборник А. П. Тимофиевича «Божии люди». М., «Паломник», 1995. Сост. С. В. Фомин. Помещенный в нашем изданин отрывок воспоминаний о поездке автора к дивеевским святыням в 1926 г. взят из этой книги (с. 89–114). Очерки Анатолия Тимофиевича отличаются не только точностью описания, но и безукоризненным языком и образностью.

[1] Протоиерей Александр Александрович Глаголев († 12.11.1937) — профессор Киевской Духовной Академии, специалист по Ветхому Завету. Эксперт на

процессе 1913 г. по делу об убийстве православного отрока Андрюши Ющинского. Способствовал оправданию (за недостаточностью доказательств) М. Бейлиса (1874–1934). Был последним перед закрытием ректором Киевской Духовной Академии. Служил в киевской церкви Николы Доброго. В 1930 г. арестовывался, но был выпущен. Во время повальных арестов киевского духовенства в 1937 г. вновь арестован. Умер во время допроса в Лукьяновской тюрьме. Погребен в общей могиле.

[2] Одна из кукол блаженной Паши Саровской хранилась у старицы Ольги (Ольги Васильевны Богдановой-Бари, 30.6.1876–16.10.1960) — духовной дочери о. Иоанна Кронштадтского и старца Нектария Оптинского.

[3] Матушка Александра (Траковская, † 4.2.1942) — последняя перед закрытием наместница Серафимо-Дивеевского монастыря.

[4] Монахиня Елена (Елена Васильевна Мантурова, 1805–28.5.1832) — первая начальница Мельничной общины.

[5] Михаил Васильевич Мантуров (1896–7.7.1858) погребен с левой стороны церкви Рождества Богородицы, под самым окном.

[6] Вот как об этом повествуется в «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» архимандрита (позже — митрополита) Серафима (Чичагова): «Мать Александра недоумевала, какому святому посвятить третий придел [церкви Казанской иконы Божией Матери], и поэтому однажды всю ночь молила в своей келлии Господа указать Свою волю. Вдруг послышался в маленьком окне ее стук и за ним голос: «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана!» С трепетом и радостью бросилась мать Александра к окну, чтобы видеть, кто ей говорит, но никого не было, а на подоконнике она обрела чудно и невидимо откуда явившийся образ св. первомученика архидиакона

Стефана, написанный на простом, почти неотесанном обрубке бревна. Этот образ был всегда в церкви и теперь перенесен в келлию первоначальницы Дивеевского монастыря» (СПб., 1903. С. 29).

[7] Преподобный Серафим, будучи иеродиаконом, побывал у матушки Александры в первой половине июня 1789 г. вместе с саровским строителем о. Пахомием и казначеем о. Исаией. Матушка первоначальница просила о. Серафима «не оставлять ее обители, как Царица Небесная Сама тогда наставить его на то изволит».

[8] В других воспоминаниях о Серафимо-Дивеевском монастыре такого имени не встречается. Возможно, речь идет о блаженном Онисиме родом из деревни Осиновки.

[9] Епископ Серафим (Звездинский, 7.4.1883–1937) — родился в Москве в семье единоверческого священника (выходца из секты беспоповцев-раскольников) о. Иоанна († 6.1.1908), написавшего службу преподобному Серафиму. Окончил Московскую Духовную Академию (1910), принял постриг (26.9.1908), преподавал в Вифанской духовной семинарии. Настоятель Чудова монастыря (1914–1918), 21.12.1919 хиротонисан во епископа Дмитровского. Убит большевиками.

Епископ Зиновий (Дроздов, 14.7.1875 — после 1927) — окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Хиротонисан в 1911 г. С 1923 г. епископ Тамбовский и Шацкий. С 1923 г. епархией не управлял. Был непоминающим митрополита Сергия (Страгородского).

Архиепископ Филипп (Гумилевский, 4.8.1877–9.9.1936), Звенигородский — после окончания Казанской Духовной Академии (1901) работал по учебному ведомству. Настоятель церкви при императорском посольстве в Риме (1913–1916). С 1920 г.— епископ Ейский, викарий Ставропольский; с 1922 г.— епископ Балахнинский. В 1923–1925 гг. епархией

не управлял: мнимое торжество обновленцев соблазнило его перейти к старообрядцам-беспоповцам, в чем он вскоре раскаялся. С 1927 г.— архиепископ Звенигородский, викарий Московский. С 1931 г. епархией не управлял, возможно в результате ареста.

Профессор И. М. Андреевский. Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 году

Иван Михайлович Андреевский (14.3.1894 – 30.12.1976) печатался под псевдонимом Андреев.

Родился он в семье потомственных медиков в Санкт-Петербурге, его предок лечил умирающего Пушкина. Учился в Введенской гимназии, затем в гимназии Видамона. Юношей увлекался либеральными идеями. В 1914 г. Андреевский поступил на философский факультет Сорбоннского университета, где слушал лекции известных профессоров, в частности Анри Бергсона. В 1917 г. вернулся в Россию, воцерковился, проявил себя ярым противником обновленчества. Работал в Петроградском Бехтеревском институте психиатрии. В 1927 г. возглавил депутацию от Санкт-Петербургской епархии к митрополиту Сергию (Страгородскому) для уяснения церковной позиции священноначалия после издания известной «Декларации» о лояльности к безбожной власти. В 1929 г. арестован и до 1931 г. находился в заключении на Соловках. После освобождения — ссылка. С 1937 по 1941 г. состоял главным психиатром областной больницы в Новгороде. Во время войны вместе с философом С. А. Аскольдовым сотрудничал в газетах, выходивших на оккупированной территории. Затем уехал в Германию. С 1950 г. жил в США. Преподавал нравственные дисциплины в Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле. Именно здесь он проявил себя как крупный филолог и богослов. Им созданы и выпущены в свет оригинальные богословские труды: «Пра-

вославно-христианская апологетика» и «Православно-христианское нравственное богословие». На протяжении десяти лет (1951–1961) профессор И. М. Андреевский непрестанно печатался в ежегоднике «Православный путь». Очерк «Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 году» напечатан им в этом органе Русской Зарубежной Православной Церкви в 1953 г. (с. 17–25). К пятидесятилетию открытия мощей преподобного Серафима Андреевский откликнулся статьей «Учитель умиления и радости». Из филологических трудов Ивана Михайловича наиболее известна книга «Очерки по истории русской литературы XIX века» (Джорданвилль, 1968). Помещенный в настоящем сборнике материал о паломничестве к Серафимовым обителям публикуется в России впервые.

О том, каким было Дивеево в 1927 г., сообщалось и в интересной публикации Николая Павловича Чурилова (псевдоним — Кусаков). Его сообщение основано на письмах дивеевского богомольца, свидетеля той поры. Вот небольшой фрагмент этой публикации.

«Посетители разрушенного Сарова находили себе приют в Дивееве. Сюда приезжали со всех концов России. Приезжали поездами, на лошадях, приходили пешком. В Дивееве гостиницы не было. Богомольцы пользовались приютом какой-либо из знакомых монахинь, а последние принимали только по рекомендательным письмам. В Дивееве люди говели и отсюда же посещали Саров — место подвигов старца Серафима.

Вам будет интересно узнать, как вел свою жизнь Дивеев монастырь. Конечно, он безболезненно мог бы еще существовать как трудовая община, даже и после изъятия у него земли. За исключением незначительной части монахинь, которые имели послушание обслуживать духовные нужды обители (а это выполнялось по очередному послушанию), все остальные самостоятельно зарабатывали свой насущный хлеб. На заработки этих инокинь существовали и те, кто только

был занят обслуживанием монастыря, а также старицы и больные.

Инокини работали у крестьян села Дивеево на полевых работах, многие помогали по домашнему хозяйству, большинство жило швейным рукоделием и немногие художественным трудом — вышивками и живописью. Заказчики — вся православная Русь. В монастыре работали живописная и иконописная мастерские, фотография и др. Некоторые монахини продолжали трудиться в созданной на монастырские средства сельской больнице. Были сиделки и уборщицы, фельдшерицы и врачи монахини. Последних новое начальство стремилось вытеснить из больницы. Школа, ранее созданная монастырем в селе, также от него теперь была отобрана, и инокинь к ней, что называется, близко не подпускали.

Заработки обеспечивали пропитание и насущные потребности инокинь. Раньше их было здесь около 1200 человек, а теперь — около 200. Известную часть доходов монастыря составляли, конечно, пожертвования богомольцев. Почта ежедневно приносила их со всех концов России. Видно, что народ нуждается в том, чтобы монастырь существовал, раз его так поддерживали. А кроме почты сами богомольцы приносили сюда свои пожертвования. Сюда шли и ехали со всех концов страны.

Монастырская жизнь шла своим нормальным чередом. В местах, установленных давним обычаем, неусыпно читалась Псалтирь, теплились огоньки неугасимых лампад. В нескольких храмах ежедневно служилась литургия; совершался полный круг богослужений по уставу. А пение! Вы, батенька мой, едва ли слышали что-либо подобное! Это пение было безукоризненным и с музыкальной и с церковно-богослужебной точки зрения. Просто, строго, нерастянуто, неторопливо... Уж очень располагало к молитве дивеевское богослужение, я вам доложу. Вспоминаю и ныне

с волнением, а ведь времени прошло сколько... А посмотрели бы вы на строгие фигуры монахинь, когда они с обоих клиросов сходились, по положению устава, в один общий хор во время Канона Святой Евхаристии на литургии и на утрени по окончании каждой песни канона. Необыкновенно торжественная была картина. Она еще более осмысливала богослужение.

А после каждой службы всякий раз, по дивеевскому обычаю, читалось «полтораста» — молитву читали сто пятьдесят раз. Это — хвалебную песнь «Богородице Дево, радуйся...» читала коленопреклоненно чередная чтица вслух перед иконой Божией Матери Умиления.

Монастырская жизнь шла, в общем, спокойно. Временами ее тревожили наезды каких-то комиссий, ревизий и т. п., но это вызывало временные беспокойства, не нарушая всего порядка. В округе в те годы оставалось еще несколько монастырей. Существовали остатки Понетаевской обители и Темниковского монастыря.

Возвращаясь из Дивеева, уже на пути в Арзамас (ближайший пункт, где проходила линия железной дороги) паломники принимали как можно более мирской вид, словно они не имели никакого отношения к монастырю. Если монахиням случалось, по поручению игумении, выезжать, то они одевались по-мирскому. Это своего рода лукавство имело свои причины и оправдания. Дело в том, что паломники нередко подвергались нападениям со стороны хулиганов-комсомольцев из окрестных деревень. Нападали они не с целью ограбления, а чтобы поглумиться над богомольцами. Отбирали крестики, иконки, осколочки от камня, на котором молился преподобный Серафим, выливали воду, взятую из Саровского источника, рассыпали землю, взятую из пустыни Преподобного... Пешие в этом отношении были в меньшей опасности, так как могли свободно обходить уже известные места,

или издали завидя опасность, свернуть с дороги. Но и пешим монахини советовали святыню прятать подальше, чтобы избегнуть кощунственного глумления.

В августе 1927 г. монастырь и окрестные деревни пережили событие, произведшее потрясающее впечатление на многих. Это была смерть одного из тех коммунистов, которые разрушали Саровский монастырь. Этот коммунист, крестьянин села Дивеево, был большим любителем и знатоком пчельного дела. В один из дней в августе он пошел с дочерью на пасеку. Хотя и был опытным пчеловодом, хотя и прекрасно знал, как надо себя вести на пчельнике, он все же сделал какую-то оплошность. Если не ошибаюсь, хотел отогнать пчел, когда те стали приставать к ребенку. Пчелы на него набросились целым роем, а девочку не тронули. Не растерявшись, он бросился к воде, к ручью. Но окунуться не успел. Силы оставили его, и он лишился чувств. На тревогу, поднятую дочерью, сбежались люди и доставили пострадавшего в больницу. Помощь, ему оказанная, облегчила страдания. Когда он пришел в себя, то стал громко усердно молиться, призывая заступничество Царицы Небесной. Сиделка монахиня упрекнула его:

— Не стыдно ль! Сам икону Царицы Небесной в Саровском соборе ломал, обломки каблуками топтал да в огне жег, а теперь Ее в помощницы зовешь!

— Вот за то я так и страдаю,— отвечал кающийся безбожник.—И благодарю Царицу Небесную, что Она мне посылает страдание, чтобы я очистился от своих злодеяний.

С чувством искреннего покаяния и в мире с православной Церковью вчерашний безбожник принес исповедь и вскоре после принятия Святого Причастия мирно скончался.

В конце августа или в начале сентября 1927 г. Дивеевский женский монастырь, по распоряжению безбожной власти, закрыли. Монахини вынуждены были разъехаться кто куда».

(Журнал «Православная Русь». Нью-Йорк, 1953. № 14. С. 6–9).

Сергей Бехтеев
Видение Дивеевской старицы

«Царским гусляром» называл себя Сергей Сергеевич Бехтеев (1879–1954) — поэт самобытный, преданный одной лишь теме — монархической. Его стихи, тайно переправленные томившейся в Тобольске Царской Семье, ныне широко известны. Одно из них было найдено в Екатеринбурге в личных вещах царственных мучеников и долгое время приписывалось Великой княжне Ольге Николаевне. Называлось стихотворение «Молитва» («Пошли нам, Господи, терпенье/ В годину буйных, мрачных дней/ Сносить народное гоненье/ И пытки наших палачей»).

Написано в октябре 1917 г. А двумя месяцами позже в Ельце Бехтеев из рассказа своего родственника Арцыбушева, ездившего в Саров и Дивеево, узнает о пророческом видении тамошней старицы, в котором еще живой Государь предстает в мученическом венце. Рассказ настолько потряс поэта, что ему сразу же захотелось опоэтизировать его. Но в смутное время не до стихов, и Сергей Бехтеев вступил в ряды Добровольческой армии, чтобы с оружием в руках защищать честь России. К пророческому видению дивеевской старицы вернулся лишь на чужбине, в пору скитаний по Сербии. Здесь в городе Старый Футог (Воеводина) и родилась публикуемая ода. Впервые напечатана в сборнике С. Бехтеева «Песни русской скорби и слез» (Мюнхен, 1923). Умер поэт на юге Франции, в Ницце.

Монахиня Антония (Берг)
Подвиг старца Серафима

Это стихотворение давно распето паломниками

к святым местам Сарова и Дивеева и стало поистине народной песней. Существует несколько вариантов исполнения — укороченный и более полный. Мы предпочли более полный, записанный саровским краеведом В. А. Степашкиным в 1988 г. в нижегородской деревне Балыково со слов Веры Ильиничны Викторовой. По свидетельству матушки Серафимы (Булгаковой), стихотворение принадлежит перу дивеевской монахини Антонии (в миру Анна Германовна Берг). Имеется укороченный вариант песни с незначительной литературной правкой поэта Бориса Примерова.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДИВЕЕВСКИЕ ПРЕДАНИЯ

Составитель Александр Николаевич Стрижев

Художник *А. А. Волошин*
Редактор *Е. А. Лукьянов*
корректор *Н. П. Бржевская*
Набор *Т. А. Колесникова, О. Л. Мысливцева*
Верстка *М. А. Люкшин*

ЛР 030442 от 14.10.92 г.
Сдано я набор 18.08.96. Подпнсано а печать 23.10.96.
Формат 70x100 1/32. Гарннтура Школьная.
Печять офсетняя. Бумягя офсетная.
Объем 14,5 п.л. + 1 якладкя. Зяк. 67336

Издятельство Спасо-Преображенского
Валаамского Стааропнгнального монастыря
125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52

Издательство «Православный паломник»
103030, Москва, Сущевская ул., д. 21

Отпечатано с готоаых диапозитиаоа в тнпографнн АО «Молодая гвардня»
103030, Москяа, Сущеаскяя ул., д. 21

177, 184, 186, 239, 241, 242, 246–
239, 290, 300

213







ИЗДАТЕЛЬСТВО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ